



РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

В. Светлов

ПРИ ДВОРЕ ТИШАЙШЕГО

МИР ЮНИТЫ

В. Светлов



ПРИ ДВОРЕ ТИШАЙШЕГО



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
С24

Дизайнер обложки А. Кузнецов

Светлов В.
С24 При дворе Тишайшего: Роман / М.: Мир книги, Литература, 2010.— 320 с. (Россия державная).

ISBN 978-5-486-03637-8

Имя Валериана Яковлевича Светлова (наст. фам. Ивченко; 1860—1934) — автора исторических романов и рассказов, увлеченного исследователя Кавказа и древних культур, путешественника, искусствоведа, было хорошо известно дореволюционной России. Балетный критик, муж балерины В. А. Трефиловой, коллекционер и журналист, он сотрудничал в журналах «Нива», «Театр и искусство», «Звезда», «Ежегоднике императорских театров», газетах «Биржевые ведомости», «Слово» и др. Автор работ по истории русского балета. В 1909 г. принимал участие в организации Русских сезонов Дягилева. В 1917 г. эмигрировал во Францию. Умер в Париже.

В этом томе представлен роман «При дворе Тишайшего». Написанный в лучших традициях историко-приключенческого жанра, он раскрывает малоизвестные подробности времени правления Алексея Михайловича Тишайшего.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03637-8

© ООО ТД «Издательство
Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010

При дворе Тишайшего





Часть первая

I

ВСТРЕЧА

Зима 1657 года выпала удивительно теплая, и праздник 21 декабря удался как нельзя лучше. За четыре дня до Рождества Христова москвичи праздновали память чудотворца Петра, первого митрополита, поселившегося в Москве и давшего ей величие.

Уже 19-го числа патриарх явился к царю во дворец, чтобы звать его и старшего царевича; на торжество приглашалась также и вся знать. 21 декабря выдался ясный и солнечный день, легкий морозец, непохожий на обычные рождественские стужи, пощипывал щеки москвичей, торопливо сновавших с предпраздничными хлопотами по улицам. Народ валил в Кремль, в Успенский собор, где был царь со всеми своими боярами и где обедню служил сам патриарх Никон.

Все были весело настроены и одеты по-праздничному. Ратники забыли, казалось, на время свою вражду к городскому классу и перекидывались теперь шутками и прибаутками, кто не спеша, а кто почти бегом стремясь к высокой белокаменной стене Кремля.

— Эй, берегись, служилый! — гаркнул с широких розвальней ражий детина, гикая и помахивая плеткой.

Служилый едва успел отскочить в сторону, хватив кулаком лошадей в морду. Великолепной масти пара гнедых взвилась на дыбы и шарахнулась в толпу, но опытная рука возницы удержала их; из толпы двое-трое свалились и с бранью барахтались в рыхлом снегу.

В это время из розвальней вышел боярин огромного роста, широкоплечий, с черными, сумрачно сдвинутыми бровями; одет

он был в соболью шубу, а на его голове была высокая шапка. Маленькие серенькие глазки злобным взглядом окинули толпу и, остановившись на смельчаке-служилом, загорелись, как у волка при виде добычи.

— Это ты осмелился тронуть моих коней? — подступая медленной, тяжелой походкой к высокому, стройному стрельцу, спросил он.

Тот, немного струхнув, молча смотрел своими большими голубыми глазами грозному боярину в очи. Легкий пушок покрывал его верхнюю губу и выдавал его юный возраст.

— Молокосос! — разъяренно крикнул вдруг боярин. — Разве не знаешь, чьи такие кони? — И увесистая пощечина опустилась на бледную щеку стрельца.

Стрелец пошатнулся, схватился одной рукой за щеку, а другой — за висевший на поясе нож. Но боярин поймал это движение и, перехватив его руку, так стиснул ее, что молодой стрелец с мучительным стоном опустился на землю.

— Негоже, боярин, служилого трогать! — вдруг раздалось в толпе.

Боярин злобно оглянулся, и так зловещ и страшен был взгляд его маленьких глаз, что толпа как замороженная стихла. Ближайшие к боярину людишки торопливо постарались скрыться из-под этого грозного взгляда и подальше уйти от греха.

— Кто говорил? — скрипучим голосом спросил боярин.

Все молчали. Стрелец встал и растирал себе руку. Капли холодного пота катились по его высокому белому лбу, на котором слиплись густые русые волосы; его шапка все еще валялась на земле.

— Кто говорил? — повторил свой вопрос боярин. — Кто пожалел служилого, а себя забыл? Разве он не знает, кто я?

— Как не знать? — слышался из толпы голос. — Кому не ведом князь Григорий Сенкулеевич Черкасский!

Князь, как раненый вепрь, кинулся вперед при этом возгласе, но толпа мгновенно раздалась, и он очутился лицом к лицу с человеком, вид которого не имел ничего общего ни со служилым, ни с купцом, ни с посадским; этот человек с любопытством смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену. По лицу и по одежде это был иноземец.

Невысокого роста, стройный, тонкий и гибкий, как молодая девица, он был черноволос и смугл лицом. Крупные, белые как

жемчуг зубы виднелись из-под длинных черных усов; его большие черные, словно маслины, глаза, подернутые выражением неги и ласки, сверкали теперь неукротимой отвагой и веселым задором. Длинный суконный казакин светло-голубого цвета, плотно стянутый у талии серебряным кушаком и украшенный на груди золотыми газырями с драгоценными камнями, резко бросался в глаза своим оригинальным покроем и богатством.

Москвичи уже знали, что эти длиннополые, тонкие и гибкие люди — грузины, понаехавшие в Москву еще с 1553 года с челобитной к царю Алексею Михайловичу. Все они были знатного рода — по крайней мере, сами себя считали таковыми, а по одежде нельзя было отличить одного от другого. Все носили одинакового вида кафтаны, лишь разных цветов; только по богатству отличались их газыри: у кого — серебряные, у кого — золотые с камнями или без них.

Юноша, на которого налетел князь Черкасский, по-видимому, был богат и знатного рода; это сейчас же смекнул строптивый и гордый князь и немного поубавил тона; однако все еще со сдвинутыми бровями он повторил свой вопрос:

— Это ты мне указ давал, чего мне не надлежало делать?

Он был уверен, что грузин не поймет его, а для толпы он все-таки сохранит свое грозное обличье.

Грузин промолчал, а князь, поощренный этим молчанием, усмехнувшись, прибавил:

— Только ведь ты, собачий сын, на православном языке не говоришь.

Грузин побледнел и, схватившись за рукоятку великолепного кинжала, висевшего на его поясе, громко, резко и гортанно ответил на русском языке:

— Кто ты, я не знаю, что смеешь так говорить, а кто из нас собачий сын — ты или я, — скажет тебе мой кинжал.

Князь Черкасский усмехнулся, скинул с плеча на руки своему холопу шубу и стал засучивать рукава кафтана; потом он встал во весь могучий рост, выпрямил грудь, вытянул вперед обросшую волосами руку и, потрясая огромным кулачищем, вызывающе смотрел на грузина, как бы приглашая его к единоборству.

Грузин стоял молча, с недоумением глядя на эти странные приготовления, а на пригласительный жест князя вступить с ним в кулачный бой не шелохнулся.

— Ты чего ж, щенок, ждешь? — весело крикнул князь, предвкушая легкую победу над тонким, сухопарым грузином и потрясая в воздухе своим кулачищем. — Или испугался?

Грузин встрепнулся и проговорил:

— Да где же у тебя кинжал?

— На кинжалах хочешь? — ухмыльнулся князь. — Нет, ба-сурманишка, мы в честном стародавнем русском бою силушкой с тобой померяемся. Выходи, что ль, нечего дурака валять!

Грузин с недоумением пожал плечами и оглянул толпу. Народа осталось немного. Колокола перестали звонить; в церквях уже шла обедня, и на улицах почти прекратилось движение. Вокруг князя и грузина остались только страстные поклонники кулачного боя и вообще любители всяких уличных скандалов, да еще несколько человек, лично знавших свирепого князя и сильно недолюбливавших его.

Среди последних был и молодой стрелец, у которого ныла щека и вспухла рука. Он очутился как раз возле грузина, когда тот с недоумением оглянул небольшую кучку любопытных.

— Иди, молодец! — шепнул стрелец грузину. — Дахвати его, шельмеца, под самые микитки; ты вон какой махонький, угодика ему под самое брюхо!

Грузин опять пожал плечами и крикнул нетерпеливо топтавшемуся на месте князю:

— Выходи с оружием, а то не буду биться!

Князь побледнел от злости. Он был страстным любителем кулачных боев и прямо-таки выискивал случаи, где бы мог показать свою удаль и телесную силу. И вдруг такой представившийся ему случай ускользал из его рук. Было на что разозлиться. Однако князь во что бы то ни стало решил заставить своего противника вступить с ним в единоборство без оружия, которого он не терпел уже потому, что совершенно не умел владеть им.

— Ах ты, курицын сын! — заревел он, подступая к грузину. — Тебе оружие надо? На-кося! — и он замахнулся кулаком на грузина.

Но тот с удивительной ловкостью увернулся от могучего удара, который, наверно, был бы для него смертельным, а затем в свою очередь, замахнувшись кинжалом, вонзил его в быкообразную шею князя.

Это случилось так внезапно и быстро, что все ахнули.

Князь, зарывав, как дикий зверь, медленно стал опадать всей своей огромной, могучей тушей на землю. Золотая рукоятка кинжала сверкала на зимнем солнце, а красный рубин, вделанный в нее, переливался кровавыми огнями. Князь сам имел еще достаточно сил, чтобы, схватив кинжал, отшвырнуть его от себя. Но из его глубокой раны уже хлынула на белый снег широким потоком темная кровь.

— Лови... лови... изменника! — прохрипел князь и тут же потерял сознание.

Холопы окружили раненого и старались втащить его в розвальни; несколько человек кинулись за грузином, но ни его, ни стрельца уже не было видно. Когда князь повалился, как срубленный дуб, а толпой овладело оцепенение, стрелец быстро схватил чужеземца за руку и потащил его в соседний проулок.

— Бежим, молодец! Я укрою тебя! — шептал он, пугливо озираясь. — Ничего, так князю и надо! Зверь-человек. Ну а если поймают тебя, то запытают.

— Да за что же? — покорно идя за стрельцом, спросил грузин. — Не я его вызывал — он меня. Он меня не по правилам первым ударил, я только ответил на удар ударом...

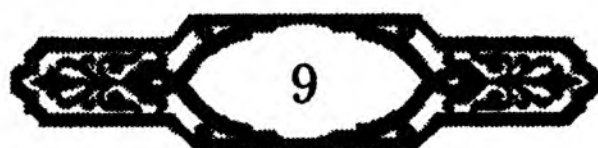
— Вестимо. Вдарь он тебя по башке, так на месте и пришиб бы. Так то он боярин, а ты иноземец. Иноземцу за убийство боярина либо служилого и даже холопа плохо приходится. Засудят, запытают...

— Вздор какой ты говоришь! — нахмурившись, возразил грузин. — Как это меня за правое дело запытают? Разве я какой-нибудь безродный?.. За меня есть кому вступить. Я и сам не хуже вашего боярина — царской крови. Здесь, в Москве, моя царевна Елена Леонтьевна с внуком Теймуразовым, Николаем, а я его воспитатель и родственник Елены Леонтьевны. Как это меня можно запытать? — И грузин гордо посмотрел на своего спутника.

Но того, видно, мало удивил высокий ранг иноземца. Он только покрутил головой и, опасливо оглянувшись, ответил:

— Ступай-ка в эти ворота. Схоронимся пока. Там видно будет. — Он пропустил своего спутника в низенькие почерневшие ворота и, ступив за ним во двор, тщательно запер их на засов, еще раз оглядев пустую улицу. — Ступай же за мной! — сказал он грузину, видя его нерешительность.

Тот нехотя последовал за ним.



II

В КОРЧМЕ

В маленькой, но чисто убранной горенке сидели оба молодых человека перед накрытым белой скатертью столом, уставленным яствами. На столе находился большой чайник, из которого стрелец то и дело наливал себе в стакан сбитень. Перед грузином стояла чарка с вином, но он лишь чуть-чуть прикасался к ней губами.

— И зовут меня Провом, по отчеству Степанычем, а прозвище мое — Дубнов! — продолжал разговор стрелец, шумно отхлебывая сбитень с блюда. — Числюсь я на царевой службе: третий уж год с Петровок пошел. Рода буду я все же дворянского. У отца и посеичас Дубновки в Новгороде имеются... а братишка мой старшой с боярином Ординым-Нащокиным в чужие земли венецейские и другие заморские города езживал... Да что ж ты, молодец, не пьешь? — обратился он к молча слушавшему его собеседнику. — А еще, слышь, молвят, что вы, грузины, дюже горазды выпить! — с легкой насмешкой проговорил он и налил себе вина из братины.

— Да, мы любим пить, но только свое кавказское вино. А это, — он отхлебнул и поморщился, — не очень хорошее! И здесь пить неприятно — жарко, душно. Почему ты привел меня сюда, а не пошли мы в корчму?

— Мы и есть в корчме, только с заднего хода, — смеясь, ответил Дубнов.

— Почему с заднего? — продолжал допытываться грузин.

— А потому самому, что в корчме в праздничный день ничего и нет — ведь корчма заперта. Нешто не знаешь царева указа? «В воскресный день и Господние праздники не работать никому; в субботу прекращать работу, как заблаговестят к вечерне». Ну, понял? Стало быть, корчма и закрыта, чтобы, значит, прислужники и хозяева не работали.

— А что же в праздник делать? — усмехнувшись, спросил грузин.

— «В воскресенье, Господние праздники и великих святых приходить в церковь и стоять смирно», — ответил Пров Степанович словами из царского указа. — И еще указано: «Скоморохов и ворожей в дома к себе не призывать, в первый день луны не смотреть ее, в гром на реках и озерах не купаться, с серебра не умываться, олова и воска не лить; зернью, картами, шахма-

тами и лодыгами не играть; на браках песен бесовских не петь и никаких срамных слов не говорить; кулачных боев не делать». Смекаешь ли, молодец? — подмигнул он грузину. — А кто ежели не послушается, бить того батогами. «Домры, сурны, гудки, гусли и хари искать и жечь». Во как! И указ этот должен знать каждый. А ты небось не знал?

— Не знал! — покачав головой, ответил грузин. — Да и где ж мне знать? Говорить по-русски я выучился легко, а читать по писаному не умею. Грамота ваша совсем отличная от нашей.

— Если бы знал ты боярина, небось не затрогал бы? — сочувственно спросил Дубнов.

— Нет, все равно я сказал бы, что хотел сказать, и на бой вышел бы.

— А батоги?

— Меня бить батогами? — сверкнув взором и гордо закидывая голову, с усмешкой спросил грузин.

— А и тебя... ты что за птица такая?

— Кто же бы это смел меня бить?

— А по царскому указу, на Съезде двора.

— Меня? Князя родового?

— А что за важность? Не рушь, значит, царского указа. А рушил — отведай царских батогов. Ничего, что ты князь. Вот батюшка-царь онамеднясь стольника своего, князя Григория Оболенского, в тюрьму послал за то, что у него в воскресный день люди и крестьяне работали черную работу да он же, князь Григорий, скверные слова говорил.

— Так то тюрьма, а не батоги! — возразил грузин.

— А кто ж его знает? Может, боярин-то и батогов отведал? — задумчиво проговорил Пров Степанович. — Да разве он выйдет на Красную площадь поведать народу, что, мол, его батогами били? Ни в жизнь! В себе скроет срамоту-то свою.

Грузин пожал плечами.

— Значит, и мой враг, вот этот самый ваш боярин, пойдет в тюрьму и батогов попробует? — злобно спросил он у Дубнова.

Тот протяжно свистнул, налил себе еще сбитня на блюдечко и стал тихонько подувать. Потом, торопливо сделав несколько глотков, он поставил блюдо на стол, рукавом кафтана вытер губы и, лукаво посмеиваясь своими голубыми глазами, весело спросил:

— Нешто, думаешь, князь жив остался? Я так думаю, что наш обидчик к вечеру Богу душу отдаст.

— Нет! — покачал головой грузин.— Я хочу с ним еще раз драться, а теперь я ему только показал, какова у меня рука и каков верный глаз. Я метил в шею повыше кости, туда и попал. Боярин ваш жив будет.

Он победоносно посмотрел на молодого стрельца, ожидая от него изъявления восторгов. Но румяное, веселое лицо Дубнова вдруг потемнело, в глазах отразились смущение и страх. Он взъерошил свои курчавые русые волосы, густо вившиеся вокруг его высокого белого лба, и с искренним сожалением проговорил:

— Эхма, молодец! Маха ты дал, нечего сказать!

— Как это маха? — обиделся грузин.— Вовсе не мимо; куда метил, туда и попал. У меня глаз верный...

— То-то и оно! Метил бы в сердце, дело-то куда лучше было бы.

— Разве я убийца? — гордо спросил грузин.— Ты говоришь, он князь? Большой боярин? А разве он поступил со мной по-княжески? Бросился на меня, не предупредив о нападении! Так только поганые персы поступают да еще лезгины, а честные люди на бой идут открыто, при всем народе, во всем вооружении, и спор свой решают равным оружием, а не тем, кто больше ростом да большей силой наделен от Бога. Что ж? И я ведь поступил не по правилам боя, да уж разобидел князь меня руганью да насмешкой, ну и не вытерпел, немножко проучил его... Но убивать?.. Нет, я не убийца, друг мой.

— Ну, так теперь он тебя убьет! — досадливо заметил стрелец, принимаясь снова за сбитень и безнадежно махнув рукой.

— Ну, это еще как Бог рассудит. Мы ведь с вами одному Богу молимся, Он нас и рассудит.

— Да, как же, держи карман шире, станет князь Черкасский Божьего суда дожидаться. Пырнет он тебя где-либо в закоулке и в Москву-реку сволочит. Вот тебе и вся недолга!

— Так поступают только разбойники-ингуши...

— Ну, уж я там не знаю, как кто поступает, а только тебя, молодец, мне очень жаль, да и себя чуточку. Не успокоится боярин Григорий Сенкулеевич, пока врагов своих не изведет злою смертью. А как тебя величать, как по отчеству звать, добрый молодец?

— Князь Леон Вахтангов Джавахов! — ответил грузин с нескрываемой гордостью.

— Прозвище мудреное! Ну, князь Леон, совет тебе мой добрый: уезжай-ка ты восвояси, пока еще ноги носят. Ведь иначе князь Черкасский сживет тебя со света белого, разметет твои косточки по ветру буйному. Улепетывай-ка поскорей в свое царство, если такое есть где на земле!

Грузин равнодушно выслушал его и при последних словах пожал только плечами.

Пров Степанович налил себе и ему вина и продолжал:

— Выпьем на дорожку, и с Богом! Если ты вправду говоришь, что глаз твой верный и князь только ранен, то через неделю он очухается и примется тебя отыскивать, а ты уж будешь далеко, и ему будет тебя не достать. А я как-никак пока схоронюсь, хоть у батьки на хуторе. Да меня он за тобой-то, я так думаю, и позабыл: весь ведь он на тебя распалился. Ну, доброго пути! — И Дубнов залпом выпил плохое рейнское вино, которое подавалось в корчме.

— Я никуда не уеду! — отодвигая от себя чарку с вином, хладнокровно проговорил Джавахов.

— То есть как же это? — поперхнувшись, спросил Дубнов. — Или жизнь тебе не мила, что сам на рожон лезешь?

— Я не могу ехать без царевны; я приставлен за царевичем Николаем смотреть и без указа царевны отлучаться никуда не могу.

— Добудь у царевны своей указ. Скажи, что тебе опасно на Москве оставаться, она и даст.

— Может, и даст, да я все равно не уеду!

— Или зазноба? — лукаво подмигнув, спросил Пров.

— Никого у меня нет здесь, — нахмурившись, ответил грузин.

— А, да и упрямый же вы народ! — ударив по столу кулаком, крикнул стрелец. — Ну, говори ж толком, что тебя здесь привязало? — Дубнов видимо хмелел, но старался бодриться перед своим новым знакомым. А тот сидел насупившись, и его смуглое лицо точно почернело; глаза не искрились больше и потеряли свой блеск, губы были плотно сжаты, а тонкая рука нервно перебирала серебряные газыри на черкеске из дорогого сукна. — Ну, что ж, скажешь ты, кто приворожил тебя здесь, что тебе головы своей не жаль? — приставал к нему Дубнов.

— Я второпях оставил на месте боя свой кинжал, — сумрачно ответил грузин. — Надо ж мне его вернуть!

- Эка чего захотел! Ты, я вижу, парень ловкий. Так тебе его и отдали, держи карман шире! А разве дорог твой кинжал?
- Не в цене сила, а наследственный он.
- Купи новый.
- Нет! У грузина должен быть один кинжал на всю жизнь.
- Да где ж его взять, твой кинжал? Поди, у князя он под семью замками теперь. Достань-ка!
- И достану,— убежденно и мрачно произнес грузин.
- Ну, голова! — развел руками Дубнов.— Да ты ж погибнешь.
- Может, и погибну, а может, и нет. Как Бог это рассудит! — И грузин встал.
- Куда ты? — спросил его Пров Степанович.
- Пора. Смотри, обедня уже отошла. Моя царевна домой вернется и меня хватится.
- Так твое решение неизменно? Не уйдешь из Москвы? За кинжалом пойдешь?
- За ним.
- Ну, стало быть, увидимся! — крикнув и лихо накренивая шапку на голову, проговорил молодой стрелец.— Негоже мне, стрельцу, хорониться от беды, если ты, чужеземец, на нее лезешь. Давай руку, побратаемся! Ты ведь из-за меня в беду попал, и я с тобой ее и разведу. Пойдем кинжал отыскивать вместе.
- Только не сегодня! — возразил грузин.— Меня ожидает царевна!
- Ну, ладно, ступай к своей царевне, а я пойду... к зазнобушке! — и Дубнов хитро подмигнул глазом.
- Ты... выпил,— нерешительно проговорил князь.— Разве можно в таком виде на улицу?
- В указе насчет выпивки ничего не сказано! Значит, пить можно и в виде пьяном по городу шествовать тоже можно.
- Грузин пожал плечами и, надевая на свои блестящие черные волосы барашковую шапку, сказал:
- Странные обычаи у вас, и народ вы странный!
- Оба новых приятеля вышли на улицу, по которой уже расходилась из церкви толпа.
- Ну, прощай, побратим! — снимая шапку и кланяясь в пояс, сказал Дубнов.— Если что понадобится, приходи сюда в корчму с того же хода и вели меня разыскать. Приду вмиг. А где же мне тебя разыскивать?
- Во дворце, где грузины поселились.
- Они разошлись в разные стороны.

III

ГРУЗИНСКИЕ ХОРОМЫ

Князь Леон Вахтангович пошел медленно по улице, понурая голову, мягко ступая своими чувяками по замерзшим мостовым, не замечая ни уличного движения, ни яркого декабрьского солнца, весело глядевшего с ясного неба.

Он был уже хорошо знаком с Москвою, а дорога из Кремля на Неглинную, где стояли хоромы, отведенные для грузинской царевны и ее свиты из трехсот душ, была ему отлично известна. Он шел никого не расспрашивая и не оглядываясь, твердо сворачивая то в одну, то в другую узенькую, грязную улочку.

Скоро он подошел к широким воротам высоких деревянных хором на каменном фундаменте. Здание было довольно обширно и вместительно, однако не настолько, чтобы царевна и ее свита с многочисленной челядью могли свободно помещаться в них. Поэтому вольные дети гор, привыкшие к простору и шири, были принуждены ютиться по несколько человек в горнице.

Только царевна, царевич и самые знатные и приближенные к ней свитские люди были помещены каждый в отдельной светелке. Князю Джавахову, как воспитателю царевича и близкому ко двору любимцу, была отведена маленькая горенка возле самой спальни царевича и царевны. Тут же, неподалеку, были и парадные приемные комнаты.

Князь Леон прошел прямо к себе, скинул черкеску и остался в одном шелковом красном бешмете. Папаху и пустые ножны он бросил на стол, а сам подсел к окну.

Последнее выходило в узенький переулок, редко посещаемый прохожими; напротив высились огромные богатые хоромы, наглухо заколоченные и никем не обитаемые, что придавало проулку унылый, угрюмый и даже таинственный вид.

Эти заколоченные хоромы уже давно привлекли внимание любопытного и скучающего на чужбине грузина. Он часто сидел у «косяцата оконца» и допытывал себя, что случилось с обитателями этого заколоченного дома, что произошло за этими закрытыми ставнями?

Он был уже немного ознакомлен с обычаями страны, у которой его царевна и отчизна искали теперь защиты. Он знал, как жестоки, как беспощадны нравы этого чужого народа, который они, грузины, считают православным и который поступает

иногда не лучше поганных персов и нечистых турок. Князю не раз приходилось слышать, как за одно неосторожное слово, за один неловкий шаг человек летел с головокружительной быстротой с высоты в бездну; как гибли целые семьи за ошибку одного лишь и какой дорогой ценой расплачивались люди за одну минуту власти и земных почестей.

Джавахов за себя и своих, конечно, не боялся. Слишком высоко ценил он права гостеприимства, и думалось ему, как и всем его сородичам, что сам царь Алексей Михайлович отвечает за каждый волос, который упал бы с их головы; поэтому-то происшедшая утром ссора меньше всего могла тревожить его. Пугало его одно, а именно, что он не найдет своего кинжала, или если и найдет, то князь Черкасский не захочет отдать ему эту драгоценность. При этой мысли черные брови грузина угрозающе сдвинулись и во взоре его зажегся вызов.

В это время дверь его горницы тихонько скрипнула и в нее просунулась стриженная головка мальчика. Черные большие любопытные глазки оглядели комнату, маленький, но уже с заметной горбинкой нос сморщился, и детский голос произнес:

— Что же ты ко мне не пришел, князь Леон? Был ты в церкви? Я тебя не видал. Можно к тебе?

Не дожидаясь ответа, хорошенький, лет тринадцати, мальчик шагнул через порог горницы. Он был в длинном темном халатике, белом бешмете, коричневых чувяках и черной барашковой шапке.

— Сними, царевич, папаху! — довольно строго приказал ему Леон по-грузински.

Тот упрямо помотал головой, но, встретив суровый взгляд своего наставника, нехотя снял шапку.

— Когда я буду царем, — надув пухлые губки, проговорил мальчик, — я прикажу всегда носить папахи.

— Разве тебе ничем иным нельзя будет заняться, что ты, как женщина, будешь заботиться о головных уборах?

Мальчик вдруг вспыхнул, и его правая рука схватилась за крошечный кинжал, болтавшийся у него на пояске.

— Ты не смеешь называть меня женщиной, князь Леон! — с задором крикнул он наставнику.

Этот задор, видимо, понравился его воспитателю. Джавахов потрепал мальчика по плечу и, улыбнувшись, ответил:

— Я знаю, что наследник славного царя Теймураза никогда не будет женщиной по характеру.

— Когда я вырасту, я ни у кого не буду просить помощи и всех врагов сам покорю.

Леон Вахтангович с печальной улыбкой выслушал юного царевича. Он хорошо знал историю своей страны. Он знал, что теснимая с одной стороны персами, с другой — турками, она волей или неволей должна была просить покровительства России, тем более что Россия с каждым годом становилась все могущественнее.

Грузия не могла обойтись без России, или же в конце концов Россия сама взяла бы ее, естественно расширяя свои владения.

Он знал и то, что Грузия год от года падала, слабея от беспрерывных набегов персидских и турецких орд. Немногочисленный, но геройски храбрый народ с отчаянной решимостью еще отстаивал свою свободу и религию, но каждому становилось ясно, что этой непосильной борьбе скоро придет конец, грузины неизбежно подпадут под чью-нибудь власть и потеряют свою самостоятельность.

— Я только не пойму, — продолжал размышлять мальчик, — почему дедушка послал нас к русским? Они все такие гордые, у них так скучно и так холодно! Совершенно не так, как у нас, в Грузии! И этот белый, белый песок, который они называют «снегом», он не такой, как тот, горячий, что лежит по берегам нашей Куры; он холодный и мокрый. Я не люблю его. Я здесь ничего не люблю. И зачем дедушка прислал нас сюда? Здесь и реки не видать — она вечно скована льдом, нет цветов, нет птичек, ничего нет!

— Подожди, скоро и здесь все зацветет, снег исчезнет, и станет хорошо...

— Здесь люди нехорошие, недобрые, — тихо прошептал мальчик. — Маму вон как долго держат, мучают; она плачет... каждый день плачет.

— Наше дело, царевич, нелегкое, скоро оно не сделается.

— Недобрые! — упрямо повторил мальчик. — Вот водовоз говорил мне, что здесь пытаются, жгут раскаленным железом, на кострах сжигают и еще много-много ужасных мучений делают. А ты говорил, что у русских по-другому, чем у персов. По-моему, все равно. И лучше бы нам к туркам за помощью идти — и ближе от дома, и теплее. Скажи, разве мы в плену у русских, что нас так долго держат?

— Турки не христиане, а нам подобает быть в союзе только с христианской державой, царевич. И мы — гости России, а вовсе не пленники.

Мальчик задумчиво посмотрел на наставника и печально покачал головой.

— Христиане! — проговорил он. — Не похоже! — И, видимо утомившись вести долее такой серьезный разговор, переменял тему: — А знаешь, княжна Каркашвили тебя в церкви все искала. Где же ты был? Твой отец говорит, что тебе не следует ходить далеко по городу. — Вдруг, обратив внимание на пустые ножны, царевич вскрикнул: — А где же твой кинжал?

Леон смутился. Ему не хотелось рассказывать о происшедшем с ним случае, потому что это всполошило бы все дремавшее в Москве грузинское царство и встревожило бы его отца, дорожившего кинжалом, который переходил к старшему в их роде и был получен Леоном в день его совершеннолетия, незадолго до приезда их на чужбину.

— Я отдал его починить, — неуверенно ответил он.

Царевич пытливо взглянул на него, но ничего не сказал, а только пошевелил губами, что всегда означало, что он не совсем удовлетворен ответом. Потом он вдруг вспомнил, зачем пришел сюда, и сказал:

— Я зашел сказать тебе... знаешь, ведь у матушки сегодня гости.

— Да? — рассеянно спросил Леон.

— Тебя разве не интересует — кто? — загадочно проговорил мальчик.

— Ну, кто же?

— Царевны-сестры! Матушка сказывала — важные, и зовут их: одну — Татьяна Михайловна, а другую — Анна Михайловна. Матушка ждет от них многого.

— Напрасно! Все так, одни разговоры; здесь женщины — не то что наши, ни до чего не касаются, ничего не знают и никакого значения не имеют.

— Царь своих сестер любит, — внушительно произнес царевич.

Леон безнадежно махнул рукой.

Кого не любил Тишайший царь Алексей Михайлович? И под чьим влиянием только он не находился? Слабохарактерный, добродушный, он так же часто менялся в настроениях и чувствах, как апрельское солнце. С какой стороны подует ветер, в ту сторону он и повернется. До трусости избегавший каких-либо неудовольствий и кислых лиц, он готов был на всевозможные уступки и сделки, лишь бы удержать вокруг себя мир и тишину.

Будучи по природе своей слишком мягким, Алексей Михайлович не мог не уступить большого влияния окружающим его людям; он был вспыльчив, но невыдержлив, слишком доверялся лицам недостойным, но действующим дерзко и смело, и хотя отлично понимал людей, но не имел характера поступать с ними по заслугам.

Зато в минуту вспышки Алексей Михайлович не знал пощады таким людям, как бы мстя им за долгие годы обнаруживаемой им слабости. Так, например, он отлично видел, кто такой был его тесть Милославский, но, не имея сил обидеть жену и видеть всю ее многочисленную родню с грустными лицами, выносил этого коварного, жадного и низкого боярина, которому он уступал во всем, лишь бы не было вокруг него печальных лиц, лишь бы уклониться ему как-нибудь от ссор и слез.

Поэтому рассчитывать, надеяться на него не было решительно никакой возможности. Стоило кому-нибудь наговорить, нашептать царю что-либо, и уже решенное дело отменялось. Если же самому царю почему-либо хотелось исполнить просимое или просившее лицо было мило ему, то он тянул решение, хитрил, прибегал к уверткам, как вот, например, теперь в грузинском деле; здесь ему, по природной доброте души, очень хотелось помочь, но у него не хватало силы воли заставить своих жадных и строптивых бояр выслать грузинскому царю на подмогу требуемую им казну и ратных людей.

Все это уже давно поняли: и сама грузинская царевна, и Леон, да и все ее приближенные, но они все ждали случая или человека, который постоял бы за их правое дело.

— Пойдем к царевне, если у нее гости! — сказал Леон царевичу.

Тот молча последовал за наставником.

Между ними установились дружеские отношения, мало походившие на отношения наставника и воспитанника. Юный грузинский царевич был смышленным, не по летам развитым мальчиком. Ему рано пришлось видеть и пережить много такого, о чем другим детям его лет и слышать даже не приходилось. Да и само воспитание вольных горных сынов совершенно разнилось от воспитания, например, русских мальчиков той эпохи: грузинские умели уже стрелять из лука, недурно владеть кинжалом и скакать на неукротимом коне по крутым горам через буйные потоки следом за суровым отцом или смельчаком-братом.

Теперь царевич легко и неслышно шагал за князем Леоном, упорно размышляя обо всем, о чем они говорили, и уносясь мыслями в далекую теплую и благоухающую родину, где цвели цветы, где синело небо, где горячо светило солнце и где люди были гораздо приветливее и добрее, чем в засыпанной холодным снегом угрюмой Московии.

IV

В ПОКОЕ ЦАРЕВНЫ

Царевна Елена Леонтьевна была еще молодая красивая женщина двадцати восьми лет. Невысокого роста, черноволосая, чернобровая, с белым тонким лицом и страстными, жгучими очами, она была полна очарования и прелести. Стоило ей поднять глаза, взмахнув густыми длинными ресницами, как у всякого говорившего с нею пробуждалось к ней восторженное и благоговейное чувство, как к красавице женщине и царевне. Царевна верно знала могучую силу и неотразимую власть своего взора, а потому редко кто удостоивался счастья лицезреть всю глубину ее темных очей.

Она была серьезна и молчалива, больше любила слушать, чем говорить, много читала, была очень образованна по тогдашнему времени, религиозна и любила подолгу простаивать на молитве.

В длинном пышном платье, отороченном позументом, в темном парчовом казакине с кисейными рукавами от локтя, в башмачках из алого атласа без задков, но с каблучками, она двигалась не спеша и была так легка и воздушна, что, казалось, ее маленькие ноги еле прикасались к полу. На голове у нее постоянно покоилась маленькая круглая шапочка из бархата с длинной кисейной вуалью за спиной и закрывала ей весь лоб. Вдоль лица, по обеим сторонам щек, черными змеями вились две толстые, перевитые жемчугом косы. Маленькие белые руки, с пальцами, унизанными кольцами, перебирали всегда дорогие кипарисовые четки.

Когда Леон Вахтангович и царевич Николай вошли в ее комнату, царевна внимательно читала книгу своего любимого поэта Шота Руставели. При виде сына она отложила книгу и низким грудным голосом спросила, где он был.

— Я был у князя Леоны, мы разговаривали, — серьезно ответил мальчик, нежно целуя белые руки матери. — Ведь сегодня

праздник, идти одному гулять нельзя, ты запретила... Народ пьян! — с презрительной гримасой прибавил он.

— Да, правда! — грустно вздохнув, промолвила царица. — Это не у нас, где в праздник молодежь состязается в силе и ловкости, а старики пьют наше чудное родное вино, вспоминая битвы славных дней Грузии! Пьют и не пьянеют.

— Слабый народ, — возразил князь Леон, поздоровавшись с царицей, приложив руку к сердцу и низко, но с достоинством ей поклонившись. — Одна слава только идет, что русские сильны. Выпьет две-три чарки иноземного вина — и голову потеряет. А от нашего и с одной под стол валится. Помнишь, царица, боярина Буйносова, что к тебе от русского царя с указом приходил?

Царица чуть усмехнулась, вспомнив, как сановитый, тучный боярин, выпив у нее рог поднесенного ему вина, вскоре засопел и тут же, на ее глазах, заснул и повалился на лавку.

— Да, такого душистого, чудного вина не много на свете! — проговорил Леон. — И куда русским, с их тяжелой брагой и сытовым медом, от которых только тошнит и голова болит, до нашего родного вина! Слабы они пить! — продолжал он. — Вот хоть бы сегодня... Выпил один молодец заморского вина, разбавленного, скверного, выпил, похвалил, да с третьей чарки и мысли его запутались... а крупный человек, видно, силачом здесь считается.

— Где же ты с ним пил? — сдвинув немного брови, спросила царица. — Недавно обедня отошла только! Неужели во время обедни в духане побывал?

Князь Леон смутился и потупился. Он обмолвился, забыв, что царица запретила во время обедни ходить в гости или по «духанам». Она была религиозна и того же требовала от сына и от всех своих приближенных.

— Ты разве не знаешь моего приказа, чтобы быть со всеми в церкви? — сурово проговорила царица, и ее четки быстро замелькали меж пальцев. — Какой же ты после этого наставник? И какой это пример моему сыну?

Леон стоял потупившись и чувствовал, что если уж он проболтался, как женщина, то теперь обязан рассказать все, что привело его в корчму с молодым стрельцом.

— Царица, выслушай! — пробормотал он. — Дело важнее, чем питье вина во время обедни.

— Как? Что? Какие слова произносишь ты, безбожник? — потеряв свою обычную сдержанность, выкрикнула царица. —

Есть какие-то дела поважнее обедни? Да ты здесь совсем головы лишился, если смеешь мне такие слова говорить...

Леон стоял растерянный, не зная, как выпутаться из неловкого положения. Царевна, всегда такая ровная, выдержанная, в минуты гнева была положительно неузнаваема, и только один царевич имел возможность успокоительно на нее подействовать. И теперь, с детским инстинктом почуяв, что князь Леон не так виноват, как думает разгневанная мать, он тихо подошел к ней, ласково обнял рукою за шею и твердо шепнул ей:

— Мама, выслушай его, а потом брани! Князь Леон был очень встревожен, когда я зашел к нему в комнату. Я редко видал его таким. Выслушай же его.

Царевна понемногу успокоилась, ее четки задвигались медленнее, а белые пальцы ровнее стали перебирать кипарисовые зерна.

— Ну, говори, что с тобой случилось! — наконец сказала она, не глядя на Леона и опустив, по обыкновению, глаза; только легкое вздрагивание ресниц доказывало, что ее волнение еще не улеглось и готово ежеминутно вспыхнуть.

— Я не хотел говорить кому бы то ни было о том, что произошло со мной в это утро, но, раз уж так вышло, тебе, царевна, скажу.

— А мне уйти? — скромно произнес царевич, но в его черных глазах горели любопытство и мольба, чтобы ему позволили послушать.

— Нет, царевич, останься. Ты вступился за меня, ты знаешь уже, что я не был у обедни, и ты видел... мои пустые ножны! — глухо проговорил Леон и отвернулся от пытливого взгляда мальчика.

— А, так это из-за них! — радостно догадался царевич. — Я так и знал, что ты их не отдал, не отдал в починку.

— Да, я хотел скрыть...

— От Бога ничего нельзя скрыть! — назидательно заметила царевна.

— Но теперь, царевна, если я скажу, то с условием, что ты и царевич никому не расскажете услышанного вами.

— Вот тебе моя рука. Я буду нем, как Эльбрус! — торжественно произнес мальчик.

— Благодарю тебя. Я знаю, ты славный мальчик! — пожимая ему руку, ответил Леон и вопросительно посмотрел на царевну.

— Говори,— сказала она, и Леон начал свой рассказ.

Когда он дошел до того места, как боярин на него замахнулся, царевич, все время жадно слушавший его, сидя неподвижно, вдруг вскочил и, бледный и весь трясаясь от гнева, вскрикнул:

— Он смел замахнуться на тебя? И ты не положил его на месте?

Мать с восторгом следила, каким гордым негодованием горело личико ее любимца, и, улыбаясь, заметила:

— Тише, тише, дитя... дай слушать. Разве ты забыл, что сам видел пустые ножны у князя Леона?

Царевич радостно взвизгнул и захлопал в ладоши. Потом, усевшись на место и устремив глаза на Леона, попросил его продолжать.

Быстро, волнуясь и захлебываясь от переживаемого чувства, Джавахов кончил рассказ и спросил, был ли он виноват. Мог ли он, свободный сын гор, видеть, как унижают человека, попирая его права, и не вступить за него?

Царевна молча протянула князю руку; он с жаром поцеловал ее, поняв, что царевна простила его и даже раскаивалась теперь в своем гневе.

Царевич с восторгом обнял его и вскрикнул:

— О, я рад, что ты всадил нож в этого русского боярина. Ты такой же князь, как и он, даже выше его родом. Ведь Грузия древнее России!

— Тише! — с легким испугом остановила его мать. — Разве можно отзывать так о стране, у которой мы просим защиты? Что сказал бы дедушка Теймураз, если бы услышал твои слова? Он так дорожит расположением русского царя.

— Если бы дедушка знал,— упрямо продолжал царевич,— что русский царь до сих пор еще даже не принял тебя!

Царевна вспыхнула и еще ниже опустила голову. Удар сына попал в цель.

Она страшно страдала от неделикатности Алексея Михайловича, который в продолжение последних двух лет, проведенных ею в Москве, до сих пор не удосужился принять ее. Конечно, ни она, ни сметливый царевич не знали, как мало виноват был в этом русский царь и как много была виновата сама гордая царевна, не сумевшая расположить в свою пользу бояр, которые старались помешать ее свиданию с царем.

С некоторого времени к ней часто стал заходить князь Пронский, которого привел в ее хоромы боярин Буйносов,

сильно полюбивший «заморское» вино грузинских гостей. Пронский был статным брюнетом с бледным лицом, на котором мрачно горели серо-синие глаза, иногда казавшиеся совсем черными; его тонкие красивые губы были всегда плотно сжаты, а в углах рта лежала жестокая складка, портившая несомненно мужественное и красивое лицо князя. Он носил окладистую бороду и гладко подстриженные волосы, которые были очень черны, но без блеска. Его высокий лоб прорезывали две глубокие морщины; на висках серебрились седые волосы, что делало его старше сорока четырех лет.

Пронский был женат и имел дочь, но ни жены, ни дочери никто никогда не видал: они жили где-то в подмосковной, в большом имении князя, очень уединенно и замкнуто. Много боярынь и боярышень заглядывались на статного красавца с огненным взглядом, но он не обращал ни на кого ни малейшего внимания. Много былей и небылиц ходило по Москве о Пронском, но он отвечал на них презрением и по-прежнему гордо и надменно держал свою львиную голову на широких плечах. Его имя было окружено таинственностью и нередко произносилось со страхом и трепетом.

Царевну Елену Леонтьевну Пронский видел раза два, в церкви Василия Блаженного, потом с Буйносовым попросился ее поведать и делу ее «дать помощь». Но, придя, он просидел битый час и, ни слова не говоря, так и ушел. Потом он еще много раз приходил, но никогда один, и все молчал, только пристально и жутко смотря на прекрасное лицо царевны.

Елена Леонтьевна, чувствуя на себе взгляд своего странного, мрачного гостя, старалась еще ниже опустить глаза, еще плотнее прижать к груди свои четки, с которыми не расставалась. Она принимала его, потому что ей сказали, будто он имеет влияние при дворе; будто боярыня Хитрово очень любила его и его покойницу мать, а кого боярыня Хитрово брала под свое покровительство, тому было все возможно. И царевна Елена терпела молчаливого посетителя, хотя его посещения были ей подчас невыносимо тяжелы.

— Сказали, князь Пронский уладит наше дело! — говорил царевич. — А он ходит да молчит, Буйносов же пьет и засыпает. Советчики царя, нечего сказать!

— Пронский обещал сегодня привезти сестер царя. Разве тебе этого мало? — спросила мальчика царевна.

— И боярыня Хитрово будет? — спросил Леон.

Царевна пожала плечами — она этого не знала.

В это время к воротам подкатило несколько саней-розвальней, и из них стали вылезать закутанные женские фигуры.

Царевич Николай первый заметил гостей и сказал об этом матери. Царевна и Леон заволновались. Вбежал грузинский слуга и доложил, что пожаловали русские царевны, Татьяна Михайловна и Анна Михайловна, с боярыней Хитрово и князем Пронским, и спросил, где прикажут принять их. Царевна распорядилась, чтобы гостей ввели в приемную, и, нервным движением поправив свои косы, медленным и величественным шагом пошла вслед за слугою. Леон и царевич шли за нею слегка взволнованные, так как ждали от этого свидания с царскими сестрами многого для той миссии, с которою они сюда прибыли четыре года тому назад.

V

БОЯРЫНЯ ХИТРОВО

Сестры царя Алексея Михайловича были хорошенькие девушки, хохотуньи и проказницы. Старшая, Анна Михайловна, очень походила на отца Михаила Федоровича, была такая же круглолицая, с мягкими, карими глазами, приземистая и румяная. Татьяна Михайловна вышла в мать — в родню Стрешневых, высокая, статная, с темно-русой косой и серыми, властными глазами: она любила, как и сестры, посмеяться и пошутить, но в общем была гораздо серьезнее их.

Сам Алексей Михайлович страстно любил своих сестер, которые были старше его и, когда он был маленьким, сильно баловали будущего царя. За это ли или вообще по любвеобильному сердцу Тишайший любил сестер не меньше, чем своих детей, и даже часто советовался с ними о государственных делах.

Царевны были избалованы вниманием и потворством сперва отца, потом брата и упорно отказывались идти замуж, хотя годы быстро проходили и они уже приближались к возрасту перезрелых дев. Но, видно, это мало заботило их, и жить под любящим крылом брата было приятнее, чем под тяжелой рукой любого мужа.

Они наслушались всевозможных рассказов от пришлых иноземцев, которые еще при Михаиле Федоровиче стали охот-

но посещать Москву и знакомиться с русским бытом. Чужеземцы не стеснялись говорить о жизни Запада, о том, что там женщины уже давно покинули свою затворническую жизнь и стали понемногу равняться с мужчинами. Конечно, русским женщинам еще и думать было нечего о той свободе, которою пользовались их западные сестры, но все-таки и они стали пытаться разорвать путы, много веков сковывавшие их волю и самостоятельность. Царевны первые, пользуясь слабостью любящего брата, решились сделать начальный шаг к давно и всеми страстно желанной, жданной свободе. Они первые вышли из терема с открытым лицом и встали возле царя в церкви, не прячась от людских глаз, гордо и открыто смотря всем в лицо. Они первые пришли на пир к брату и сели рядом с ним, сдерживая своим присутствием грубую и разнузданную веселость бояр.

Конечно, это новшество крайне не понравилось боярам, и они изо всех сил выбивались, чтобы восстановить царя против его сестер. Добродушный Алексей Михайлович, сознавая в душе, что требование бояр справедливо, что сестры поступают противно обычаям старины и этим дают зазорный пример народу, пытался было образумить своенравных девушек; но те подняли вой и плач, сопровождавшийся душераздирающими сценами, просьбами, угрозами и попреками. Они просили, чтобы царь лучше заточил их в монастырь, чем им нести теперь такой всенародный срам и спрятаться снова в терем, откуда они только что выглянули на Божий свет.

Алексей Михайлович колебался, страдал и не знал, как поступить, а характера у него не хватало, чтобы настоять на своем. Бояре нашептывали, наговаривали, грозили даже смутой, которая непременно-де подымется, потому что «срамное поведение» царевен смущает христианский народ и даже в состоянии поколебать религию. Царь уже начинал видимо сдаваться, и упрямым царевнам грозил монашеский клобук или кика да терем с крепким затвором, но им на подмогу неожиданно явилась боярыня Хитрово.

Елена Дмитриевна Хитрово была из рода князей Хованских, богатая и знатная, когда ее, молоденькой девушкой, выдали замуж за старого, постылого ей боярина Хитрово. Он запер ее в терем, ревновал, заподозревал во всевозможных преступлениях: и колдунья-то она, и на жизнь-то его покушалась, и чего-чего не выдумывал старый, влюбленный в свою красавицу жену боярин!

А боярыня была действительно красавица на диво: высоко-го роста, полногрудая, с белой шеей и руками, румяная да свежая, с ясными голубыми очами, с приветливой улыбкой, всегда порхавшей на ее алых губах, открывавших ряд зубов, мелких, как бисер, и белых, как перламутр. Она очень любила голубой цвет и всегда носила голубую кикю, из-под которой выбивались вьющиеся густые пряди ее белокурых волос; над ее тонким прямым носом расходились черной дугой красивые, соболиные брови. Походка у Елены Дмитриевны была плавная, величавая; голову с тяжелой косой, по-бабьему скрученной на темени и спрятанной под кикой, она держала немного горделиво, откинув назад, голос имела мягкий, нежный, чуть-чуть нараспев, нрава была властного, самолюбивого и гордого, с людьми умела ладить, и никто не мог разгадать, какие мысли роятся под белым невысоким лбом боярыни; знали только все, что боярыня Елена Дмитриевна ума не бабьего, то, что называется — ума палата.

Недолго умная боярыня была замужем за старым Хитрово. Выпил он как-то после горяченькой баньки кваску холодненького и через денька три и Богу душу отдал.

Пошепталась дворня, покручинилась родня; неслабого сложенья был старый боярин, не раз холодного кваску испивал, да жив оставался, а тут, на-кось, после баньки и помер... Но пойти с жалобой на боярыню никто не посмел. Знали уже, что она ко двору во дворец пришлась, что ее прочат в нянюшки маленькой царевне, как только от той мамушка отойдет; знали и то, что царь Алексей Михайлович подолгу беседует с нею о делах мирских и государевых и даже ее совету часто следует. Знали и то, что есть у нее заступник, боярин Матвеев, царский любимец, против которого и самой царице Марии Ильиничне не устоять, не пойти.

Как овдовела Елена Дмитриевна, так тотчас же и перешла жить во дворец, поступив нянюшкой к маленькой царевне, и овладела любовью не только маленьких царевен и сестер царя, но даже и сердцем самой царицы.

Действительно, она приобрела доверенность царицы и так укрепилась в ее мнении, что ничьи наговоры, ничьи предупреждения не могли поколебать симпатии царицы к боярыне Хитрово. Ленивая по природе, привыкшая к теремной, замкнутой и праздной жизни, царица была очень рада свалить всю заботу о детях на чужие плечи, а боярыня Хитрово была энергичная, живая и подвижная натура, умевшая потакать царицыному сон-

ному лежанию с грызеньем семечек, хохоту и пересудам старших царевен и шалостям маленьких девочек. Шутя даже царя боярыня сумела подчинить своей воле, и раз данное ей слово царь исполнял свято, как бы после этого ни тянули его в разные стороны.

Правда, мамушки, нянюшки и весь придворный женский штат при имени боярыни Хитрово поджимали губы и многозначительно переглядывались, но вслух-то никто своих предположений не выкладывал, зная, что за это последует жестокое наказание. Все еще помнили, как было поступлено с боярыней Кикиной, которая, осерчав на Хитрово за дружбу с царевнами и царицей, непочтительно отозвалась о ней, приплетая заодно и царя к своему злему навету. За это она была сечена кнутом и сослана в Сибирь со всеми своими родичами.

VI

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

Значение Хитрово поднялось еще более, когда она, приняв на себя хлопоты царевен о разрешении им свободного жития, вступила в борьбу с боярами!

Боярыня, сама изведавшая теремную жизнь, суровую опеку отца, тяжелую руку мужа, читавшая переводы с иностранных писателей, знакомая с Гвидоном Мессинским и его знаменитой «Троянской историей», увлекавшаяся многими польскими рыцарскими романами, называвшимися «потешными книгами», и знавшая на память басни Эзопа,— конечно, всею душою симпатизировала желанию царевен расправить крылышки, тем более что, помогая им, она и себе расчищала путь к свободе.

Алексей Михайлович не имел сил отказать статной голубоокой красавице, когда она явилась к нему и со своей приветливой, ласковой улыбкой и нежным голосом стала просить разрешить царевнам свободный выход из терема и дать острастку боярам. Царь, робея и не глядя на молодую вдову, дал свое обещание. Но красавице этого было мало: она заставила его немедленно созвать всех придворных, он исполнил это требование и, словно находясь под влиянием ее ясных очей, обошелся с боярами круто и сурово; делать было нечего, и они покорно склонили свои головы.

Царевны вздохнули свободно и тотчас же широко воспользовались разрешением; с этих пор они стали боготворить боя-

рыню, а бояре стали побаиваться ее и подобострастно гнуть перед нею свои гибкие спины.

Царица равнодушно приняла весть об эмансипации царевен и победе боярыни Хитрово, а царь стал все чаще и чаще искать случая встретиться с красавицей боярыней.

Елена Дмитриевна еще при муже познакомилась с князем Пронским; из-за него-то муж сильно колотил ее, и она много слез пролила за это знакомство. Овдовев, она стала принимать князя сначала тайком, а потом, когда завоевала при дворе положение и свободу, то уже и не стесняясь звала его в торжественных случаях в свои покои и даже в покои царевен.

Странные отношения установились между Пронским и Еленой Дмитриевной. Вот уже несколько лет, как эти отношения можно было считать чрезвычайно близкими; казалось, эти два красавца безумно любят друг друга — по крайней мере, князь никогда не пропускал часа свидания, а Елена Дмитриевна жарко обнимала его белыми руками и крепко целовала его в уста. Но их речи всегда были полны не нежных, любовных слов и ласковых признаний, а язвительных намеков и желчных укоров. Князь Борис Алексеевич Пронский был не речист, и при свиданиях больше говорила Елена Дмитриевна, а он слушал, любуясь ее красотой.

Оба властные, оба сильные, они очень подходили друг к другу и как бы подкрепляли один другого, но на самом деле каждый из них таил в себе свои мысли и планы. Боярыня говорила своему другу только то, что находила нужным, зато о нем знала всю подноготную, что подчас сильно сердило гордого и строптивого князя. Почти от всех скрыл он свою бурную приключениями и темными делами жизнь, только от боярыни Хитрово не укрылось ни одно из его деяний. Откуда узнала она, что он с Родионом Стрешневым разбойничал на Дмитровке да с Юрием Ромодановским учинил убийство старосты? Кто сказал ей, что за подгородное имение он позволил боярину Кикину растлить бедную сиротку, поповскую дочь, а сам избег беды, заставив одного Кикина поплатиться? Кто сказал ей наконец, что он искалечил жену и держит ее взаперти в подмосковной, где он делает и медные деньги и оттого так непомерно богат? Откуда узнала она, что в подвале его московского дома томятся его враги? Все это знала Хитрово и не раз давала понять князю, что он весь в ее сильных руках, но что ей пока нет никакой нужды пользоваться этим.

Как-то раз князь предложил ей выйти за него замуж. Боярыня, засмеявшись, сказала:

— Каков жених выискался! От живой-то жены да сватать вздумал? В уме ли ты, боярин, или вовсе его лишился?

Пронский мрачно взглянул исподлобья на красавицу.

— Я еще не хочу помирать,— продолжала Хитрово,— а ты, я знаю, затем и хочешь жениться, чтобы меня какой ни на есть казни предать.

Она шутливо рассмеялась, но князь понял, что она разгадала его, и больше не возобновлял речи об этом.

Хитрово продолжала быть с ним по-прежнему ласковой, горячо целовала и миловала его, но князь чувствовал, что эти маленькие белые руки цепко обвились вокруг его шеи и малейшее его неосторожное движение или желание высвободиться из-под этих нежных, но крепких пут будет стоить ему жизни.

Но не таков был князь Борис Алексеевич, чтобы так легко отдать свою свободу и не суметь умненько выскользнуть из бабьих рук. Елена Дмитриевна была умна и гораздо на выдумки, а князь Пронский, пожалуй, и того умнее и хитрее. И, когда ручки боярыни уж очень ласково сжали его шею, он придумал, как ему от этой ласки женской неприметно уйти.

И привела его эта думушка к тому, что уговорил он боярыню Хитрово и царевен ради любопытства посетить царевну грузинскую.

Долго боярыня упорствовала, а князь разжигал любопытство царевен взглянуть на чужеземную властительницу и на ее житье-бытье. Наконец смекнула ли боярыня сама что-либо, или ревность в ней заговорила, как услышала она, что Елена Леонтьевна молода и даже красива, или же просто она царевнам угодить хотела, но только дала она свое согласие на это посещение и в праздник, за четыре дня до Рождества Христова, приехала с царевнами и самим Пронским к грузинской царевне на поклон.

VII

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Грузинская царевна встретила почетных гостей в самой большой комнате своих хором, носившей название приемной; эта горница была светлая, просторная, убранная по-восточному, с мягкими тахтами по стенам, увешанным коврами, с полами,

покрытыми циновками и уставленными достарханами. В правом углу стоял поставец с образами в дорогих серебряных и золотых ризах, усыпанных изумрудами и бирюзой.

Елена Леонтьевна почтительно и с достоинством поклонилась вошедшим; царевны сердечно расцеловались с нею, а боярыня Хитрово поклонилась в пояс.

Анна и Татьяна Михайловны сразу заметили стоявшего с царевичем в стороне стройного юношу.

— Глянь-ко, боярыня, какой красавчик! — шепнула хохотушка Анна. — Глаза-то, глаза так и пышут жаром, словно съесть нас хотят. Это он, боярыня, в тебя уставился... А тонкий-то какой да ловкий, что молодая березка.

Елена Дмитриевна и сама видела, как загорелся взор у этого смуглого чужеземца, встретившись с ее лазоревыми глазами, как дрогнули мускулы его сухощавого лица, когда она приветливо улыбнулась ему.

А царевна Анна уже отошла от боярыни и говорила с царевной Еленой:

— Ах, царевна, какой славный у тебя мальчик!.. Вот бы его во дворец к нам.

Царевна стыдливо улыбнулась, польщенная похвалой своему любимцу; в эту минуту она совершенно забыла, что на ней лежит великая миссия ратовать за свою родину; чувство матери поглотило ее всю, и она, мило коверкая русские слова, стала рассказывать о нем всякие мелочи, дорогие ее материнскому сердцу.

Князь Пронский, сидя немного поодаль от царевен, украдкой следил за Еленой Леонтьевной, чтобы кто-либо не поймал его страстного взора. Порой он переводил свой взгляд на боярыню Хитрово, и если бы она видела этот взгляд и злобную усмешку, мелькавшую на его губах, то, как бы ни была храбра и бесстрашна, наверное, содрогнулась бы. Но она не видела этого взора, а видела, как вспыхнул князь, когда царевна Елена, разговарившись о сыне, скользнула по нему жгучим взглядом и даже чуть улыбнулась ему, когда он поцеловал ручку царевича. Боярыня сдвинула свои соболиные брови; потемнели, как ночь, ее лазоревые очи, и до крови закусилась она свои алые губы, но ничего не сказала, а под села к царевне Елене и, пытливо смотря в ее бледное, тонкое личико, заговорила:

— Правда ли, царевна, говорят, будто у вас крестят младенцев одним погружением, отцам духовным не каются и причас-

тие только при смерти дают, да и то без покаяния? Будто у вас ко Честному Кресту вера оскудела да и икон будто вы не почитаете?

Царевна заволновалась, быстро перебирая четки; при последних словах гости слабо вспыхнули румянцем ее бледные, впалые щеки, и она, вытянув руку вперед, молча указала Хитрово на поставец с образами.

Боярыня чуть смешалась, не заметив в углу образов и при входе в горницу не перекрестившись; но она скоро оправилась и еще порывистее стала выкладывать царевне свое знакомство с Грузией и ее обрядами.

— У вас много несогласий с соборной апостольской церковью,— продолжала она.— Первое несогласие — то, что церкви от алтарей не отгорожены, престолы везде наги и к стене приделаны; служите вы в неосвященных церквях, крестов ни на одной церкви нет и не бывало, мотаете рукой не по истине и кланяетесь, смотря на небо, а не на иконы. Женятся у вас будто без венца, и ежели дети будут, то венчаются, а ежели не будут, то, покинув старую жену, берут иную. Всякие люди будто входят у вас в церковь в шапках да в соболях... свадьбы играют в Великий пост и в Благовещение... Какие же вы настоящие христиане после того? — победоносно усмехнувшись, закончила Хитрово и торжественно оглянула всех.

Но царевна уже вполне овладела собой, и, хотя слова русской боярыни жестоко оскорбили ее религиозное чувство, она и вида не показала, что обиделась, а ровным, внятным голосом ответила ей на довольно чистом русском языке:

— Не знаю, боярыня, не обучена я, как бы следовало, церковному знанию, но известно мне, что не тем вера велика, как крестное знамение сотворить, и где алтарь поставить, и когда венчаться! В шапках у нас ходят в церковь потому, что это древний обычай, и в этом нет греха, а грех в церковь ходить и не Богу молиться, а судачить и зло творить; как известно тебе, царь ваш Иоанн Васильевич в церковь ходил чинить расправу да над митрополитом издевки делать, вот грех где. Не в том грех, что жену бесплодную с честью на людях домой отослать: Сам Господь повелел Аврааму служанку взять себе в жены, потому что Сарра была бесплодна. Иисус Христос велел смоковнице высохнуть за ее бесплодие, так в чем же тут грех? Я думаю, грех-то там, где посылую жену в монастырь гонят силком или — что еще хуже — в гроб вколачивают со злобой...

Царевна говорила, все более и более воодушевляясь; видно было, что она хорошо ознакомлена с русской историей и русскими нравами. Она колола не в бровь, а прямо в глаз, и последние ее слова заставили боярыню Хитрово пугливо отшатнуться от нее и взглянуть на князя Пронского. Тот сидел бледный, угрюмо устремив на царевну свои мрачные глаза и пощипывая свою окладистую курчавую бородку.

— Ай да царевна! — кисло засмеялась Хитрово. — Умеешь ты своих защищать!

— Я не защищаю, а только оправдываюсь. Ты сказала, что мы не христиане, а мы были еще тогда христианами, когда на Руси о Христе никто и не слышал.

— Мудреное что-то говоришь! — всплеснула руками царевна Татьяна. — Как это возможно, чтобы вы раньше нас Христа знали?

— Мы были христианами, когда еще и Руси вовсе не было! — с гордостью произнес царевич Николай, все время молча и со вниманием слушавший спор.

Все улыбнулись; царевны Татьяна и Анна кинулись целовать его, но он вырвался от них и убежал; они погнались за ним, и скоро по всему дому раздался веселый смех девушек и царевича.

Елена Леонтьевна предложила гостям угощение; хотя она и ее свита, как и все приезжие из всех стран послы, пользовались на царский счет яствами и питьями, но все же она имела и свой запас кахетинского вина и восточных сладостей, вроде кишмиша и чурчхелы, которыми с особым удовольствием и тайной гордостью любила потчевать своих русских гостей.

Елена Дмитриевна с удовольствием согласилась отведать вина.

— Бают, вино у вас чудесное? — улыбнувшись, спросила она все время молчавшего Джавахова. — Что, понятна ли тебе моя речь?

Пронский сказал, что князь хорошо говорит по-русски.

Боярыня заговорила с князем Леоном, предоставив Пронского царевне. Но та сидела потупившись и на предлагаемые князем Борисом Алексеевичем вопросы отвечала односложно.

Наконец прислужник-грузин вошел в комнату с подносом, уставленным сластями и сосудами с кахетинским вином; следом за ним вошли несколько грузин и две грузинки. Низко поклонившись всем по-восточному, они безмолвно расселись по

тахтам. Грузинки же потупились, сложили маленькие руки на коленях, вытянули слегка ноги так, что из-под платьев виднелись кончики их атласных туфельек, и все застыли, точно изваяния, в этих неподвижных позах. Изредка которая-нибудь из них вскидывала черные жгучие глаза, но тотчас, будто испугавшись, что ее взгляд может обжечь кого-нибудь, торопливо опускала свои длинные ресницы.

Одна из грузинок была очень хорошенькая, смуглая, с крупными чертами лица, страстными полными губами и ярким румянцем на щеках; ее длинные черные косы, перевитые жемчугом, закрывали уши и спускались на грудь. Другая была совсем молоденькая некрасивая девушка с добрыми карими глазами и бледными тонкими губами.

Первая — княжна Каркашвили — как пришла, так сейчас же отыскала князя Леона, и ее черные, немного сросшиеся брови насупились, когда она увидела, что он оживленно разговаривает с голубоглазой красавицей гостьей.

— Кто это? — по-грузински спросила она свою маленькую подругу Саакову, которая робко взглядывала на статного русского князя, разговаривавшего с ее царевной и не обратившего никакого внимания на их приход.

— Не знаю! — тихо шепнула та. — А какая красавица, правда? Белая, как пена Арагвы, а глаза... Нина, ты видела когда-нибудь такие глаза? Я видела на образе у Божией Матери, знаешь, в Мцхете, в соборе...

— Замолчи, Гаяна! Она отвратительна! — скрипнув зубами, прошептала княжна, после чего Саакова с удивлением посмотрела на нее.

Между грузинами выделялся красивый старик с ястребиным взором и мягкой улыбкой; в его черных волосах проглядывала сильная седина, придававшая его загорелому мужественному лицу особую важность и величавое спокойствие. Он был одет богаче других, и его кинжал был осыпан драгоценными камнями; царевна одному ему кивнула головой.

Это был князь Джавахов, отец Леона, уполномоченный посол царя Теймураза и приближенный царевны Елены. Он приходился ей даже троюродным дядей. Испытанный в боях воин, храбрый, как лев, ловкий, как пантера, князь Вахтанг происходил из царского рода, но гордился не этим, а тем, что он — сын Грузии, которую любил наравне с единственным своим сыном и на служение которой отдал всю свою жизнь.

Отправившись в посольство с невесткой царя Теймураза и его внуком, он думал скоро уладить дело с русскими, испросив у московского царя все, что необходимо для грузин, и каково же было его нетерпение, когда ему пришлось сидеть без дела в Москве, в то время как на родине персы разоряли города и села грузин. Он ходил в Посольский приказ, спрашивал подьячих и дьяков о том, как подвигается их дело; дьяки выслушивали его, качали головами и, уставившись бородами в землю, в свою очередь глубокомысленно спрашивали:

— Зачем вы в Москву-то приехали?

— Приехали мы бить челом великому государю, чтобы пожаловал нас для православной христианской веры, велел принять под свою высокую руку в вечное подданство! — отвечали грузины.

Эти вопросы озадачивали и сердили князя Вахтанга, так как повторялись при каждом его посещении приказа.

Теперь, увидав наконец у царевны русских и узнав, что боярыня Хитрово имеет влияние при дворе, он решился через сына сам серьезно переговорить с нею. Его приятно изумило, что сын, видимо, понравился влиятельной гостье, потому что она слушала его с удовольствием, что выражали ее красивые, ясные глаза. Старик не понимал по-русски, но по оживленному лицу сына видел, что беседа идет, вероятно, о Грузии; он не пропускал ни одного их жеста и, покручивая свои седые усы, зорко следил и за царевной, видимо тоже с большой неохотой слушавшей князя Пронского.

Прибежали наконец и царевны с царевичем Николаем; они подсели к грузинкам и заставляли царевича переводить их робкие, короткие речи. Он, хотя и с акцентом, но довольно свободно, как все дети, выучился русскому языку и теперь с наслаждением вошел в роль толмача.

Царевны заливались веселым смехом, а грузинки застенчиво улыбались и смотрели на них со жгучим любопытством. Молодые грузины, безмолвно сидевшие на тахтах, таращили на девушек свои черные, как маслины, глаза и изредка молодцева-то поглаживали свои блестящие черные усы.

Анна и Татьяна Михайловны, смеясь и кокетничая, взглядывали на них, но вступать в разговор с ними все-таки еще не решались. Уж очень шло вразрез со всем укладом русской жизни первыми начинать беседу с мужчинами, что считалось весьма неприличным, да к тому же и грузины не умели объясняться по-русски.

VIII

РЕВНОСТЬ

— А прежде у кого были вы в подданстве? — спросила боярыня Елена Дмитриевна князя Леона, ласково улыбаясь ему.

— Мы еще ни у кого в подданстве не были! Есть у нас царь Теймураз, и ему мы — подданные, а так как шах Аббас Персидский нас очень теснит и города наши разорению предает и мы одной веры с вами, а потому ваш царь может нам помочь... Узнают персы и турки, что русский царь нас под защиту взял, испугаются и к себе вернутся!

— Это точно! — кивнула головой Елена Дмитриевна. — А много ли у вас служилых людей и какой у вас бой?

— Ратных людей у нас восемь тысяч, бой лучной и копейный; все бывают в панцирях.

— Как рыцари! — произнесла Хитрово. — В каких местах вы живете, далеко от Терека? — с важностью спросила она, желая похвастаться перед иноземцем своими познаниями.

Грузин действительно с изумлением взглянул на красавицу, знавшую, что недалеко от их царства течет Терек.

— От Терека до Тушинской земли скорого хода четыре дня.

— Недалеко. А что, эта река, Терек-то, поди, меньше нашей Москвы-реки?

Князь Леон усмехнулся и ответил:

— Да любой приток Терека в два раза больше ее.

— Ой ли! Значит, Терек — как Волга?

— Терек не так широк, как Волга, но он бурливее, глубже Волги и красивее.

— Ну а скажи ты мне, — не унималась боярыня, с наслаждением прислушиваясь к гортанным звукам низкого голоса грузина, — есть ли у вас города и в каких местах вы живете?

— Как же городам, боярыня, не быть? — изумился Леон. — Таких городов, как наши Тифлис, Телав, Мцхет, не найти много, разве что Тегеран да Испагань таковы. Где столько садов с белыми дворцами и журчащими фонтанами? Где такая светлая, прозрачная река, как наша Кура? Где такие райны, буки или аллеи из роз и миндальных деревьев? Где еще растут спелые персики, абрикосы и такой душистый виноград, как у нас? Разве есть такие города, которые со всех сторон закрывались бы голубыми горами и их воздух был наполнен благоуханием цве-

тов? О нет, ты не знаешь, нет лучших городов, как наш Тифлис и наша древняя столица Мцхет! — с воодушевлением говорил молодой грузин, и все с невольным вниманием прислушивались к его словам.

Старик Джавахов, поймав раза два знакомые имена, одобрительно закивал своей курчавой головой и с гордостью оглянул присутствующих.

Царевна Елена Леонтьевна уже давно перестала слушать, что говорил ей князь Пронский, и с разгоревшимися щеками смотрела на князя Леона. Княжна Каркашвили вся подалась вперед; забыв всех, она не отрывала своих черных страстных глаз от юного оратора. Когда он на минуту остановился, чтобы перевести дыхание, боярыня Хитрово проговорила своим воркующим, нежным голоском:

— Ах, уж вижу, ты — кулик!

Леон и царевна не поняли ее и попросили объяснения.

— А то и значит, что всяк кулик свое болото хвалит! И плох тот кулик, который своего болота не хвалит, а хайт! А чтобы ваш Тифлис на самом деле так хорош был, что-то плохо мне верится. Вы, что черные орлы, на страшных высотах гнезда вьете; как же там городам быть красивыми? Что-то не пойму я.

— Чтобы понять всю красоту нашей страны, надо видеть ее! — взволновался князь Леон.

— Эка, что сказал! — рассмеялась боярыня. — К вам ехать, ехать — не доехать, в тридевятую землю, в тридесятое царство ближе, поди, съездить.

— Мы же приехали! — многозначительно проговорила царевна Елена и впервые прямо в упор взглянула в глаза боярыне.

«Ну и баба,— подумала боярыня,— воля-то какая да силища видны в глазах! Поборемся, поборемся, матушка, люблю и я побиться, силушкой вдовьей помериться. Ты моего Борисушку, свет ясна сокола, на свою жердочку переманить хочешь? Да у меня позволения, красавица, на то не спросила, а время не пришло мне князя-то моего от себя освободить, люб он еще мне, касатик!» — И с особой нежностью она окинула статную фигуру Бориса Алексеевича.

Иногда ее самолюбивое сердце жаждало любви и привязанности, и тогда ей казалось, что Пронский ей особенно дорог и необходим. Но Пронский не глядел на нее, а сидел глубоко задумавшись. Она окликнула его:

— Что, князь, свет Борис Алексеевич, затуманился?

Пронский дрогнул, недоумевающим взглядом окинул всю комнату, провел рукой по глазам, точно снимая с них паутину, и спросил боярыню:

— Долго мы еще хозяйюшке надоедать станем?

Царевна заволновалась. Сказано было много, смеха и шуток было довольно, а до главного — до того, о чем стонало сердце грузинской царевны и ее свиты, — все еще не договорились. Боярыня, должно быть, и думать забыла, чего от ее визита ждала невестка царя Теймураза; князь Пронский, видно, другим чем был озабочен, а не делами грузинскими; царевны смеялись и шутили с царевичем и даже не слушали серьезных разговоров.

При вопросе Пронского по губам Елены Дмитриевны змеей пробежала улыбочка; она поняла, что творилось в гордом сердце царевны, но на помощь прийти не захотела. Любила она посмотреть, как люди свою гордость от нужды теряют, а тут еще царевна, хотя и чужой земли, будущая царица, перед нею, простой боярыней, должна была преклониться. И ждала боярыня льстивых речей, просьбы жалостной от царевны грузинской.

Но гордые уста Елены Леонтьевны не раскрывались. Она чувствовала, что судьба родины теперь всецело зависит от нее и этой белокурой, белотелой красавицы, так спокойно, так победоносно стоявшей перед нею, но у нее не было сил унижаться, вымаливать милостей у той женщины, которую она сразу инстинктивно возненавидела со всем пылом своей страстной, неукротимой натуры.

Обе женщины стояли друг перед другом: одна — сильная своей силой и властью, другая — слабая, беспомощная.

— Прощай, царевна, спасибо за хлеб, за соль! — проговорила наконец Хитрово, и углы ее полных губ опустились, что означало ее крайнее недовольство.

— Что ж, боярыня, — начал вдруг Пронский, — ты не скажешь царевне, устроишь ли ей свидание с царем-батюшкой?

Хитрово метнула на князя грозный взгляд, но, притворно усмехнувшись, точно не понимая, спросила:

— А разве царевна хочет видаться с государем? Она меня не просила об этом.

Боярыня сделала ударение на слове «просила» и перевела вопросительный взгляд на царевну. У той в это время происходила тяжелая борьба между долгом и личным чувством.

Леон Джавахов понял, что обе женщины невзлюбили друг друга, что боярыня испытывает царевну, а последняя не хочет

преклониться перед влиятельной боярыней. И вдруг Пронский очутился возле него и тихо шепнул ему:

— Пусть царевна просит свидания с царем... одно только слово, а прочее я уж устрою.

— Она попросит царевен! — также шепотом ответил Леон.

— Боже сохрани! — испугался Пронский. — Вечного врага наживете в боярыне.

— Но царевна ни за что не попросит ее...

— Надо заставить.

— Я скажу отцу, — и князь Леон указал на седого грузина, с нескрываемым беспокойством следившего за царевной и боярыней.

— Познакомь, князь, меня с ним.

— Он не говорит по-русски.

— Ничего не значит. Ты перескажешь. Пойдем!

Они подошли к старику, и Леон по-грузински передал ему в нескольких словах, что, видно, царевна не хочет просить боярыню о свидании с царем. Старик нахмурился и спросил сына, что же хочет от него этот мрачный русский. Леон пожал плечами. Пронский тогда взял старого Джавахова за руку и подвел его к Хитрово. Старик низко поклонился ей.

— Мой отец! — отрекомендовал Леон отца, не понимая, почему Пронскому понадобилось знакомить его с боярыней.

Пока боярыня Хитрово через Леона разговаривала с Вахтангом Джаваховым и царевной о положении Грузии, князь Борис Алексеевич подсел к царевнам и царевичу и тихо шепнул Анне Михайловне, чтобы она, прощаясь, спросила царевну Елену, желает ли она видетсья с государем.

— Только смотри, царевна, боярыне об этом ни слова! — попросил Пронский.

Анна Михайловна лукаво погрозила ему пальцем.

— Что, небось боярыню больше боишься, чем брата? — вполголоса спросила она.

— И-и, куда! — отмахнулся князь. — Так сделаешь, о чем прошу, царевна?

— А ты приведешь к нам в терем того вон, глазастого, что таращится на меня? — засмеялась царевна. — И грузинок этих. Потешные они!.. Смотри, князь, вон та, маленькая, с тебя глаз не сводит; знать, заполонил ты ее девичье сердце!

— Ой и шустрая же ты, царевна! Смотри, галчонок-то ушонки наострил, — указал Пронский на царевича, силившегося

расслышать их беседу, и прибавил так, чтобы царевич слышал: — Так скажешь царевне Елене Леонтьевне?..

Анна Михайловна утвердительно кивнула головой. Пронский отошел от них и подошел к царевне Елене с поклоном.

— Государыня царевна! — проговорил он, низко опуская голову. — Бью челом на добром угощении.

Князь Леон по-грузински что-то шепнул царевне; она чуть вспыхнула и протянула князю кончики тоненьких пальчиков; он прикоснулся к ним, но сейчас же отошел и прислонился к стене, точно ноги не держали его. Он был бледнее обыкновенного, и на его лице лежали какая-то растерянность и печаль.

Боярыня Хитрово из-под ресниц вбок взглянула на него и шумно стала звать царевен домой.

Когда Анна Михайловна целовала бледные щеки царевны, то вдруг, к изумлению сестры, царевны Татьяны, и Елены Дмитриевны, проговорила:

— А что ж, царевна, когда хочешь увидеть братца-царя?

Царевна Елена смутилась.

— Не когда я хочу, а когда он соизволит назначить явиться мне пред его очи! — ответила она трепещущим голосом. — Я-то уже больше двух лет этого хочу, — прибавила она с горечью.

— Я скажу братцу... я попрошу! — смутившись, в свою очередь проговорила Анна Михайловна, встретившись с суровым взглядом Хитрово.

— Просите боярыню, просите! — прошептал Пронский на ухо царевне Елене.

Та посмотрела на него глазами раненой лани, которую насильно заставляют идти вперед, но Вахтанг Джавахов что-то повелительно сказал ей, на что она ответила ему одним словом и опустилась на тахту.

Боярыня Хитрово уже медленно плыла к дверям, погладив по головке царевича Николая и многозначительно улыбнувшись князю Леону, который пошел провожать ее. Царевны шли сзади, посылая поцелуи царевичу и зовя его и царевну к себе в гости.

Князь Пронский, как только боярыня Хитрово исчезла в дверях, подошел к Елене Леонтьевне и почтительно проговорил:

— Не кручинься, царевна, дело уладится. Животы за тебя отдадим, а свидание с государем уладим.

— Спасибо, князь! — проговорила оправившаяся царевна и подняла на князя взор.

Пронский содрогнулся, точно его опалило огнем, и, поклонившись, поспешно вышел из комнаты.

Скоро послышался за окнами лязг полозьев о снег, и сани с гостями отъехали.

— Ужо зайдешь вечерком! — сказала боярыня Пронскому, отъезжая.

При этом повелении лицо князя потемнело, но он безмолвно поклонился и отошел к своим саням.

Когда боярыня с царевнами совсем исчезла из его глаз, князь еще раз посмотрел на окна, в надежде увидеть царевну, но на него оттуда глянули лишь робкие карие глаза маленькой грузинки; в них стояли тоскливый укор и надежда, что он ее заметит.

Князь отвернулся с досадой и, нахлобучив соболью шапку на самые глаза, велел кучеру ехать домой.

— Да скорей! Не зевай! — сердито сказал он.

— Пьяных много, боярин! — заметил кучер, ослабляя вожжи, и пара кобыл в серых яблоках как стрела помчалась по пустынной Неглинке, разметывая копытами рыхлый белый снег. — Как бы беды не вышло на площади!

— Знай дуй в мою голову! Дави! Я отвечаю! — свирепо приказал князь, подставляя ветру свое разгоряченное лицо.

На счастье кучера, при звуке его зычного голоса встречные пугливо шарахались в сторону, и сани летели беспрепятственно вперед.

IX ТАЙНЫЙ ХОД

Лошади князя Пронского остановились как вкопанные у красивого дома в Китай-городе.

Это здание отличалось как своей относительной прочностью и обширностью, так и оригинальностью архитектуры. По всему было видно, что та постройка — дело рук иностранного архитектора, к которым Москва начала обращаться с XVI века и которыми были уже построены несколько церквей, дворцов и частных домов. Дом, или даже скорее дворец, князей Пронских был построен недавно, при отце Бориса Алексеевича, итальянским художником во вкусе Возрождения.

Борис Алексеевич, выйдя из саней, потрепал взмыленные шеи тяжело дышавших лошадей, приказал отпустить кучеру чарку водки, вошел в свои роскошные палаты и велел подавать обед, предварительно спросив, дома ли дядя Иван Петрович.

— Князь Иван Петрович уехали во дворец! — ответил старый ключник Ефрем. — Прикажешь в большой столовой палате накрыть тебе, батюшка князь? — не глядя на Пронского, спросил он.

Борис Алексеевич зорко глянул на старика.

— Ты что, Ефрем? — с расстановкой мрачно шепнул он. — Опять там был?

Ефрем без слов со стоном упал к его ногам.

Князь толкнул его прямо в лицо, но легонько, красным сафьяновым сапожком.

— Говори, стервец, что еще там? — спросил он, скрипнув острыми, как у волка, зубами.

— Батюшка! — простонал старый ключник. — Не вели казнить на слове...

— Говори, что ль! — крикнул князь, зашагав по палате с заложенными за спину руками.

В одном исподнем кафтане из малиновой парчи с золотыми пуговками на могучей груди, туго перетянута шелковым кушаком вокруг пояса, статный и сильный, князь вполне мог бы назваться красавцем, если бы не злобная усмешка, кривившая его тонкие губы под холеными усами, да невыносимо жестокое выражение, мелькавшее в его глазах.

— Зачем шлялся без меня, старый дьявол? — слетало иногда у него во время доклада ключника.

Старик, хватая его на ходу за ноги и ползком ерзая за ним на коленях, всхлипывал и говорил:

— Не мог, не мог, батюшка боярин! Ты второй день у нее, сердешной, не был... мучилась она с голода!.. Я не знал, пойдешь ли и сегодня... Водицу всю выпила, плакала ночью, причитала, бедная, ночью, как горlinka! Молила меня: «Убей,— говорит,— меня, убей, только не мучь!» О ребеночке спрашивала!

— Обоих вас велю замуровать! — страшно усмехнувшись, проговорил Пронский. — Ну, да с тобой у меня расчет после будет. А теперь бери фонарь, пойдем.

— Осмелюсь молвить! — дрожа и едва будучи в силах подняться, начал Ефрем. — Там, в большой столовой палате, все собравшись. Прикажешь ждать?

— Вестимо дело, подождут, не помрут, чай, с голода. Ступай, неси фонарь!

Старик вышел и скоро вернулся с потайным фонарем.

Они прошли две комнаты и вошли в третью, совершенно темную, служившую шкафной. Здесь князь подошел к одному шкафу, вложил в него из связки ключей, поданной ему Ефремом, один ключик поменьше и отворил им дверцы. Шкаф был пуст, и в нем было темно, как в гробу.

— Посвети! — шепнул князь.

Ефрем поднял фонарь, князь заметил в одном углу кольцо, прикрытое дощечкой, приметной только опытному глазу, и потянул за него; пол подался, открылась крышка над железной винтовой лестницей, и князь стал спускаться вниз, взяв у ключника фонарь.

— Ты останься наверху! — приказал он старику. — И смотри — не подслушивать, худо будет... Да не тебе будет худо, а Аришке твоей, смотри! — И он захлопнул за собою крышку.

— Ирод, право, ирод! — зашептал старый слуга всего рода Пронских. — Аришка моя, родная, как убережь мне тебя от иродовых глаз?

По морщинистым щекам старика, по седым усам и бороде катились слезы. Он приложил ухо к скважине, и ему послышался визг ржавых петель на дверях.

— Входит! — прошептал старик. — Господи, сохрани и помилуй ее, голубушку безвинную!..

Глухо раздался подавленный крик, и все разом смолкло. Ефрем поднялся и отошел от крышки...

Между тем князь Пронский открыл небольшую железную дверь и осветил фонарем подzemелье. Там, в углу, на охапке соломы лежала женская фигура, завернутая в линючий голубой атлас. Когда Пронский приблизился и навел свет фонаря на женщину, она дико вскрикнула и вскочила на ноги, но, узнав князя, дерзко рассмеялась и опять села на солому, проговорив по-русски, но с акцентом одно лишь слово:

— Палач!

Боярин точно не слышал этого. Он придвинул единственную табуретку к пленнице и, придав своему лицу мягкое и нежное выражение, заговорил:

— Княжна, я пришел к тебе с миром! Хочешь ли дать мне руку?

Он взглянул на сидевшую перед ним женщину ласково и вопросительно.

— Волк в овечьей шкуре! — ядовито проговорила она польски. — А зубы-то, зубы все-таки волчьи видны! Боже! — заломив изящные ручки, простонала несчастная. — И когда-то я целовала, я миловала эти губы, эти кровожадные глаза!

Она в исступлении упала на свою жесткую, сырую солому. Роскошная волна вьющихся пепельных волос разбежалась по ее худым белым плечам и закрыла лицо.

— Ты и теперь любишь меня, Ванда! — нагнувшись к самому ее уху, прошептал князь. — И я за этим пришел... Я пришел сказать тебе, что виноват перед тобой и, если ты хочешь, мир может наступить между нами!

Да, князь умел говорить ласковые, нежные речи, мог придавать своему суровому голосу мягкие ноты, а своему красивому, но мрачному лицу с суровым взглядом — любящее и страстное выражение.

Пленница при звуках этого когда-то дорогого голоса подняла голову, откинула с лица волосы и устремила на него недоверчивый и изумленный взор.

Это была, вероятно, чудная красавица, да иначе князь Пронский, этот баловень женщин, не добивался бы с таким упорством ее любви; однако лишения и сердечные муки согнали с ее ланит нежную краску и положили темные круги вокруг великолепных синих глаз; эти глаза с длинными, загнутыми ресницами да зубы, ровные, как отборный жемчуг, только и остались от былой красоты. Маленький, прямой носик заострился, как у живого мертвеца; бледные губы точно приросли к деснам, а ее грудь и щеки глубоко запали. На худых плечах висела выцветшая кацавейка небесного цвета, опущенная горностаем; голубой атласный сарафан и высокие польские сапожки дополняли костюм.

— А где мое дитя? — спросила полька своего мучителя.

— Ты увидишь его, когда...

Радостный крик огласил темницу, и пленница упала к ногам князя и стала ловить его руки. Ее бледные щеки окрасились легким румянцем, в глазах засветилась надежда, на губах появилась улыбка. Она вдруг стала прекрасной.

Борису Алексеевичу вспомнилось, сколько счастья пережил он на этой любящей груди, как ласкали его эти худые теперь ручки, какие нежные слова шептали ее бледные ныне уста, и страстно сжал в своих сильных руках ее тонкий, гибкий стан.

Полька склонила голову ему на плечо и, стараясь заглянуть в глаза, защебетала, как ласточка:

— О, мой Борис, видно, прошли злые дни, миновало лихое горе; ты испытывал меня, мою любовь, но ты узнал, что я люблю тебя, и теперь наступит для меня рай. Так ведь? Скажи? Пойдем, пойдем!.. Уведи меня отсюда, из этого мрачного подземелья, где я так много безвинно страдала...

Но князь уже отвел свои руки от нее, и она подняла голову.

— Ты увидишь сына! — начал он, но она опять остановила его и, вся сияя материнским счастьем, залепетала:

— Сына? Боже, я увижу своего малютку! Борис, ты добр, и я виновата перед тобой. Я проклинала тебя, призывала на твою голову всевозможные беды и несчастья, а ты думал о моем малютке...

— Но он и мой, Ванда! — напомнил Пронский.

— Милый мой! — прошептала Ванда, обвивая его шею руками и забывая, что она еще в темнице.— И твой сын — наш сын! Но пойдем же, пойдем скорее к нему!.. Что ж ты медлишь? Или он болен? — с невыразимым страданием произнесла она.— И ты пришел сказать мне, что надежды нет, что жить не для чего?

— Нет, он жив и... и здоров, но, Ванда, слушай!

— Да, да! Я буду слушать, но пойдем, пойдем отсюда, пойдем скорее! Разве ты не видишь, что я задыхаюсь здесь, что здесь темно и смрадно, как в могиле, что здесь дышать нечем... Я долго жила здесь, много мучилась, но тебе все простила: и свою загубленную молодость, и исчезнувшую красоту, и даже то, что ты отнял от меня малютку, не дав мне насладиться моей любовью. О, ты не знаешь, что переживает мать, давая первый поцелуй своему ребенку!.. Надо самому испытать это, надо быть матерью, чтобы понять это! И вот за то, что ты обещаешь мне дать это наслаждение еще раз... много раз... я прощаю тебе все, я забуду все, что ты мне сделал...

Х

КНЯЖНА ВАНДА

Борис Алексеевич резко остановил ее:

— Постой же, княжна...

— Опять! — вскрикнула она, широко раскрывая глаза, которые постепенно приобретали выражение ужаса.— Опять ты меня так называешь?

— Постой, Ванда! — поправился князь.— Ты все так же строптива! Я пришел за тобой, уведу тебя отсюда, дам тебе

свидеться с... сыном, но прежде всего ты должна обещать мне исполнить мою волю.

Ванда понемногу отступала к двери и нетерпеливо взялась за замок.

— Ты должна написать отцу,— продолжал между тем князь, отчеканивая каждое слово,— что все про меня ему наклепали, что ты бежала с моим стремянным Лукою, что у тебя от него и сын...

Ванда с пронзительным криком отскочила от двери и заломила руки.

— Опять то же! — воплем вырвалось у нее.— Опять это гнусное предложение, опять эта ложь!.. О изверг, что ты хочешь от меня? Разве ты мало еще мучил меня?

— Ты хочешь видеть сына? — холодно спросил Пронский. Она застонала и как подкошенная повалилась на солому.

— Такою ценой? Ценой его позора? — простонала она.

— Иначе ты его никогда не увидишь и умрешь здесь, в подземелье.

— Палач! Изверг! — закричала, впадая в исступление, пленница.— Нет, я этого никогда не напишу, не дам тебе торжествовать, гнусный злодей! Я жена твоя и умру ею; я не отниму у своего сына имени, принадлежащего ему!

— Баба,— с презрением произнес князь.— Разве ты забыла, что я один судья и волен назвать тебя своей княгиней или нет?

— Лжешь ты, змей! Мучил меня угрозами, что не поп нас венчал, что не князем крещен мой малютка, лукавишь все, лжешь... Знаю, что я венчана с тобой по закону и что наш сын — законный и единственный твой наследник!

Князь угрюмо смотрел на молодую женщину; при каждом ее слове, при каждом ее выкрике в его стальных, холодных глазах вспыхивали злоеющие огоньки.

— А! Значит, тебе все известно? Ефрем сказал? — И князь плотно сжал губы.— Ну, поплатится он мне за это.

Ванда спохватилась, что нечаянно выдала человека, горячо сочувствовавшего ей, но такого же беспомощного, как и она, и попыталась защитить его:

— Никто ничего мне не говорил... сама догадалась. Если бы мы не венчаны были, не боялся бы ты удушить меня...

— Ладно! Не вызволяй Ефрема — будет помнить, старая лисица, как языком звонить. А ты, княгинюшка,— ядовито произнес он,— поразмысли, как это я могу у двух жен мужем законным быть?

— Ведь первая-то жена твоя в монастырь ушла?

— Ушла, да назад вернулась. Вот ты и раскинь умом, чей я муж законный?

— Я пойду к ней... вымолю сожаление к себе и сыну.

— Эвона! — протяжно свистнул князь. — Она, поди, и имя твое слышать не захочет.

— Не ради меня она в монастырь пошла.

— Да знала, чай, она, что ты у меня зазнобушка.

— Зазноба! — хватаясь за голову, простонала Ванда. — Зазноба! Я, дочь люблинского воеводы, дочь славного князя Ключинского, зазноба русского боярина, исконного врага нашего!

— Ну, будет юродствовать! — сурово перебил ее князь. — Думала бы прежде, когда молодца по веревочной лестнице к себе в горенку принимала.

Точно раненная, воспрянула молодая женщина и гордо выпрямила свой гибкий, невысокий стан.

— Ты... ты смеешь теперь укорять меня, что я принимала тебя в своей горнице? О, будь проклят тот час, когда я впервые увидела твое лживое лицо, услышала твой гнусный голос, когда я поверила твоим льстивым речам! О, пусть будет проклят самый день моего рождения за то, что я обманула отца и доверилась тебе...

— Ну, будет! — остановил ее Пронский. — У вас, у баб, только и есть, что или на коленях метаться, или проклинать походя, а нет того, чтобы умом раскинуть — мол, насильно мил не станешь. Любил я тебя, паненка, чудилось мне, что никого больше так не люблю! Ну, что же, видно, за себя никому не ответить... Не люблю я тебя больше! Другую полюбил, да как полюбил!.. Ах, как полюбил! Лют я был, сказывали, а теперь еще лютее стал, в крови хочу стон сердца потопить!

Он умолк, сел на табуретку и склонил голову на грудь.

А княжна стояла, прислонившись к земляной стене своей темницы, и уже без злобы и ненависти глядела на это все еще дорогое ей, когда-то безумно любимое лицо, теперь такое несчастное, такое страдавшееся. Она забыла на мгновение все окружающее, и чудились ей апрельский вечер, синее бесконечное небо с пробегавшими по нему розоватыми облачками, вековые дубы и расчищенная, нарядная аллея Саксонского сада в Варшаве с разношерстной, нарядной толпой, сновавшей по ней пешком и в богатых экипажах.

Вот мелькнул экипаж с красавицей Любомирской; вот князь Понятовский на вороном скакуне, а вот и чудный боярин, в со-

большей шапке, правит удалой тройкой; он часто и подолгу ездит по главной аллее, замедляет бег своих белых коней и не сводит холодных, каких-то загадочных очей с раскрасневшегося личика Ванды Ключинской, дочери воеводы люблинского, только что приехавшего в Варшаву, чтобы представить свою Ванду ко двору короля польского Яна Казимира.

Ванда Ключинская сразу была признана первой красавицей; вся польская знатная молодежь готова была положить к ногам княжны свои имена и богатства, но она спокойно взирала на это поклонение, и ее сердечко не било тревоги. Воспитанная стариком отцом, рано лишившаяся матери, Ванда не придавала никакого значения блеску и шуму светской жизни. Она любила уединение, тихие душевные беседы и свой родной Люблин с домом, окруженным тенистым садом и бесконечным простором полей.

Ванда сильно смутилась и не знала, куда спрятать свое свежее зардевшееся личико, когда отец и князь Чарторийский подвели к ней высокого боярина. Он устремил на нее свои глаза и точно вмиг заколдовал ее взглядом. Ее сердце трепетно часто забилося, а синие глаза полузакрылись.

Князь говорил по-польски, и его речь зажурчала, как светлые воды Вислы. Ванда слушала и млела, и легкий сладостный трепет пробежал под ее светло-зеленым кунтушом с бобровой оторочкой. Молодая, еще не вполне развившаяся грудь вздымалась порывисто, неровно...

Потом она слышала много ужасного, много сказочного об этом русском богатыре. Княгиня Любомирская на одном балу, не заметив Ванды, рассказывала, как одна полька, жена небогатого чиновника, из любви к нему кинулась на его глазах в Вислу, а он даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти ее. Другой раз Ванда услышала, как его имя связали с именем самой Любомирской, и сердце Ванды билось все сильнее, все трепетнее. А он, этот чародей, стал неотлучно преследовать ее своим вниманием.

Отец поощрял эти ухаживания, потому что князь Пронский считался влиятельным человеком при русском дворе, с которым король Казимир вел важные переговоры, и потому еще, что князь считался богатым и знатным боярином, и, следовательно, княжна Ключинская не могла унижить себя, позволяя ухаживать за собою родовитому русскому князю.

Эти ухаживания сближали молодых людей; юная, неопытная девушка и много переживший тридцативосьмилетний муж-

чина находили, о чем беседовать, и, конечно, не скучали в обществе друг друга.

В воспоминаниях Ванды мелькнули жаркий летний день, тенистый сад в старинном замке Ключинских, в Люблине.

Солнце печет; тихо кругом; безоблачное небо опрокинулось над зеленым густым лесом, да чуть слышно журчит неподалеку светлый ручеек. Ванда скинула сапожки, отбросила на траву шляпу и спустила в воду свои белые ножки. Вода перебежала по ее пальцам, щекоча и охлаждая ноги. Ванда опрокинулась на траву, заложила под распустившиеся волосы руки и устремила взор на него. Знойная истома, страстная нега пробегали по ее телу; ее губки полуоткрылись, точно ища поцелуя, а из глаз тихо текли слезы.

Ванда плакала! Ванда грустила! Недавно вернулась она с отцом из Варшавы, где он, к крайнему своему сожалению, ни за кого не выдал свою красавицу дочь. Она упорно отказывала самым блестящим женихам, отговариваясь молодостью и желанием еще пожить вместе с отцом. Втайне же она ждала предложения Пронского и, хотя знала, что препятствий к браку будет немало, надеялась все-таки их побороть. Но князь Пронский предложения не сделал, а внезапно уехал в Россию.

Прошел целый год, княжна понемногу стала успокаиваться; ее сердце печально, но уже без прежнего томления вспоминало красивого боярина; отец стал опять поговаривать о поездке в Варшаву, и Ванда охотно выслушивала его предложения.

Вдруг Пронский неожиданно приехал в Люблин к самому воеводе Ключинскому с какими-то тайными поручениями от царя. Он представился княжне, долго смотрел ей в глаза, потом все время стал проводить, запершись с князем Ключинским.

Опять всколыхнулось и поднялось затихшее было в сердце княжны чувство. Она ходила как потерянная, томясь тоской; горячие слезы навертывались на ее глаза; она уходила из дома и в холодной свежей траве прятала свое горе, свои слезы и свою любовь. Так и в тот жаркий день она пришла поведать ручью, что князь скоро уезжает, что он о ней и не думает и слова еще не сказал ей ласкового, а уже уезжает в свою противную Московию...

Она так замечталась, что не слышала тихих, осторожных шагов по мягкой душистой траве, только слабо вскрикнула, когда две сильных руки охватили ее стан. Однако она тотчас же смолкла, потому что ее уста крепко целовал ее милый, ее люби-

мый... потом стал целовать ее мокрые ножки, разметавшиеся волосы...

О, много-много счастливых часов и дней провели они сперва на берегу того ручья, где в первый раз он целовал ее, потом у нее в комнате, а затем по дороге в холодную, снежную Москву!

Жизнь в Москве промелькнула как сон. Болезнь, рождение ребенка и наконец эта страшная могила, где из прежней красавицы она превратилась в жалкую пленницу.

Разве это было не волшебство, что Пронский, любящий, нежный, вдруг разлюбил ее, а разлюбив, не отослал назад к отцу?

— Бедный отец! — прошептала несчастная жертва любви. — Я сократила своим бегством дни его жизни, а теперь и совсем убью его, если возведу на себя этот позор. Он и не знает, что важные бумаги передала я тебе, он не подозревает, что я предательница своей родины; он поверил, что стремянный Лука обокрал его и ты жестоко наказал его за это. О князь, отпусти меня! — взмолилась она.

— Завтра же отправлю, если ты напишешь требуемое письмо!

— Но это — позор, позор! Боже, разве я мало вынесла, мало искупила свой грех?.. И для чего тебе это надо?

— Без этого я тебя не отпущу, — сурово повторил князь. — Или ты умрешь здесь, или дашь это письмо!

— Сжался! — лова его колени, молила Ванда.

— Я сказал, и так будет!

— Ты ответишь за мою смерть! — крикнула Ванда.

— Никто, кроме Ефрема, не знает о тебе... А он скоро замолчит! — зловеще произнес князь.

Ванда в ужасе отшатнулась от него.

— Убийца! — с невыразимым презрением прошептала она.

— Да, я не стесняюсь с теми, кто становится мне на дороге.

— Так рази же своей рукой грудь, которую ты ласкал, на которой клялся быть мне защитником! — вскрикнула Ванда, подставляя ему свою исхудалую обнаженную грудь.

— Оставь меня! — оттолкнул ее Пронский. — Слушай! Я долго с тобою валандался и честью и угрозами. Вот тебе мое последнее слово: через три дня чтобы было сделано по-моему; Ефрем придет к тебе с бумагой; напишешь, что я приказал, — волю получишь, сына увидишь, не напишешь — замурую тебя здесь и околевай, как собака! Прощай! И то закалялся я с

тобой! — И, не взглянув на свою жертву, Пронский вышел из подземелья, плотно закрыв железную дверь, о которую с воплями билась когда-то знатная польская княжна.

ХІ ТРАПЕЗА

Когда князь закрыл за собой крышку и поставил фонарь на пол, он оглянул шкаф.

Ефрем стоял у стены, и при слабом мерцании фонаря князь не заметил ни смертельной бледности, разлитой по лицу старика, ни ужаса, застывшего в его слезящихся полуслепых глазах.

Ефрем многое расслышал из того, что говорил князь в подземелье, слышал он и угрозу, посланную ему князем, и затрепетал всем своим тщедушным телом. Но не за себя, как и предполагал боярин, задрожал старик; он испугался за внучку свою, сиротку, девушку шестнадцати лет, единственным защитником которой был он, дряхлый, семидесятилетний дед.

Внучкой этой князь держал Ефрема в своих руках.

Ничего особенного не было в молодой девушке: ни красы, ни ума; всего и было-то, что коса русая до колен да лицо румяное; зато нравом веселым, смехом беспечным всякому мила была Ефремова внучка Ариша. На нее давно стал поглядывать боярин, да хранили пока ее молитвы деда да его подслеповатые глаза.

И вот вдруг услышал дед, что погрозил боярин. «Польская княжна» сгоряча да с обиды, должно быть, головой его выдала, и Ариша теперь за него ответ даст, за старого, жалостливого, за то, что он чужую княжну пожалел, а о своей родной внучке и не подумал.

Знал старый ключник, что боярин не простит ему, если он все полячке расскажет, что венчались они как следует, что ее сын и в книги боярские записан будто от жены, а от какой — не помечено; многое еще Ефрем утаил от княжны, а именно, что ее сын помер давно и она напрасно, из желания свидеться с ним, согласится на все; что отец проклянет ее, когда узнает про ее бегство будто бы со стремянным, а главное — не сказал ей Ефрем, что все ее приданое, и деньги и жемчуга, которые прислал ей отец, когда узнал, что она хотя и против его воли, но честью

повенчана со знатным русским боярином, князь себе оставил и из-за них хочет опозорить бедную и ни с чем отослать ее на родину. Всего этого Ефрем еще не сказал, пожалев княжну, а теперь и в том немногом, что сказал, каялся.

Стоя над подземельем и прикинув ухом к скважине, слушал старик, и его сердце разрывалось от жалости при звуках горестных стонов и мольбы бедной пленницы. Сколько раз хотелось ему захлопнуть крышку и, выйдя из шкафа, погрести в подземелье своего жестокого боярина, чтобы тем навсегда избавить всех от его кровожадности. Но ведь вместе с князем погибла бы невинная княжна, и старый ключник колебался, отбегал от крышки и молил Создателя спасти его от злого искушения...

Князь сумрачно пошел по светлым комнатам в большую палату; время от времени он со злорадной усмешкой посматривал на торопливо распахивавшего перед ним двери Ефрема.

Старый слуга шел пошатываясь, ничего не видя перед собой от застилавших его глаза слез. Связка ключей тихо побрякивала у него на левом боку, и он дрожащими пальцами мог едва находить нужный ему ключ.

— Аришку приведешь ужо вечером... в угловую! — вполголоса сказал боярин Ефрему, стоя у высоких дубовых дверей столовой, откуда шел говор многочисленных голосов.

Старик дрогнул и на мгновение замер в оцепенении, а затем, как мешок с костями, опустился к ногам князя.

— Батюшка, отец родной, смилуйся! Вели лучше живым меня, старика, за провинность мою на огне спалить, вели кожу мою по кусочкам нарезать, вели язык мой бабий выжечь железом каленым, только ее, Аринушку, ослобони, оставь...

— Пошел, старик! — оттолкнул его ногой князь. — На что мне твоя дурацкая кожа, твой глупый язык, твоя старая жизнь? Я хочу душу твою грязную отравить, сердце твое изменническое поразить болью нестерпимой...

— Не изменял я роду твоему! Верой и правдой отцу твоему служил, на службе тебе состарился; ужели же так за веру и правду ныне бояре платят?

— Молчи! Разве не честь тебе, хамову отродью, что на внучку твою сам князь Пронский глянул с любовью...

— Лучше убей меня, да и ее заодно!

— Прочь! Тебя убью, если хочешь, а рук моих твоей Аришке все же не миновать! — И, толкнув дверь, боярин вошел в столовую.

Медленно поднялся с пола старый ключник рода Пронских, грозя сухим, костлявым кулаком вслед князю.

— Будь ты проклят, ненасытный волк! — шептали его бледные губы, и его глаза с ненавистью были устремлены на двери; потом он поплелся в свою каморку и тут, упав на колени перед образом Спасителя, начал горячо молиться.

А в столовой в это время шел пир горой. Князь завел беседу со всеми своими родственниками и домочадцами, которых у него было немало в доме; обыкновенно он не говорил с ними и относился к ним надменно и свысока, но теперь удивил всех, спрашивая каждого о его житье-бытье, смеясь и выпивая одну за другою чарки с вином.

Маленький, юркий человечек, с плешивой головой и кривым глазом, с рыжеватой всклоченной бороденкой и красным толстым носом, все вертелся возле князя, стараясь смешить его и подливая ему вина. Это был домашний шут князя, Васька Кривой, не то беглый из Сибири, не то битый кнутами приказный, которого приютил Пронский. Плут, мошенник и пьяница, Васька всеми в доме князя был ненавидим, и все боялись его, потому что покровительство князя он снискивал темными путями, наушничая, сплетничая и выдавая своих товарищей.

Он умел смешить князя, а также и спаивать его. Заметив, что князь вошел в столовую мрачнее тучи, подбоченившись и скорчив рожу, с лихой песней пошел ему навстречу, держа в руке чарку с пенистой брагой.

— Выпей, стерва, свет увидишь! — разухабисто кричал он и зорко смотрел князю в лицо своим кривым глазом.

Князь взял чарку и залпом осушил ее, потом сел во главе стола и потребовал обедать.

Все принялись молча хлебать из чашек рассольник; князь ел мало, но пил много, и скоро его серые холодные глаза вспыхнули удалью и весельем, и он обратился к Ваське:

— Васька Кривой! Расскажи, как тебя в Немецчине били за то, что девицы любили.

— А и что ж, князинька! — завертелся Васька подле князя. — И любили, крепко любили.

— С кривым-то глазом? — спросил кто-то.

— Я в те поры при всех глазах был, — хорохорился Васька.

— А окривел-то с чего?

— Глаза-то, поди, на девок проглядел?

— А волосы где потерял?

Васька злобно посматривал на говоривших и запоминал их лица, чтобы при случае отомстить им.

— Васька, говори, как тебя били! — приказал Пронский.

— А очень просто! Растянули на лавке да и всыпали сотни три, а то и больше палок... Теперь не упомню. Не то триста, не то четыреста.

— И жив остался? — рассеянно спросил князь.

— Не! — помотал головой Васька. — Тело мое бренное живо осталось, а душу мою...

— Черт в ад сволок? — рассмеялся боярин. — Ты правду это, Васька, сказал: нет в тебе души, только богомерзкое тело и осталось... А вместо души — винный угар.

Князь смеялся, глядя на Ваську, одетого в странную кацавейку-безрукавку, широкие красные шаровары и в кунью шапку, а Васька вертелся, кувыркался, подливал князю брагу и вино и метал злобные, сверкающие взоры на всю княжескую семью и на самого князя.

— Князинька! — шепнул он незаметно на ухо Пронскому. — В корчме, у Севастьяна, для тебя припасена татарка... Хорошенькая! Как бес, вьется!

— Приведи! Два червонца получишь.

— Маловато! Севастьяну надо, почитай, вдвое дать.

— Ну, ладно, получишь десять, ежели хороша.

— А Марья глазастая удавилась! — вдруг громко выпалил шут и отскочил от князя на одной ноге, обутой в женский сапожок.

— Какая Марья? — сквозь хмель спросил, вздрогнув от неожиданности, князь.

— Та, что ты намеднишь у князя Черкасского купил, та, что ты для девичьей взял... с черной косой!

— А! — произнес князь и отвернулся к окну.

И сквозь одолевавший его сон ему мелькнули бледное лицо с большими серыми глазами, черная, развившаяся коса, разметанная по белым плечам, и послышался низкий грудной голос, шепчущий ему: «Князь, не замай! Невеста я Прохора! Руки на себя наложу! Ей-ей, руки наложу!» Но не послушался князь, зверь в нем говорил, и, не любя, погубил он человеческую душу. И теперь он отвернулся от окна, где сквозь кисейные занавески на него глянуло заходящее зимнее солнышко, глянуло и, точно застыдившись такого злодея, сейчас же спряталось за тучку.

— Дьявол! — крикнул он, стукнув чаркой по столу. — Ты что, вздумал шутки шутить со мной? Или жизнь недорого стала? Давай вина!

Васька подскочил и долил чарку доверху.

Вдруг пришел холоп с докладом, что князя зовут к боярину Черкасскому, которого ранили утром на улице; думали было, что он кончается, но боярин пришел к вечеру в себя и послал за князем Борисом Алексеевичем.

— Есть лекарь у него? — спросил князь Пронский посланного. — Кто?

— Царский лекарь Стефан Симон! — ответил посланный. — Боярин дюже мучился... теперь полегчало.

— Кто же это его саданул?

— Неведомо. Андрюшка-кучер сказывал, чужеземец какой-то: боярин-де в кулачный бой хотел вступить...

— Чужеземец ранил? — спросил князь. — А ведомо кто?

Холоп отрицательно покачал головой.

— Хорошо, ступай, скажи боярину, скоро буду! — И, не поклонившись домочадцам, князь вышел в свои покои.

ХІІ

ЗАГОВОР

В маленькой каморочке Ефрема было тихо; наступавшие сумерки чуть пробивались сквозь крошечное оконце и едва освещали сгорбленную фигуру старика над столом.

— Ефрем! Ефрем! — окликнул его кто-то шепотом в щелку двери. — Ты здесь?

— Здесь, что надоть? — слабым голосом ответил старик.

— Обедать чего не идешь? Остыло, поди, все.

— Я не хочу есть. Да кто тут? Входи, что ль!

— Попритчилось что? — прошмыгнув в дверь и садясь на лавку, спросил Васька Кривой. — Разве что случилось? Князьинька-то чернее тучи пришел и уж пил, уж пил, куда только в него лезло? От Черкасского князя пришли звать. Сказывают, ранили.

При последних словах Ефрем поднял взор на говорившего.

— Так боярина, говоришь, дома нет? — оживившись, спросил он. — Ушел? А не сказывал, когда вернется?

— Велел вечерять в угловой готовить... Одному, чтобы плясуны и песенники были.

— Пропала моя головушка! — схватившись обеими руками за волосы, проговорил с надрывом Ефрем.

— Что так? Да говори, дед, в чем дело? Может, каким ни на есть советом и помогу тебе.

— Где уж мне помочь! Пропал, совсем пропал!

— Да ты расскажи. Знаешь, чай, что Васька Кривой — не ворог тебе? Рассказывай! Ты Ваську из беды вызволил, может, и он тебе на что-либо пригодится.

— Нет, Васенька, никому беде моей не помочь, супротив боярина никому не пойти! — И слезы потекли по морщинистым щекам ключника.

— И упрям же ты, как погляжу! — покрутил головой Васька. — Ну, отчего же не сказать? Хуже оттого не будет. Нет? Ну, так и говори.

— Срамотно.

— Эвона! Меня-то срамотно? Да нешто я видов не видал? И что ты, старик богобоязненный, срамотного наделать мог?

— Видно, прогневил я Бога.

— Ну, да ладно, будет уж причитать, сказывай знай! Или забыл, что князюшку я часом веселю, а часом и душой смущаю? Сегодня за обедом он смеется, зубы скалит, а я ему шасть на всю комнату: «Марья, мол, глазастая, удавилась». Он побелел весь да как зарычит на меня!..

— А вправду Марья удавилась? — спросил Ефрем.

— Вправду. Утром по обедне! Взяла веревку и на крюке печном и удавилась. Дура-баба, известно! Онамеднись боярин-князюшка ее, хамку, к себе в угловую звал... а сегодня она удавилась. Известно, хамка.

— Что ж, Васька, — глухо спросил старик, — по-твоему, у хамки и души нет?

— Известно — пар! — презрительно ответил Васька.

— А ты сам-то — не хамово отродье?

— Я-то? — гордо закинув лысую голову, проговорил Васька. — Я-то не весь хам; почитай, и во мне боярская кровь течет, да еще какая: ромодановская-стародубская!

Ефрем невольно улыбнулся этому смешному самозванству; он часто слышал, что Васька считал себя побочным сыном боярина Ромодановского, но плохо верил этому, потому что уж очень безобразен был отпрыск Ромодановских.

— Ты не смотри, что у меня глаз кривой да плешь во всю Красную площадь,— обидчиво заметил Васька,— в молодости девки на меня во как заглядывались!.. Ну а как же ты-то? Не скажешь, какая кручина?

— Да что ты словно банный лист к мокрому месту пристал? Ну, князь Аришку в угловую зовет повечеру,— хриплым, надорванным шепотом закончил Ефрем.

Васька так и остался с открытым ртом и только моргал своим единым глазом.

— Арину Федосеевну... зовет? — наконец прошептал он.— Почему же ее? Или... любя?

— Давно зубы точит, да, вишь, мою старость жалел, ирод! — криво усмехнулся Ефрем.

— Провинился ты чем-либо?

— Провинился, провинился тем, что чуточку душу живую пожалел. Слушай, Васька! — вдруг освирепев, обратился старик к Кривому.— Заодно погибать! Хоть и ты и я пособники были его богомерзким деяниям, зато, видно, и наказует меня Бог, да не хочу я, чтобы, меня погубя, он безвинную душу сгубил... До сей поры, кроме него да меня, раба смрадного, никто не знал, что в подземелье у него томится княжна польская! Больше года, сердечная, томится! Очень, бедная, мучается. И вот за то, что я многое открыл ей, он казнит меня казнью лютою: Аринушку мою, голубку чистую, погубить хочет, злодей. Крепился лютый до сей поры заслуги моей ради... а теперь... теперь,— голос старика оборвался, и он рукавом от кафтана вытер свои слезы.

— Мало ему девок свободных по Москве гуляет? — злобно спросил Васька.

— Чистую, знать, захотел.

— Арина Федосеевна не пойдет на то волею.

— Силком поволокут; нешто спрашивать станут?

Старик поник головой, а Васька задумчиво устремил свой кривой глаз на оконце.

Зимние сумерки уже давно окутали землю; на улицах трудно было различать друг друга, и все торопились скорее скрыться в дома, где уже зажигали огни и было тепло.

В доме князя Пронского было темно, как в могиле. Домочадцы разбрелись по своим комнатам, кто спал после обеда и до ужина, кто тихо, вполголоса, беседовал с кем-нибудь, а кто сидел пригорюнившись...

Дворня, зная, что боярин ходит мрачнее тучи, приуныла, и уже не слышно было разудалых песен.

Младший ключник Егорка, рослый парень, искал Ефрема, но, узнав от его внучки Ариши, что тот у себя в светелке молится Богу, побоялся нарушить покой старика. Все в доме знали, что, когда дедушка Ефрем молится у себя в светелке, его нельзя тревожить и что верно приключилось в доме что-нибудь особенное, злое и жестокое.

— А знаешь, дед, что я придумал? — нарушил наконец молчание Васька, обращаясь к Ефрему.

— Что? — безучастно спросил Ефрем.

— Поезжай-ка ты к боярыне Хитрово. Знаешь, чай? Да скажи ей про все про это — про Арину Федосеевну и все прочее...

Ефрем усмехнулся:

— Думаешь, она его проделок не знает? Все знает и все покрывает.

— И про полячку знает?

— А кто ж их разберет? Должно быть, знает.

— Я так смекаю — не знает она. Потому, это — не девка-холопка, эта княжеского рода сама будет, значит, супротивница, а боярыня ревнива и себялюбива; гордости ее к холопкам не будет, а к княжне заговорит. И это князинька беспрерменно смекнул и про княжну польскую ни словечка не молвил.

— А ежели молвил?

— Ну, что ж? Двум смертям не бывать, одной не миновать. Если он молвил, не сносить тебе своей седой головы, а если нет...

— Все едино. Княжну, может, этим спасу, а Аринушку...

— Кто знает, може, этим случаем и Арину Федосеевну вызволишь.

— Ни в жисть! Когда еще боярыня Хитрово узнает да когда княжну увидит, а тем временем Аринушка моя сгинет, вовсе сгинет.

— А и что ж за беда? — равнодушно заметил Васька. — Полюбовницей боярина сделается: тебе хорошо будет, да и ей, да и всем хорошо жить.

— То-то Марье хорошо жилось.

— Так ведь та дура, не сумела его под свою власть взять. Это уж их, бабье, дело.

— Взяла его боярыня, скажешь?

— А что ж, он ее здорово боится!

— Потому и боится, что она — сила при царе, а то бы он показал ей, как над ним силу брать. Нет уж, где моей Арине властвовать: целой бы уйти, и то хорошо!

— А уйдет! — вдруг радостно крикнул Васька.

— Как это? — не понял Ефрем. — В бегуны пойти? Ой, жизнь-то в бегунах тяжкая...

— Зачем в бегуны? Мы честью! Да ты, дедушка, не сумлевайся... коли Васька Кривой сказал, что Арина Федосеевна рук боярских минует, так и сбудется!

Ефрем подозрительно оглянул княжеского шута. Не привык он слышать от него такие речи.

— Ты что, парень, больно добр стал? — спросил он его.

Васька вспыхнул до корней волос, но старик за темнотой не заметил этого и продолжал:

— Даром-то, знаю, ничего делать не будешь. А как ты сделаешь, что Аринка не будет княжьей полюбовницей?

— Как сделаю — мое дело, ты только помалкивай... Да вот еще: ступай к этой самой польской княжне и вели ей написать грамотку с жалобой, чтобы-де ее боярыня Хитрово вызволила...

— Что ты, что ты! — замахал руками Ефрем. — Ума решился? Чтобы боярин нас за такое дело по суставчикам разобрал?

— Боярыня — ума палата, придумает, как ему глаза отвести...

— Да что нам княжна? Своя шкура дороже, из-за нее вот в беду попал, прости Господи!..

— Из-за нее попал, из-за нее и спасешься. Иди знай! Что это ты освирепел вдруг? — спросил Васька.

Ефрем упал перед образом на колени и горячо стал молиться, прося Бога простить его злобное сердце, очерстневшее от гнева и горя.

— Слышь, Васька! — подымаясь с колен, начал старик. — Грешник я, страшный грешник... коли все поведать тебе, испугаешься ты меня!

— И, полно, дед! Бреешь ты с перепугу! — возразил Васька.

— Нет, Васька, нет, не брешу, — зашептал старик, и в темноте страшно блеснули его глаза. — Знать, Бог за грехи и наказывает... многое я попустил, многое сам, вот этими руками, сделал! Хочешь, скажу? Священнику на духу не сказывал, лик Господень боялся померкнет от мерзких моих слов... да теперь душу хочу отвести, авось полегчает, авось на доброе дело подвигнет...

— Лучше в другой раз! — слабо запротестовал Васька, чувствуя, как мурашки пробегают вдоль его спины.

— Нет, скажу сейчас, как на духу, пред Господним ликом святым! Может, и простит. Нет, не простит! — склонил уныло он свою седую голову на грудь.

— Милость Его велика, и простил Он разбойника, согрешившего много, но раскаявшегося! — проговорил Васька.

— Ты думаешь, и меня простит, если покаюсь? — встрепетнулся Ефрем. — Да я каюсь еженочно, лежа во прахе у ног Его!..

— Священнику покайся... в монастырь поди! — советовал Васька.

— В монастырь? — грустно усмехнулся Ефрем. — Разве я смею, пес смрадный, возле жилища Его святого постоянно жить? Я, как Каин, должен ходить и места себе не находить... Без спроса и в монастырь не могу...

— И что ж ты такого сделал, говори, что ли, скоро вечерять надо...

— Вечерять? Вечерять! — с ужасом засуетился старик.

— Да ты не бойся! — успокаивал его Васька. — Я так смекаю, что князинька сегодня рано не вернется... и не до Арины Федосеевны ему ноне. Ну а так как нам все равно делать нечего, а душа твоя мутится, то и поведай мне тяготу свою душевную.

— Дурной ты, Васька, человек! — с сожалением проговорил Ефрем. — Рода ты неизвестного, бают — в Сибири был; сноровка твоя вороватая; боярину наушничает, много зла дворне причиняешь...

— Эх, дедушка Ефрем! — проговорил Васька, и в его голосе слышались дрожащие ноты. — Зло я делаю от собственной своей боли. Укусят меня, а мне насмерть убить хочется... Подыметса во мне боль моя, и злоба во мне замутигса; иной раз тошно от злобы на свет глядеть... А кто виноват в злобе моей великой? Люди! Они злым меня сделали... Молод я был — состарили; пригож был — окривили, волос лишили, по миру людей тешить пустили... Семью имел — всего лишили и надо мной же потешаются, надо мной же издевки делают... Как же любить мне людей, добром им за зло платить? Вот ты сказал, за что я внучке твоей Арине Федосеевне службу заслужить хочу? А за то самое, что не падаль она во мне видела, не беглого из Сибири слушала, а душу во мне, проклятушем, почуяла ангельской своей душенькой... И утихла злоба моя, не веселюсь я чужой

беде более, а скорблю, скорблю... да вот помочь-то не всегда только могу...

— Виноват я, Васька, стало быть, пред тобой? — ласково говорил Ефрем.— Да и то сказать! Сам я, пес смрадный, могу ли кого-либо во грехах укорять? Ну, слушай же, Вася, исповедь мою и суди, насколько я грешен.

Ефрем был сыном дворового князей Пронских; еще будучи мальчиком, он был взят дедом Бориса Алексеевича в товарищи игр к молодому Алексею Петровичу, оставался при нем неотлучно до самой его кончины, а затем перешел к сыну ключником.

Молодцеватый, смысленый Ефрем скоро приобрел доверие и любовь своего молодого князя.

Пронские редко кого дарили своим доверием, а тем более любовью; но Ефрем сумел подладиться под тяжелый, мрачный характер Алексея Борисовича, который ни в чем не уступал всем прочим князьям Пронским. Он был силен, как лев, но ненасытен и жаден, как волк. Мстительность, непомерное честолюбие, лукавство и жестокость были отличительными чертами характера Пронских; у отца же князя Бориса, как и у сына, была еще одна неутомимая страсть — страсть к женщинам; впрочем, этот последний порок, при тогдашних нравах, легко удовлетворялся. Однако князья Пронские не любили того, что давалось легко; им нужно было брать все с бою.

И отцу князя Бориса, молодому товарищу Ефрема, захотелось взять с бою жену какого-то бедного посадского, когда ему минуло всего двадцать лет, и Ефрем должен был ему в этом помочь.

Ефрема принимали в маленьком уютном домике, далеко от Кремля, на грязной узенькой улочке, запросто и ласково. Он хорошо пел жалостные песни и играл на гуслях. Молоденькая жена посадского, толстененькая, быстроглазая женщина с белыми руками и в красной кике на гладких черных волосах с пробором посредине, угощала его подовыми пирогами и медом, весело смеялась его шуткам и ластилась к своему бедняку мужу, обремененному вечною заботой выплатить вовремя подати и остаться свободным гражданином.

В доме была бедность, но царила любовь; как вдруг однажды князю Алексею Пронскому, возвращавшемуся с соколиной охоты, вздумалось проехать дальней дорогой домой. Он про-

ехал узенькой улочкой, скользнул взглядом по низенькому домику и хотел уже поднять коня вскачь, как вдруг в палисадничке увидал своего стремянного Ефрема, перебиравшего гусли, а возле него — дебелую, быстроглазую бабу, румяную и сдобную, как подовый пирог. Она стояла подбоченясь и, заливаясь смехом, показывала свои белые зубы.

Кровь вдруг разом прилила к бледным щекам молодого князька. Он осадил коня и спрыгнул на землю, бросив поводья подскочившему к нему Ефрему.

— Угостишь ли, красавица, медком? Страсть пить охота! — обратился он к жене посадского и шагнул на крылечко.

Молодица насупилась, что гость незваный сам в избу входит, но, увидав, что это Ефремов барин, молча сходила на погреб и принесла меда.

Князь потрепал ее по щеке и окинул ее фигуру загоревшимся взором.

— Не замай! — отпрянула от него молодая женщина и скрылась в другую светелку.

Лицо юного князя дрогнуло, а у Ефрема захолонуло сердце; он знал мстительный характер боярина, не переносившего никаких препятствий. Но князь вдруг успокоился, загадочно усмехнулся и, проговорив сквозь зубы: «Добро же, попомнишь меня!» — сел на коня, велев Ефрему следовать за ним.

Не прошло и недели, как Ефрем выманил обманом жену посадского как бы для прогулки за Москву-реку, а там схватили ее люди молодого князя, зажали ей рот и уволокли в его дом. Не успела она ни крикнуть, ни словечка сказать, только посмотрела она на Ефрема, да так, что всю жизнь он этот взгляд забыть уже не мог. Ведь она ему верила, она знала, что молодецкое сердце Ефрема по ней давно кручинилось, и не думала, что, любя, можно так легко изменить, свою любушку да другому отдать...

После того Ефрем три дня без просыпа пил. Присылал за ним молодой князь, да не мог стремянный голову свою поднять; на четвертый день вышел приказ «живого или мертвого» доставить его пред ясные очи князя Алексея. Облила дворня Ефрема водой, искупала в пруду, и пошел он, пошатываясь, к боярину.

Встретил его князь тучи грозовой мрачнее, а Ефрем и сам невесел, тошно ему на сердце.

— Что ж это, Ефрем? — спрашивает его князь. — С бабой не справлюсь. Ты должен мне помочь, слышишь?..

— Уволь, князь!

— Что? — изумился боярин. — Отчего так? Мало, что ли, бабы сгибали в бараний рог? — И стал князь всячески поносить своего пособника да товарища и послал его к жене посадского, чтобы уговорить.

Как увидела быстроглазая своего предателя, накинулась на него, изругала и даже в лицо наплевала и к мужу отвести приказала.

Сознался ей Ефрем, что не его воля была. Смеяться стала она над его молодечеством; глаза у нее загорелись, волосы по плечам разметались, белая грудь высоко под кисейной рубахой вздымалась. Не стерпело ретивое сердце парня, схватил он ее в охапку да давай ее лицо румяное горячими поцелуями покрывать и слова ласковые в уши нашептывать.

— Князю не отдам красы такой, сам себе свою любу возьму!

А она как выхватит из-за пазухи нож да как замахнется.

— Не замай! — кричит. — Жизни себя лишу, а твоей или князевой не буду; мужняя я жена и честной останусь!

На ее крик князь прибежал; Ефрему уйти приказывает; тот артачится. Спор завязался промеж них, но долго Ефрем перечить боярину не смог; холопская кровь заговорила в нем, и, склонив голову, побрел он к двери; боярин его остановил и тихо велел нож у посадской жены отнять.

Ефрем послушно пошел к ней и за руку было взял, да она, видно, поняла, что ее чести конец настал, да как размахнется ножом... и всадила его себе в грудь по самую рукоятку; тут же на пол, словно подрезанный колос, свалилась.

— Убийцы! — успела только прошептать она. — Ефрем... любила тебя!

Угасшим взором глянула она в последний раз на оцепеневшего стремянного и вскоре скончалась.

— Так вот как! — хрипло прошептал боярин. — Ты был моим супротивником! — И он устремил на своего молодого холопа ужасный взгляд.

Опять испугался Ефрем и повалился боярину в ноги, каясь и говоря, что умершая со злобы наклепала на него.

Задумался князь; злая усмешка скривила его губы, и, повернув к Ефрему свое бледное лицо, он проговорил:

— Ну, будь по-твоему: поверю твоим словам; только ты поклянись над ее телом, что всю правду сказал. Не поклянешься — значит, полюбовником ее был, и смерть тебя лютая ждет.

Затрепетал Ефрем; он пуще всего ложных клятв боялся.

— Князь, — пытался было он умолить боярина.

— Ну, что? Клянешься? — усмехнулся князь. — Или позвать людей для казни супротивника моего?

Знал Ефрем всю лютость, всю беспощадность оскорбленного самолюбия князя; уж если он велел ему дать клятву, то потому, что надеялся, что эта пытка души будет еще тяжелее временной телесной пытки.

— Ну, что ж? — нетерпеливо топнул ногой молодой Пронский и толкнул распростертого перед ним Ефрема.

«Потом покаюсь, в монастырь пойду!» — подумал стремянный и произнес вслух требуемую от него клятву над не остывшим еще трупом любимой и любившей его женщины и перед образом Спасителя.

— Говори! — приказал Пронский, когда слова клятвы были уже произнесены Ефремом. — Что без позволения, мол, бояр Пронских я, холоп Ефрем, ни в монастырь идти, ни священнику на духу каяться не волен... Ну, говори, что ли! — замахнулся на него боярин ножом, вынутым им из груди убитой. — Или убью тебя, как собаку, без покаяния!

Его лицо было до того страшно, что потерявший от испуга сознание Ефрем едва слышно повторял эти роковые слова:

— И что я буду вечно проклят, коли солгал. И еще буду проклят, коли в бегуны уйду... Буду вечно проклят, коли солгал, и еще буду проклят, коли в бегуны уйду, — повторил Ефрем.

— А теперь ступай! — приказал князь и направился к двери.

— Как же... как же тело-то? Похоронить бы... по христианскому обычаю, — робко заикнулся Ефрем.

— Собаке — собачья смерть! — коротко сказал молодой безбожник. — Не смей трогать!.. Велю людям в реку бросить!

— И вот с той самой поры погибла душа моя! — закончил свой рассказ старый ключник. — Продал я душу свою дьяволу. Алексей Борисович и до самой своей смерти не мог забыть и простить, что его соперником был холоп, и сыну заповедал моей душе покоя не давать... Женил меня, жену отнял силком, сына в ратные люди сдал, а невестка вскоре девочку Аринку родила и померла... Теперь и ее князь Пронский, исконный враг

мой, отнять хочет... И за что? За что? Как ни томила, ни мучилась душа моя, а я все же служил князьям верой и правдой; много на моих глазах людей они изувечили, много душ загубили, а я слово сказать не посмел, клятву свою боялся нарушить.

— А ты бы, дедушка, все-таки сбежал! — посоветовал Васька.

— Куда бежать-то? Нешто от клятвы убежишь? Разве есть такое место на земле, где отрешат тебя от нее?

— А монастырь?

— Так я ж поклялся, что без воли боярской не могу отлучиться ни в монастырь, ни к священнику, а бояре меня не пускают; вот теперь — безмолвный раб их! Куда я пойду с таким грехом на своей подлой душе?

— В пустынь пошел бы, по святым местам, что ли. Оно и не монастырь, а душеспасительное и как бы без нарушения клятвы.

— Эх, Васька, Васька! Думал иной раз — убегу в пустынь, молчальником сделаюсь, да вдруг точно живая встанет предо мной загубленная посадская жена и таково печально говорит мне: «Казнись, Ефрем, кайся!.. Тяжко мне на дне реки лежать без погребения христианского».

— Значит, князь утопил тело ее?

— Утопил! Дворня сказывала, велел головой к лошадиному хвосту привязать и так к реке волочить тело белое. И поволокли, сердешную. А потом привязали камень да в воду. Я по ночам часто хаживал на то место, где ее кинули, искал, искал, погребсти хотел, да где уж!.. Должно быть, на дне лежит или течением тело унесло... Лют был князь Алексей, и сыночек не уступает ему в лютости... А что, чай, время ему от Черкасского вернуться? — с тревогой спросил Ефрем.

— Должно, поздно. Да ему у Черкасского долго сидеть придется... два сапога пара, чай, судачат, как наказать врага, ранившего князя.

— Пронеси, Господи, беду! — перекрестился Ефрем. — Может, за Черкасского делом и Аришку забудет, а мы тем временем что-либо и оборудуем.

— Да ты писульку от княжны польской добудь, а я уж передам боярыне Хитрово, как ни на есть. А теперь пора расходиться, чай, все в доме повечеряли? Князь не велел его дожидаться.

— Схожу Аринушку проведать.

— Сходи.

Ефрем и Васька вышли из каморочки и разошлись в разные стороны.



ХІІІ

ХОДАТАЙ ЗА КНЯЖНУ

Покои боярыни Хитрово были рядом с покоем царевен, и хотя дворцы царевен были построены не новейшими заезжими итальянцами да немцами, а все еще в древнерусском стиле, со множеством теремочков, башенок, лесенок и окошечек, тем не менее предоставляли довольно уюта и простора.

Покои же боярыни отличались особым убранством, указывавшим и на то, что боярыня была далеко не противницею новшеств. На дубовых стенах висели картины иноземных художников на сюжеты из греческой мифологии, а также на эпизоды из рыцарской жизни. В одном из оконных простенков висели часы с башенным боем. На столе лежал музыкальный инструмент — маленькая арфа, на которой боярыню обучал живший в Москве итальянец. Но арфа вся покрылась пылью, что свидетельствовало о полном невнимании к ней в последнее время ее хозяйки. Зато новенькая джианури — грузинская скрипка с красной широкой лентой на ручке — лежала на скамейке и точно заявляла своим нарядным видом, что ею занимаются, что она — любимая фаворитка боярыни. И правда, боярыня часто брала джианури в руки и, точно лаская ее, неумелыми пальцами перебирала струны, потом бережно клала ее на место и, задумавшись, подолгу смотрела на скрипку. Боярыня училась играть на этом инструменте, и учить ее взялся князь Леон Джавахов.

Вскоре после праздников, в послеобеденное время, боярыня сидела у себя в комнате в голубом парчовом летнике и без кики на голове; ее волосы были выложены короной на темени, что еще больше красило ее лицо. Она сидела у окна с задумчивой улыбкой на устах, устремив свои голубые глаза на пасмурное, хмурое небо. На улице завывала вьюга и крепчал крещенский мороз, а в комнате было тепло, уютно, приветно.

— Должно, не придет уж! — вздохнула боярыня, вглядываясь сквозь стекло в темневшую улицу.

Но вдруг дверь скрипнула, и боярыня, встрепенувшись от неожиданности, оглянулась. Однако вместо ожидаемого гостя в комнату вошла нянюшка боярыни, сморщенная старушка, полуглухая и полуслепая.

— Что тебе, нянюшка? — удивилась боярыня и пошла навстречу старушке, которая редко беспокоила свою ненаглядную красавицу посещениями. — Из-за чего пришла?

— Ась? — подставила старушка ухо к самым губам боярыни, но, видно сообразив, о чем та ее спросила, сказала:— По делу, красавица моя, по делу.

— Какие у тебя дела, нянюшка? — улыбнулась боярыня.

Старушка, или не расслышав, или не желая отвечать, молча порылась в своем необъятном кармане, вытащила оттуда смятую бумажку и подала ее боярыне.

Та, не переставая улыбаться, развернула бумажку и стала читать написанные неразборчивым почерком то польские, то русские слова вперемежку. Прочитав раз, прочитав два, она наконец уяснила себе все: по-польски она выучилась давно и теперь должна была вникнуть только в смысл записки.

— Нянюшка, откуда у тебя это? — спросила она старуху.

— Откуда у меня это, тебе не след знать, — ответила старушка, трясая головой, — твое дело — помочь обиженной!

— Нянюшка, да я не знаю, кто она, о ком здесь писано! — сказала боярыня на самое ухо старушке.

— Про то я тебе поведаю, коли слово дашь не выдавать ни ее, ни меня, а то ирод-то твой дознается и погубит нас всех. Я-то хоть и стара, а все-таки своей смертью помереть мне охота.

— Да о ком ты, нянюшка? — перебила ее боярыня.

— А не выдашь?

— Не выдам.

— Клянись на образ Николая Чудотворца! — потребовала недоверчивая старуха.

Боярыня исполнила ее просьбу и поклялась на образ Николая Чудотворца.

— Так-то крепче! — одобрительно кивнула головой нянюшка. — А то станет ластиться, речи льстивые говорить, а сердце-то женское жалостливое, все и выболтает...

— Да говори, няня, кто обиженная эта?

— Обиженная эта пленница? — тянула старуха. — Да польская княжна...

— Да как звать-то ее?

— А звать ее? Постой, запомновала я что-то. Хорошо, что добрые люди мне записали. — Она полезла в карман, долго в нем рылась и вытащила бумажку. — На, читай!

— Княжна... Ванда Ключинская! — прочитала боярыня.

— Что, не слыхивала о такой? — спросила старуха.

— Не-ет! — нетвердо произнесла Елена Дмитриевна.

Однако ей казалось, что это имя она уже слыхала где-то; но оно лишь неясно звучало в ее ушах и какой-то болью отозвалось в ее сердце.

— А злодея, заточившего сердешную, не знаешь? — раздался над ее ухом шепот старой няни. — Нет? А ведь ты его ласкала, миловала, суженым звала!..

— Няня! Да это не может быть, поклеп это, — неуверенно возразила боярыня.

Старая нянька рассердилась и застучала по полу костылем.

— Я, я клеплю на ирода твоего? — закричала она на свою воспитанницу. — Да провалиться мне на сем месте, коли лжет язык мой...

— Да не ты, нянюшка, не ты! — старалась успокоить ее боярыня. — Тебе нагали; знают, что ты его не любишь...

— Не люблю, — твердо возразила старуха, — да и любить-то его не за что. Злодей ведь он! Весь род их злодейский. И за что ты его избрала — не пойму, хоть убей.

— Не понять тебе, нянюшка, поистине не понять меня. Силу я люблю, могущество, богатство, а до сей поры не встречала я человека могучее князя Бориса... Разве вот...

Боярыня смолкла и отвела от пытливого взора няньки свое вспыхнувшее лицо.

— Ну, ну, договаривай, договаривай... Кому поведаешь горе свое и радость, как не старой няньке? Не выдам, не бойся, тайну твою...

— Ах, няня! — обняла ее Елена Дмитриевна. — Я не знаю, что со мною! Томится сердце мое! То сладко защежит, то заноет, как от лихой боли... ночи стала не спать, голова в огне, ноги — как лед, и тяжело-тяжело грудь давит! Няня, боязно мне что-то!

— Иль новая зазнобушка? — прошептала нянька, глядя своей костлявой рукой шелковистые волосы боярыни.

Та в ответ только крепче прижалась к старухе.

— Полно, полно! Разве впервые с тобой это приключается? Горячая ты у меня, вся в бабушку; вспыхнешь полымем, да скоро и остынешь; недолго тебя лихоманка-то любовная треплет! — рассмеялась старуха.

— Ох, няня, не то теперь, совсем не то.

— А что же такое? Ну, рассказывай, коли так.

Елена Дмитриевна подняла голову, встала и, заложив за спину руки, прошлась по комнате.

— Сказать — и впрямь легче, может, станет? — остановилась она перед старухой. — Люб мне, нянюшка, один молодец...

— Знаю, что молодец, — смеясь, махнула нянька костылем. — Ой, проказница, известно, не красную девицу полюбила. А кто же этот молодец, Аленушка?

Боярыня молчала.

— Аленушка, а Аленушка? Не хочешь сказывать — не надо! — обидчиво произнесла нянюшка и засуетилась, чтобы идти.

— Полно, няня, не серчай, не сокрыть от тебя хотела я свою тоску; все поведала тебе, а имя... на что тебе имя?

— Нешто опять разбойника какого полюбила?

— Нет! — весело тряхнула головой боярыня. — Не разбойник он! Краше его нет в целом свете, а сила-то его, сила...

— Поди ты! Нешто в силе человеческой добро? Поистине хороший человек и без силы твоей бывает.

— Ах, няня, не понять тебе меня, никогда не понять.

— Где уж мне? Из ума, видно, старая выжила. А ты мне вот что скажи: Пронский-то твой, чай, тоже силен, по-твоему, на богомерзкие дела?..

— Сила его, няня, на худое пошла.

— Ну, вот то-то же! — весьма довольная, проговорила нянюшка и стала подыматься. — Мне пора. Так как же, детушка? Вызволишь ты мне княжну-то от злодея твоего Пронского?

— Вызволю, няня, скоро вызволю! — ответила боярыня, и странная улыбка мелькнула на ее полных губах. — И силу его испробую!

— Так прощай же, дитятко!

Елена Дмитриевна поцеловала своими свежими алыми губами морщинистые щеки старушки.

— И добра же ты, дитятко, ангел суший! — проговорила тронутая старуха. — Знаешь, что пятая заповедь-то говорит? А ведь старая нянька — все одно что родитель, и за почтение к старшим вознаградит тебя Бог. Ну а коли что по этому делу с княжной занадобится, пришли за мною. Хоть и плохо ноги ходят, а вмиг предьявлюсь... Ты поразмысли-ка на досуге, как делу лучше пособить.

Долго еще говорила нянька, медленно подвигаясь к дверям; боярыня молча слушала ее с улыбкой на устах, бережно ведя под руку.

— Не проводить ли тебя кому, няня? — предложила боярыня.

— И-и, что ты, мать моя! Разве я одна! В сенцах Марфушка ждет; она привела, она и уведет. Прощай, красавица. Господь с тобою! — И, осенив свою любимую питомичу крестом, старушка вышла из покоев Хитрово.

Боярыня вернулась к столу, на котором горел ночник, и еще раз внимательно прочитала записку. Потом она посмотрела на часы и прошептала, подавив легкий вздох:

— Скоро ужинать... Так поздно не придет!

Она подошла к зеркальцу, висевшему в спальенке, пригладила волосы и стала прилаживать кикку.

В это время вошла сенная девушка царевен и неслышно стала в дверях, ожидая, когда боярыня оглянется. Боярыня скоро оглянулась, отыскивая свой шугай.

— Ты что, Евфросиньюшка? — спросила она.

— Царевны за твоей милостью шлют, соскучились; рассказывают, чего не идешь целый день,— бойко ответила девушка.

— Вот собралась их проведать... У них никого нет? — стараясь говорить равнодушно, спросила Хитрово.

— Как не быть,— ответила Евфросинья, лукаво опуская глаза.— Царь-батюшка и царица-матушка спроведать пришли царевен.

— А! — произнесла боярыня и вынула из поставца жемчужное ожерелье и серьги с подвесками.— Поди позови мне девок! — приказала она Евфросинье.— Да скажи царевнам, что, мол, идет боярыня.

Евфросинья поклонилась боярыне в пояс и скрылась.

Через минуту перед Еленой Дмитриевной, робко потупив взоры, предстали ее сенные девушки.

— Что прикажешь, боярыня? — чуть слышно шепнула одна.

Елена Дмитриевна сдвинула свои соболиные брови.

— Иль не знаете? Сарафан парчовый и шугай с камнями бирюзовыми! — крикнула она.

Девушки затрепетали и кинулись к большому шкафу, стоявшему в соседней комнате. Боярыня тем временем перчесала голову и, потребовав новую кикку, кокетливо стала прилаживать ее к волосам.

Явились девушки с сарафаном из голубой, отделанной серебром парчи, с белоснежной кисейной рубашкой и бархатным малиновым шугаем с бирюзовыми пуговицами; поставив сарафан на пол, они стали обувать боярыню в бархатные, отороченные соболем сапожки, потом одели в рубашку, взбили рукава так, что они, словно пузыри, вздулись на ее руках, и, наконец,

облекли ее стройный стан в тяжелый сарафан, лубком коробившийся на плечах, на которые накинули шугай с золотыми позументами и драгоценными пуговицами. Шею боярыни сплошь унизали жемчугом и в уши вдели жемчужные подвески; руки украсили золотыми запястьями, между которыми были и дорогие венецейские изделия.

Одевшись и едва имея возможность шевелиться в этом тяжелом наряде, боярыня, оглянув себя в последний раз в венецейское зеркало, медленно поплыла из своих покоев к царевнам, приказав девушкам:

— На ночь приготовить яблочного настоя и огуречного рассола!

Яблочный настой она пила на ночь, а огуречным рассолом притиралась. И то и другое способствовали будто бы белизне лица.

Девушки безмолвно, как истуканы, стояли, вытянув вдоль бедер руки. Боярыня наконец удалилась.

XIV СВАТ

В доме князя Григория Сенкулеевича Черкасского шла необычайная суeta. Чистили, мыли, словно обитатели сейчас только заметили пыль и грязь, выросшие по стенам неуютных покоев старинного деревянного княжеского дома.

Князья Черкасские принадлежали к одному из шестнадцати знатнейших родов, члены которых поступали прямо в бояре, минуя чин окольничего, и славились особенным богатством до 1665 года, когда моровая язва, свирепствовавшая в Москве, унесла у одного только из Черкасских, Якова Куденетовича, четыреста восемьдесят душ. После этого род князей Черкасских пришел в некоторый материальный упадок. В последние годы между Черкасскими выделился князь Яков Куденетович; он участвовал в польском походе; в 1655 году 29 июля, под Вильной, разбил обоз гетманов Радзивилла и Гонсевского. В 1632 году, еще покойным царем Михаилом Федоровичем, за особые заслуги Якову Куденетовичу было пожаловано село Богородицкое, поместье Кузьмы Минина-Сухорукого, а в 1633 году дом Минина в Нижнем был тоже пожалован в род Черкасских.

Рана, нанесенная незнакомцем, долго беспокоила Григория Сенкулеевича, но наконец поддавалась лечению дворцового лекаря Стефана Симона, а через месяц после происшествия он уже свободно двигал шеей, ел по-прежнему за троих и пил за шестерых.

В первый же день, как только лекарь разрешил ему встать, домоправительница князя, Матрена Архиповна, не первой молодости и необычайной силы женщина с мужским голосом и усами над толстыми губами и огромным ртом, распорядилась произвести в доме чистку, на радостях, что хозяин вызволился из лютой беды.

Был час пополудни, и в большом невзрачном столовом покое за столом в первый раз восседал князь Григорий Сенкулеевич. Его лицо с быстро бегавшими глазками, с землистым цветом кожи, одутловатыми щеками стало еще безобразнее после болезни. Он с жадностью запихивал в рот куски жареного бараньего сала и запивал это жирное кушанье душистым рейнским вином.

Возле стола, оскалив свои гнилые зубы, стояла Матрена Архиповна. Огромного роста, широкоплечая, уродливая, она как раз была под стать своему хозяину, которого обожала всем своим мужественным, грубым сердцем.

— Ешь, родной, ешь! — говорила она, одобрительно качая повязанной цветным платком головой. — Отощал небось? Лекарь-то есть не давал, собачий сын!

— Гм! — промычал князь. — Кабы не он, сдох бы я, аки пес.

— Ну да, еще бы! — недовольно проворчала домоправительница. — Лекарь! А я разве мало за тобою ухаживала? Мало лампадок Иверской Божией Матери ставила? Мало я ночей возле тебя недосыпала? Лекарь!..

— Известно, он, — флегматично возразил князь. — Кто мне рану-то прижег: ты али он?

— Может, прижиганье это после отзовется. Чернокнижник твой лекарь, вот что.

— Вздор мелешь! — остановил женщину князь. — Не волшебством меня Симон излечил.

Матрена Архиповна поджала губы и помолчала, затем, не вытерпев, спросила:

— А узнал князь Борис Алексеевич врага-то твоего?

— Говорит, не узнал. Да и как узнать?

— Ты, чай, говорил, каков он обликом?

— Да я сам дюже запамятовал. Будто черный, иноземец какой или что. Рожа у него чернявая.

— А я, хочешь, узнаю? — подбоченясь, с торжеством спросила Матрена.

— Ой ли? — оживился боярин и даже оставил кулебяку. — Врешь ты все, откуда тебе узнать-то?

— А вот те крест, узнаю! — перекрестилась домоправительница, глянув на дорогой образ, висевший в углу.

— Как же ты узнаешь? — полюбопытствовал князь.

— К ворожее Марфушке пойду, — нетвердо ответила домоправительница и пытливо посмотрела на князя.

Лицо Григория Сенкулеевича потемнело и даже перекошилось при этих словах.

— С нами крестная сила! — набожно проговорил он. — Да в уме ли ты, Матрена?

— Ты меня, боярин, не замай! Мое дело, я и в ответе. А неужто же твоему врагу без казни по белу свету бродить?

При напоминании о дерзком чужеземце, ранившем князя, глаза последнего сверкнули бешенством.

— Сам найду, дай срок! — глухо возразил он.

— Сам-то сам, а пока что я все-таки к Марфушке схожу.

— Как знаешь, только моя хата с краю, ничего не знаю.

— Само собой!.. Нешто я не ведаю?

Что-то вроде ласки мелькнуло в маленьких глазах князя, когда он взглянул на свою верную домоправительницу. Она поймала этот взгляд, и широкая улыбка расплзлась по некрасивому лицу.

— В огонь и в воду за тебя, мой кормилец, пойду! — проговорила она, со странной нежностью целуя его в плечо.

Матрена Архиповна в молодости была приятна на взгляд, свежа, здорова, а главное — молода, так молода, что, оставшись вдовой двадцати пяти лет, страдала от избытка этой молодости и сил. Роста она была большого и силой с юных лет обладала неженской.

Князь Григорий Сенкулеевич тоже смолоду был и силен, и роста могучего, и нрава крутого, лютого; Матрена Архиповна не боярыней была, а вдовой купца именитого и богатого, и жениться на ней князь не женился, но она прожила у него в доме двадцать лет, словно жена, в церкви венчанная, и любила его, как только могла любить ее суровая натура.

Часто князь изменял своей подруге; в дом и пленниц вводил, и цыганок приваживал, но на все смотрела Матрена Архипов-

на сквозь пальцы, называя увлечения князя забавой и не боясь, что кто-нибудь займет ее место в доме. Она потакала всем прихотям князя; часто своим изворотливым умом выручала его из беды и укрывала его преступления, которыми была богата необузданная жизнь Черкасского.

— А, чай, царь-то по головке не погладит, коль узнает, что ты его указ нарушил. В бой вступил, да еще в праздник! — сказала Матрена.

— Как ему узнать-то? — утирая бороду, спросил боярин. — Доселе не узнал, значит, и не узнает.

— То-то и есть! Стало быть, ворога-то твоего надо своим судом... чтобы никто не узнал?

— Вестимо.

— Не следовало и Пронскому князю говорить о нем.

При имени Пронского князь исподлобья глянул на свою сожительницу, зная, что она не любит Бориса Алексеевича.

— Не сказать нельзя было. Если бы я в беду попал, он все-таки вызволил бы.

— Разве что!

— Вот ждал его к обеду, да что-то не идет, — проговорил боярин, подымаясь из-за стола и с наслаждением потирая свой вздутый живот. — Сыт! Бог наплат — никто не видал, а кто и видел, тот не обидел!

— Кто тебя, сокола, обидит! Кваску холодненького не изопьешь ли? — заботливо спросила домоправительница.

— Не вредно бы! — ответил боярин, разваливаясь на лавке.

— Сама схожу и принесу! — И Матрена вышла из столовой.

Боярин проводил ее долгим взглядом и прошептал:

— Ишь, как заботится, словно голубка вокруг голубя. Гм! Голубь! — он ухмыльнулся. — А того не знает, что я ей готовлю! Чай, осерчает?

Вернулась Матрена с круглым деревянным подносом, на котором стоял кувшин с квасом. Григорий Сенкулеевич припал толстыми губами прямо к кувшину.

— Смотри, князинька, не вредно ли? — осведомилась Матрена, но князь только промычал что-то в ответ.

Напившись до отвала, едва переводя дух, он отвел кувшин с квасом и повалился на лавку.

— Теперь соснешь маленечко?

— Гм! — промычал князь и тут же заснул.

Матрена Архиповна села возле него и стала оберегать сон своего повелителя. Раза два она грозно махнула вошедшему

было убрать со стола служке и послала сказать, чтобы в доме все было тихо: боярин, мол, почивает после трапезы.

Но почивать князю удалось недолго. За окнами слышались звон колокольчиков и фыркание коней.

Матрена Архиповна тихонько поднялась с лавки и на цыпочках пошла вон. В дверях она столкнулась с бежавшим к ней мальчиком.

— Ты куда, постреленок? — шепотом спросила она.

— Князь Борис Алексеевич пожаловали! Сейчас будут здесь, велели предупредить! — шепотом ответил казачок.

— Поди скажи, князь почивает... ужо князя Бориса примет. Ну чего, оголтелый, уставился?

— Боярин осерчают! — нерешительно возразил мальчик.

— На меня осерчает — не на тебя! Я в ответе буду!

Мальчик убежал, а Матрена вернулась на лавку и стала с любовью смотреть на спящего, прислушиваясь, не уехала ли тройка Пронского; но слабое позвякивание колокольчиков, доносившееся с улицы, свидетельствовало, что князь еще здесь.

— Кто это говорит князю Пронскому: «Приди ужо!»? — раздался властный голос князя Бориса, и, распахнув двери, он вошел в комнату. — Это ты такой издал приказ, Григорий Сенкулеевич? — подбоченясь, грозно спросил он Черкасского.

А тот спросонок не мог понять, в чем дело, и, немилосердно зевая, протирает глаза.

— Князю Пронскому сказать: «ужо»! Да ты в уме, князь? Сам меня звал, да потом вдруг: «ужо»? Нет, князь, за такую обиду дешево не расплачиваются. И не чаял я, не гадал, что вместо родни врагами станем...

— Стой, стой, князь! Ничего в толк не возьму, что гуторишь такое? — приходя в себя, спросил Черкасский. — Скажи толком, на что осерчал?

— Прислал ты сказать мальчонку, что, мол, «князь ужо тебя позовет, а теперь почивает, ступай, дескать, подобру-поздорову». Как же так, князь? Или раздумал? Так лучше честью прямо скажи, а то негоже так по-басурмански...

— Ничего я не раздумал, ничего приказывать не велел. Спал я, тебя дожидаячи, это верно.

— Стало быть, мальчонка наврал! — засверкал Пронский глазами. — Ну и быть же ему драным. — Он хотел кликнуть казачка, но Матрена, выступив вперед, остановила его:

— Постой, князь, мальчонка не виноват. Я приказ этот послала.

— Ты? Так, стало быть, холопка приказы у тебя здесь дает? — злобно усмехнувшись, спросил Пронский.

Матрена гордо выпрямилась и с той же злобой ответила:

— Не холопка я, и тебе, княже, это ведомо! Приказ послала я потому, что князь тяжело болен был, силами еще не подобрался... Соснул он маленько, а тут его будят; ну, я и раздумала: дела-то ваши не ахти какие, время терпит, а ты не обессудишь... Вот только норов твой забыла...

Она некоторое время стояла задумавшись, потом повязала голову теплым платком, надела валенки и шубку и тихонько вышла из дома.

XV

МОЛОДАЯ НЕВЕСТА

Князя тем временем подъехали к дому Пронского и остановились у открытых ворот, где им навстречу тотчас же высыпала дворня и стала бережно высаживать их.

Это был тот самый дом, что привлек внимание князя Леона Джавахова в день его столкновения с боярином Черкасским; но теперь ставни были открыты и запоры повсюду сняты.

— Зачем меня сюда привез? — с удивлением спросил Черкасский, подымаясь на крыльцо и оглядывая странный дом.

— А куда ж еще? — усмехнувшись, ответил Пронский.

— Ведь это дом боярина Семена Стрешнева?

— Его. Так что ж из того?

— Сослан он в Вологду за волшебство, — вздрогнув, ответил Черкасский и опять робко оглянулся.

— Так что ж из того? — повторил Пронский с насмешливой улыбкой. — Не бойся! Теперь волшебство отсюда изгнали! Этот дом я купил у родичей опального...

— Небось духи здесь водятся? — шепнул Черкасский.

— Злых здесь тьма! — с насмешкой во взоре, но серьезно ответил Пронский.

— С нами крестная сила, место наше свято, чур меня, чур! — заметался суеверный князь-великан. — Да зачем же ты меня сюда-то привез? Прощай, князь! — сердито кивнул он головой и повернулся уже, чтобы идти обратно.

— погоди, князь Григорий, не петушись. Попытка — не пытка. Теперь час еще ранний, не бесовский, бесы еще почива-

ют... Ты выкушай спервоначала чарку браги, на красу девичью полюбуйся, а потом и с Богом, никто тебя не удержит.

— Зачем их сюда поселил? — нерешительно оглядываясь, проговорил Черкасский.

— Так надо, — твердо ответил Пронский и повел гостя в комнаты.

Дом был очень старый, деревянный, с узенькими лесенками, башнею и даже слюдовыми окнами. Убранство дома соответствовало его наружному виду: деревянные, от времени почерневшие полы, бревенчатые потолки и стены, вдоль которых тянулись широкие скамьи и такие же столы. Все украшение комнат составляли множество образов в дорогих ризах да кованые сундуки, крытые коврами и полные всевозможных богатств.

Наши предки не любили зря показывать свои сокровища, редко вытаскивали из сундуков куски полотна, бархата и индийской кисеи, которую очень любили за ее тонкость и нежность наши прабабки. Парча, жемчуг, излюбленное украшение древних русских женщин, яхонты и изумруды покоились иногда веками на дне какого-нибудь железом окованного сундука под мудреным заморским ключом.

Да и кому было показывать наряды, драгоценные украшения и даже женскую красоту? Целые дни, месяцы, годы однообразная, душу надрывающая жизнь без цели, без интересов, стремлений и даже без мыслей. О чем было мыслить древнерусской женщине, ничего не видевшей, ничего не знавшей, кроме своего терема с его низменными внутренними треволнениями и вечными, беспросветными буднями?

У мужчин было дело: война, оберегание своих владений, их расширение, достижение власти и политические волнения, государственные дела и даже семейные, потому что и этим мужчины больше занимались, чем женщины. Женщина не имела власти ни выдать дочь замуж, ни женить сына; всем распоряжался отец, брат или дядя.

Да и какой могла быть семьянинкой древняя русская женщина, заключенная в терем, все равно что заточенная в тюрьму? Не могла же она научиться в этом затворничестве ни свободно мыслить, ни свободно чувствовать, ни развивать свои душевные силы. Не зная сама ничего, она решительно ничего не могла передать своему ребенку. И дети чувствовали духовную несостоятельность своих матерей, но любили их все-таки нежнее, чем отцов, которых смертельно боялись и по-своему уважали.

К концу шестнадцатого века в терем медленно стал проникать луч света. Русская женщина начала учиться грамоте, хотя пока еще церковной, стала интересоваться тем, что делалось вокруг нее, пробовала делать робкие попытки скинуть тяжелые оковы, веками лежавшие на ее свободе.

Появились наконец такие женщины, как, например, боярыня Хитрово, царевны, жена боярина Матвеева и еще несколько знатных боярынь, которые скинули со своих лиц покрывала и уже открыто появлялись в обществе рядом со своими мужьями, вмешивались в политические дела и стойко отстаивали свои права быть не только женами, но и сотрудницами своих мужей. Конечно, таких пионеров было еще очень мало, потому что истинно развитых мужей вроде Матвеева, Ордина-Нащокина, Ртищева и Морозова было еще меньше и потому еще, что людям вроде Пронского и Черкасского было вовсе не на руку духовное освобождение женщины; им гораздо более улыбалось, чтобы раба никогда не смела поднять свою голову, возвысить свой голос и чтобы с нею можно было поступать так, как поступал Пронский со своими женой и дочерью.

Войдя в дом, Пронский приказал слуге, стоявшему навзтяжку у притолоки двери:

— Поди скажи боярыне, что, мол, князь Григорий Сенкулевич челом бьет. Да чтобы скорей, не заставляла гостя имени того долго дожидать себя!

Слуга исчез, а Пронский стал прохаживаться по комнате. Черкасский снял шапку и шубу и сел под образа.

— Уф! — отдувался он. — Плотно пообедал, оно и тяжело.

— Сейчас Ольга придет с чаркою вина, — ответил Пронский, нетерпеливо поглядывая на дверь.

— Ольга — хорошее имя, первое на Руси христианское имя! — проговорил Черкасский.

Пронский ничего не ответил, но его лицо бледнело от злости, что жена долго не шла.

Он только что хотел послать к ней еще одного слугу, как вдруг дверь, ведущая в ее покои, тихо растворилась, и женщина в темном, почти монашеском платье, с подносом в руках, опустив глаза, вошла в горницу; шагнув прямо к Черкасскому, все не подымая глаз, она низко поклонилась, потом выпрямилась и остановилась словно вкопанная, не промолвив ни слова.

Двери за ней остались полуоткрытыми; за ними виднелась такая же комната, в которой никого теперь не было.

— А Ольга? — грозным шепотом спросил Пронский.

Жена затрепетала, и поднос заколебался в ее руках.

Пронский с бешенством вырвал у нее поднос и, отдавая его слуге, приказал:

— Княжне отдать, чтобы сейчас же сюда шла!

— Князь Борис Алексеевич! — надорванным голосом начала было просить княгиня, но Пронский, закипая гневом, только взглянул на нее — и она тотчас же робко умолкла.

Слуга поспешно вышел с подносом.

— Ольга не одета... как тому подобает! — прошептала княгиня и взглянула в первый раз на мужа.

Пронский не успел ответить, как уже вернулся смущенный слуга и сказал, что княжна не выйдет, потому что не одета.

Князь Борис закусил губы, кинул злобный взгляд на жену и вихрем умчался из комнаты.

— Князь... батюшка! — обратилась Пронская к Черкасскому. — Откажись ты, ради Господа, от Олюшки!.. — И она с мольбой протянула к нему руки.

Князь Григорий попыхтел и ответил по малом размышлении:

— Люба дочь мне твоя, княгинюшка, силушки-то и нет отказать...

Он замолчал, словно поперхнулся, встретив печальный, полный укоризны взгляд Пронской.

— Как же любя, коли ты ее ни разу не видывал? — спросила она его.

Черкасский отвел от нее смущенный взор.

Княгиня Анастасия Петровна была из рода Репниных; богатой сиротой выдали ее родственники, не спросясь, за двадцатидвухлетнего Пронского, именитого, но небогатого княжеского сына, известного уже по всей Москве своими зловерными похождениями и необузданными кутежами. Князь женился на сироте только из-за богатства и сразу же стал обхаживать ее, чтобы она передала ему в полную собственность все свои поместья, вотчины и деньги. Молодая женщина, доверчивая, любящая всем своим юным сердцем, привязалась к своему красавцу мужу и, конечно, охотно отдала ему все. Ему только и нужно было этого. Едва родилась дочь, он окончательно покинул ее. Однако, прежде чем расстаться, он ежедневно терзал ее — сперва нравственно, а когда она решительно отказалась идти в монастырь, то и телесно.

В какие-нибудь пятнадцать лет супружеской жизни когда-то цветущая, здоровая девушка превратилась чуть не в старуху. Ее густые черные волосы, вырванные мужем клочьями, поседе-ли и едва прикрывали ее череп; стан согнулся, потому что князь годами держал жену в камерке, в которой она не могла выпря-миться; пальцы на руках были сведены судорогами, ноги опух-ли от ломоты, которую она нажила, проводя длинные месяцы заточения в холодных и сырых подвалах. И только ее глаза, хотя и потускневшие от слез, все еще свидетельствовали о бы-лой красоте и о том, что жизнь еще теплилась в этом изможден-ном, исстрадавшемся теле.

— Откажись, князь! — с мольбою прошептала княгиня, об-ращаясь к Черкасскому. — Ну какая Олюша тебе невеста?

— Чем же я не жених? — осклабившись, спросил князь.

— Олюшке еще и семнадцати лет нет...

— Оно и лучше, такую жену мне и надо: по крайности по-корлива будет, — сказал князь с замаслившимся взором.

— Какое же счастье, если она тебя не любит?

— Небось после полюбит! — с нехорошим смешком ответил князь.

— Побойся ты Бога! — заломила руки Пронская. — За что хочешь сгубить ты ее?

— Чай, отцу лучше знать, что требуется для счастья его до-чери! — раздражительно возразил князь.

— Отец! — с невыразимой горечью промолвила Анастасия Петровна. — Какой он отец? Он хуже лютого врага своему род-ному детищу.

В это время дверь отворилась, и вошел Пронский, за ним шла с подносом в руках и опухшими от слез глазами девушка в розовом атласном сарафане и с повязкой на голове.

— Подыми глаза-то, небось не съедят! — грубо крикнул ей отец.

Девушка с робким укором подняла на отца большие лучис-тые глаза, придававшие ее худенькому, далеко не красивому лицу какую-то особую прелесть и мягкость, и застыла с немym недоумением на лице.

— Подай князю чарку! — приказал Пронский.

Ольга неслышными шагами подошла к Черкасскому, оста-новилась перед ним, но не поклонилась ему.

— А поклон за дверями оставила, что ли?

Девушка послушно наклонила голову, подалась немного вперед своим тонким, полудетским станом и протянула гостю поднос, на котором стояла чарка, до краев наполненная вином.

— Тонка она у тебя больно! — беря чарку, шепнул Черкасский князю Борису, усевшемуся рядом с ним.

Тот нахмурился, оглядел дочь недружелюбным взглядом и возразил:

— Товар лицом показываю, а там твоя воля; женихов не искать стать.

Княгиня Анастасия с робкой надеждой во взоре посмотрела на гостя. Ольга стояла точно истукан, молча, низко потупив взор.

— Да я ничего, я так, к слову, — поторопился ответить Черкасский и бесцеремонно стал разглядывать девушку.

Взор княгини потух, и она в отчаянии поникла головой.

— И не очень, чтобы того, с лица казиста! — пробормотал Черкасский.

— Да ты что, княже? — обернулся к нему Пронский. — На Конной площади, что ли? Коли не по нраву, не по мысли тебе...

— Что ты, что ты! — заговорил Григорий Сенкулеевич. — Я это к слову... потому вот сейчас княгиня твоя сказывала, будто я-де не жених твоей дочери, стар, мол, и безобразен! — рассмеялся он гаденьким смешком. — А по мне, и невеста-то не многим лучше жениха, разве что годами только не сойдемся... Вот я к чему.

— Не ее бабьего ума это дело! — мрачно смерил жену глазами Пронский. — Ступай! — приказал он ей. — И ты! — обратился он к дочери.

Анастасия Петровна и Ольга, безмолвно покорившись приказанию, низко откланялись ему и гостю.

— Ты жди меня, — сказал князь жене, когда она была уже в дверях. — Я скоро зайду: потолковать надо.

Женщины ушли. Пронский обратился к своему гостю:

— Князь, я сам тебе в жены свою дочь предложил, ты сватов ко мне не засылал; я сам ее сватом был; ты мое сватовство принял, дочь не выдавши; молода она, и приданое за ней немалое ты выговорил; я думал — и разговору конец, ан ты еще и красоты захотел, и дородности искать стал... Негоже это, князь!

— Послушай, князь Борис Алексеевич, — остановил было друга Черкасский, но Пронский резко перебил его:

— Посто́й, князь! Раскинь умом да поразмысли толком, много ли девиц с красотой да именитостью за тебя, князя Григория Сенкулеевича Черкасского, родители отдадут?

— Князь, ты обидеть меня измыслил? — начиная сердиться, спросил Черкасский.

— Нисколько! Но задел ты меня, князь!

— Да и я не хотел избидеть тебя,— в примирительном тоне заговорил Черкасский,— с княгини твоей спесь маленечко захотелось сбить: очень уж она чванится дочкой-то своей! А по мне, девица ничего; люблю ведь я молоденьких, ведомо это тебе? — ослабившись, спросил он.

— Ведомо, а потому и затеял я это сватовство, чтобы отка-
за не было.

— Горденек ты, боярин!

— А ты не горд? Спеси-то боярской не отбавлять и у тебя
стать.

Примирившись, князя потребовали вина и начали обсуж-
дать, когда назначить день свадьбы.

— Чем скорее, тем лучше! — предложил Черкасский.

— Раньше Красной горки никак не управиться; до поста
немного уж осталось,— задумчиво проговорил Пронский.

— А какие такие приготовления? К попу съездить да обвен-
чаться, вот и вся недолга.

— Надо все честь честью,— ответил Пронский,— я хочу всю
Москву удивить, самого царя-батюшку позвать, иноземцев...

— А я так разумею,— выпивая разом вино и не глядя на
Пронского, сказал жених,— что княгиня твоя этому браку
воспротивится и помехой будет.

Пронский закусил от досады губы.

— Не бабьего ума это дело! — мрачно подтвердил он.

— Теперь ее нелегко скрутить! — вполголоса проговорил
Черкасский, пожевав губами.— Федор-то Михайлович Ртищев
вон в какую силу идет. Не даст небось родственницу-то в обиду.

— Я — муж ее и власть имею с дочерью соделать все, что
только похочу,— гордо проговорил Пронский.

— Ну, против царя все равно ничего не поделаешь,— скеп-
тически заметил Черкасский,— а Алексей Михайлович, извест-
но, слаб: кто у него испросит какой милости, он, по доброте сер-
дечной, отказать не сможет. А Ртищев подластиться сумеет!..
Ведь вот молод, на десять лет младше меня,— с трудно скрыва-
емой горечью произнес князь,— а куда шагнул? Ниже меня ро-

дом, а царь его своим приближенным сделал... А почему? Умеет ластиться, с иноземщиной дружит и даже, — шепотом проговорил он, нагнувшись к Пронскому, — с волшебством знается!

— Ну, мне он не страшен и с волшебством своим! — довольно равнодушно ответил Пронский, вспоминая, что у него против Ртищева есть у царя отличный козырь — боярыня Хитрово, с которой он никого и ничего не боялся.

Долго еще бражничали и беседовали князя, а бедная княгиня Пронская сидела у себя в светелке и внимательно с трудом разбирала Евангелие на древнеславянском языке. Время от времени она поднимала голову и чутко прислушивалась, не раздадутся ли знакомые ей твердые шаги мужа. Но наступала уже ночь, а он все еще не шел. Княжна давно, выплакав все слезы на груди у матери, легла спать и, разметавшись под кисейным пологом, вздрагивала во сне и пугливо вскрикивала. А княгиня, стоя у ее изголовья, творила молитвы.

XVI

ЛЮБОВНИКИ-ВРАГИ

Боярыня Хитрово только что вошла в свою комнату и, отдав шубку сенной девушке, села словно разбитая на лавку, которую она, по восточному обычаю, покрыла коврами. Она оперлась локтями на стол, положила голову на руки и осталась в такой позе, глубоко задумавшись.

Яркое весеннее солнце целым снопом золотых лучей врывалось через оконные стекла в комнату и придавало ей веселый, праздничный вид. Но боярыня не видела сегодня этого прекрасного утра, не любовалась первыми по-настоящему весенними лучами. На ее высоком лбу обозначилась глубокая морщина; углы рта как-то опустились, глаза тревожно смотрели куда-то вдаль, и все лицо точно поблекло, словно огонек, освещавший его изнутри, погас.

— Это страшно! — шептали ее побледневшие губы. — Лучше убить сразу!.. — Она внезапно остановилась и пугливо оглянулась. — Никого! — проговорила она и провела рукой по глазам.

Елена Дмитриевна только что навестила несчастную польскую княжну, после того как няня много раз напоминала ей об этом.

Княжну она нашла в ужасном положении, еще в худшем, чем она была за несколько месяцев до этого. Несчастливая, видимо, таяла и молила своего мучителя, чтобы он дал ей умереть спокойно на солнце, дыша весенним воздухом. Но Пронскому нужна была ее смерть. Он боялся, что она оживет и выдаст его, и тогда весь его план, так искусно задуманный, с появлением этой претендентки на его имя погибнет. Убить ее он еще медлил, да и не хотел идти на убийство, но мучить ее он считал себя вправе, раз она упорствовала и мешала ему. Он не привык стесняться с теми, кто становился ему поперек дороги.

Ванда все рассказала боярыне Хитрово и умоляла ее дать ей возможность уйти из подземелья.

— Воздуха! Солнца! На одно мгновение! И потом смерть,— рыдая и обливая слезами руки неожиданной посетительницы, говорила несчастная пленница.

Растроганная и потрясенная, Елена Дмитриевна обещала и ушла, твердо решив немедленно помочь узнице и спасти.

Но сцена в подземелье так подействовала на нее, вид княжны так поразил, что всегда сильная, твердая боярыня вдруг потерялась и упала духом.

Однако мало-помалу самообладание вернулось к ней; мысли связнее роились в голове; она стала ходить по комнате, потому что так ей легче думалось.

«Просить царя? — размышляла Елена Дмитриевна.— Но он казнит его!»

Как ни казался ей теперь отвратителен и страшен Пронский, но предать его, хотя бы даже и за страшное преступление, казалось ей недостойным ее. Ведь этот человек был близок ей много лет, она делила с ним радости и счастье; и хотя прежнее чувство к нему уже давно ушло, но все-таки предать его в руки палача она не была в состоянии!

И потом чувство самосохранения говорило в ней еще сильнее жалости. Этот человек и за нею, за безупречной боярыней Хитрово, знал кое-что, за что она могла бы ответить и подвергнуться страшной казни: быть живьем закопанной в землю.

За убийство мужа тогдашний закон так гласил: «Казнить преступницу, живую закопать в землю и казнить ее такою казнью безо всякой пощады, хотя бы дети убитого и ближние его родственники и не захотели, чтобы ее казнили; не давать ей отнюдь милости, держать в земле до тех пор, пока умрет».

И этот закон знала боярыня Елена Дмитриевна Хитрово, но преступление совершила. Так ей ли было судить князя Пронского за мучительство княжны польской, когда она сама отравила своего мужа-мучителя?

— Спасу княжну как ни на есть иначе,— прошептала она, холодея при мысли о муже,— Бог мне, может, простит мой смертный грех.

Боярыня всегда была богомольна, но со смерти мужа предавалась отчаянному покаянию, что, однако, не мешало ей пользоваться всевозможными благами жизни.

«Чем я виновата,— рассуждала иногда боярыня, отговев и отысповедавшись,— что мой мучитель довел меня до этого смертного греха? Терпела я, долго терпела, как тело мое белое щипал он, ирод мой, да косу мою русую дергал, да голодом меня морил... а потом и терпеть не стало больше сил».

Но там, в самом тайнике души, неумолчная совесть твердила ей, что жизнь и дана человеку именно для искуса и терпения и что, предавая тело на поругание и мучение, тем самым человек свою душу спасает. А красавица боярыня больше о своем теле думала, вот душу-то и погубила.

— Что сделано, то сделано! — вздохнув, прошептала она.

Иногда, под вечер или ночью, ей мерещилось старое, уродливое лицо умершего мужа, его остекленевшие глаза, с укором устремленные на нее; ей слышался иногда его хриплый голос, и она ощущала прикосновение его костлявых пальцев к своему круглому, полному плечу. Холодным дыханием мертвеца веяло на ее горячее лицо. Однако, будучи развитой по тому времени и умной от природы женщиной, она, хотя и с трудом, все-таки овладевала этими тяжкими ощущениями и объясняла себе это приливами крови к голове, тем более что она действительно часто страдала от головных болей, вызываемых полнокровием при отсутствии, по условиям тогдашнего быта, всякого движения.

— Спасу княжну, спасу! — твердила она, придумывая способ сделать это, но все было тщетно.

Вдруг ее глаза радостно блеснули: ей пришла блестящая мысль.

«Попрошу помощи у князя Джавахова! — подумала боярыня.— Он храбр, великодушен! А не попытать ли у Пронского? Уговорить его отпустить полячку на волю. Да где! Не согласится!.. Пуще только запрячет, бедную. Потом и не найдешь ее!»

Боярыня хлопнула три раза в ладоши. На зов явилась сенная девушка.

— Ступай, Аннушка, сейчас на Неглинную, найди дом царевны грузинской, а там спроси князя Левона Вахтанговича Джавахова. Уразумела?

— Уразумела, боярыня!

— Хорошо. Не забудешь, найдешь — получишь мой летник зеленый.

— А что сказать изволишь, боярыня, князю?

— Да, я и забыла! Скажи: боярыня кланяться велела и звать, мол, к себе его наказывала, дело-де есть... преважной степени и очень спешное. Ждут-де его сейчас. Поняла? Не собьешься?

— Как можно, боярыня?

— Ну, так ступай! Да покличь-ка ко мне Евпраксию.

Одна девушка ушла, и немного спустя явилась другая. Боярыня велела ей убрать горницу и принести свежую кисейную рубашку и летник из красного атласа. Облив лицо холодной водой, отчего ее побледневшие были щеки вновь порозовели, Елена Дмитриевна сняла кiku и осталась простоволосая, что к ней удивительно шло, но что было совершенно противно обычаям страны. Принарядившись и сделав распоряжение, чем угощать гостя, она отпустила девушку и села к окну в нетерпеливом ожидании.

«Как-то доберется князь Левон? — думала боярыня, следя из терема за каким-то пешеходом, старательно лавировавшим между лужами.— Ведь не захочет показаться в грязном кафтане!»

И действительно, путешествие по Москве в весеннюю распутицу было крайне трудно. Ее узкие немощенные улицы тонули в непроходимой грязи. Весеннее солнце уже исправно делало свое дело — с крыш и желобов лились потоки воды и образовывали озера и реки среди самой улицы. В Кремле было сравнительно суше и чище благодаря тому, что он стоял высоко, и еще тому, что во дворце пребывал царь, а следовательно, принимались хотя кое-какие меры к удалению грязи и потоков талой воды. Но добраться до Кремля было довольно трудно: колымаги проваливались чуть не до половины в промоины, лошади, залитые водою по брюхо и облепленные грязью, подолгу стояли на месте, не имея сил вытягивать громоздкие кузова тяжелых колымаг.

Думы Елены Дмитриевны были прерваны приходом Евпраксии, доложившей, что к ней пожаловал князь Пронский. В первую минуту Хитрово подумала было отказать незваному гостю, но потом рассудила, что грузинский князь еще не скоро приедет по такой дороге, а с Пронским нужно поговорить.

— Зови боярина,— приказала она девушке, и та открыла перед князем двери.

— Добро пожаловать,— приветствовала Пронского боярыня, кланяясь ему в пояс.— Что давно вдовы бедной не навещал?

Пронский был сумрачен; бросив шапку на стол и чуть кивнув Хитрово, он, нахмурясь, посмотрел на сенную девушку, робко стоявшую у притолоки, и резко, точно хозяин, спросил ее:

— Ты что здесь торчишь?

Девушка пугливо взглянула на боярыню и не тронулась с места.

— Евпраксия, ступай себе; принеси-ка нам медку... Боярину, чай, с дороги неможется,— холодно приказала боярыня.

Когда девушка скрылась за порогом, Пронский порывисто обнял Елену Дмитриевну и поцеловал в губы, но она грубо оттолкнула его.

— Не хозяин ты мой, чтобы так облапить.

— Что-то больно красива ты сегодня,— ответил Пронский, не замечая ее тона и любуясь ею.— Сарафан красный идет, что ли, уж и не разберу, право.

— Давно красы моей не примечал! — с невольной злостью в голосе возразила боярыня.

— Дел много было в это время,— ответил Пронский и, сев, провел рукой по волосам.

Елена Дмитриевна пристально взглянула на него, потом, всплеснув руками, вскрикнула:

— Куда бороду дел?

— Снял.

— Иль ты разум потерял? Ведь стричься боярам строго заказано; не знаешь разве царского указа: «Брады же иде-же не стричь»? Али боярства лишиться захотел?

Пронский пристально посмотрел на боярыню.

— А ты много по царскому указу действуешь? Вон кикку скинула, простоволосая кажешься мужчине. Это по указу?

— Князь, я о тебе печалуюсь,— немного смутившись, ответила боярыня,— а по мне, пусть тебя царь наказует. Я ж чужим мужчинам не кажусь без кики.

— Ты вступишься за меня,— беспечно ответил князь.— А что, каков я без бороды?

Боярыня замаялась. Худощавое бледное лицо князя без бороды стало еще тоньше и бледнее; холодные серые глаза еще резче выдавались на нем.

— Чего ж ты остригся? — повторила боярыня.

— Все иноземцы так ходят,— уклончиво ответил князь.— А ты скажи лучше, каков я?

Елена Дмитриевна рассмеялась:

— Смекнула я, чего ради ты остригся. Знать, иноземке какой понравиться затеял?

Пронский промолчал.

— А хочешь, скажу — кому? — пошутила Хитрово.

— А скажи! — пожал плечами князь.

— Царевне грузинской! — ответила Елена Дмитриевна и перестала смеяться.— Скажи, что нет?

— Несуразное говоришь,— отвернувшись, произнес Пронский, но его пальцы, барабанившие по столу, нервно вздрагивали.

— Давно я заприметила, что зазнобой пала краса царевны тебе на сердце. Но не думала я, что дерзость свою ты прострешь на любовь к царевне.

— Что ж, нешто худородный я какой? — глухо возразил Пронский.— А разве ты сама, боярыня, не дерзнула поднять глаза на...

— Замолчи! — сказала Хитрово, вся вспыхнув и встав со скамьи.— И ты можешь вторить судаченью да пересудам теремным? Стыдно, князь, сплетнями бабьими заниматься!.. Всем известно, что я — друг государыни-царицы и батюшки-царя,— внушительно закончила она.

— И я хочу быть другом царевны,— усмехнувшись, ответил князь.

Боярыня с изумлением глянула на него.

— О том мне смеешь говорить? — гневно спросила она.

— С тобой о том и совет держать пришел,— возразил Пронский, продолжая усмехаться.

— Я не потатчица таким делам,— гордо ответила боярыня и начала ходить по комнате.

В ней заговорила женщина. Она сама уже не любила князя и, может быть, еще вчера думала, как бы с ним разойтись тихо, без ссоры; но теперь, когда он ей в лицо говорил, что любит

другую, что оставляет ее без сожаления, все женское самолюбие поднялось в ней; упорство отъявленной кокетки потребовало, чтобы поклонник был вечно пригвожден к ее триумфальной колеснице, и жадность собственницы заклокотала в душе. Ревность к сопернице заползла в сердце коварной змеей. Она забыла все свои добрые намерения относительно несчастной польской княжны, забыла даже князя Леона и вся была полна только мыслью вернуть к себе этого холодного, бессердечного мужчину, заставить эти стальные глаза загореться огнем желаний, увидеть этого гордеца у своих ног поработленным.

И казалось, эти мысли были написаны на ее выразительном лице; по крайней мере, князь отлично понял ее волнение. Самодовольная улыбка тронула его губы, и он произнес:

— Ну а что же князь Леон, этот маленький грузин, часто бывает у тебя, боярыня? Впрочем, не отвечай, я вижу его гусли... Учит, стало, тебя играть на них?

— Не отвиливай, князь! Начал говорить о царевне — доканчивай! — вся покрасневшись, проговорила Елена Дмитриевна, нервно обмахиваясь кружевным платочком.

Пронский встал и, схватив боярыню в свои сильные объятия, покрыл ее лицо поцелуями. Он умел, когда хотел, придать себе влюбленное выражение. Его холодные серые глаза вспыхивали непритворным чувством, губы шептали нежные слова, и объятия становились горячее.

На этот раз Хитрово не отталкивала его, а, обняв своими красивыми руками его шею, приникла русой головкой к его могучей груди.

— Милый мой, любимый мой! — чуть шептали ее губы. — Любишь меня? Одну меня?

— Одну тебя, — ответил Пронский — в эту минуту искренне, так как близость молодой женщины невольно заразила его. — Уедем отсюда, бросим все, все! — крепче прижимая ее стан, шептал он, целуя ее полузакрытые глаза.

Ни он, ни она не слышали оклика и стука в дверь, не слышали, как эта дверь отворилась и тотчас затворилась.

Первою очнулась боярыня. Довольная своей победой, она вспомнила и польскую княжну, и князя Леона, и царевну грузинскую. Она тихо выскользнула из объятий князя Бориса и стала поправлять волосы перед зеркалом.

— Ишь, растрепал! — через плечо улыбнулась она ему.

— Чародейка! — проговорил он.

— А что? — продолжала она улыбаться. — И впрямь ведь я зачарована! Бабке моей цыганка сказывала, что до третьего ее колена все девушки или женщины в роду всегда любимы будут.

Но князь Пронский уже не слушал ее. Он ходил, глубоко задумавшись, и чары ее красоты и молодости постепенно таяли. Он вспомнил, зачем пришел, вспомнил обаятельные черты грузинской царевны, и ему стало стыдно за свой поступок, за свою измену.

«Но она издевается надо мной, разве я могу отказаться от женской красоты и ласки?» — злобно думал он и, обернувшись к боярыне, громко произнес:

— Я к тебе шел, чтобы известить о свадьбе дочери!

— Ты дочь сосватал?

— Да, давно. Да прихворнула, и свадьбу отложили на Красную горку.

— А жених кто?

— Черкасский, князь Григорий Сенкулеевич.

— Ты свою дочь за этого зверя выдаешь?

— Мало ль что в народе бают? Какой он зверь... Так... Строг маленько с людьми...

— В отцы, а то и в деды он ей годится... Что ты затеял, князь?

— Так надо мне, Елена!

— Попугать жену? Эх тебе приспичило холостяком стать.

— Опостылела она мне очень!

— Да ведь не первый год женаты! — проговорила боярыня, подозрительно поглядывая на своего друга.

— Да ты что, за нее вступиться хочешь?

— Знамо дело, жалко.

— Ишь, жалостливая какая стала! — насмешливо произнес князь. — Небось, когда свой муж-то старый опостылел хуже скуки, жалость-то бог весть куда попрятала!

— Не тебе бы, Борис Алексеевич, попреки делать да не мне бы слушать! — многозначительно возразила боярыня.

— Ты на что мечешь, Елена? — хмурясь, спросил князь.

— Ох, князь, глаз-то мне не отводи...

— Что правда, то правда, ворон ворона видит издалека. Ну, стало быть, мы и должны пособлять друг другу. И, кабы ты хотела, мы с тобой таких делов понаделали бы...

— Примерно каких это? — насмешливо спросила боярыня.

— Что зря языком звонить? Хотя и с умом, а все-таки баба.

Слова князя задели Хитрово за живое, и она уже хотела прямо заговорить с ним о полячке. Но он не дал ей раскрыть рот и сам, будто к слову пришлось, равнодушно проговорил:

— Кабы ты в самом деле мне близким человеком была, ты меня давно от жены постылой вызволила бы! Эдак бы по царскому указу да в монастырь ее.

— За какие такие провинности?

— Мало ли что! Можно придумать...

— Неправду? Ну, это не след. Да и зачем царя вмешивать? Справься сам... Вон как Евсей Верещагин жену избил смертным боем до крови, а по ранам солью натер.

Пронский, вспыхнув, отвернулся.

Боярыня поняла его смущение и внутренне содрогнулась. Неужели он был до того жесток, что подверг свою жену подобной же пытке? Но почему же княгиня Анастасия Петровна не жаловалась родным, которых у нее было немало и даже в большой чести у царя, как, например, ее свояк, Михаил Федорович Ртищев?

Эти вопросы вертелись у боярыни на языке, но она не сказала ничего, а предложила князю поступить так же, как поступил один именитый боярин, желавший избавиться от жены менее кровавым образом, чем было принято в те суровые времена.

— Постриги княгиню в пустой избе, без родственников и записи, а потом отошли куда-нибудь! — посоветовала она, сознавая, что лучшая доля княгини все же пострижение.

— Опасливо: могут выдать, а тогда батоги и Сибирь, осрамят на всю Русь. Ведь дочь... души в матери не чает. Нет, лучше, как согласие на посестрию, ничего нет.

Посестрией называлась постригшаяся в монахини жена при живом муже; муж — побратимом. Но достигалось это побратимство и посестрие нелегко. Часто муж добивался согласия от жены на это новое родство тяжкими побоями, угрозами и разными мучениями.

— А княгиня не хочет? — спросила Елена Дмитриевна.

— Как корова уперлась, и ни с места.

— Что, ей так любя жизнь в миру?

— Дочь, вишь, жаль.

— Так постриги их вместе.

— Думал было, говорил, и на это не согласна.

— Так оставь ее, пусть живет. Не мешает она, чай, твоей гульбе?

— Нельзя этого,— упрямо ответил князь.— Так ты помочь в этом деле не можешь?

Елена Дмитриевна отрицательно покачала головой.

Собеседники замолчали. Боярыня взглянула на часы. Уже давно было время прийти князю Джавахову. Солнце стало уже садиться, наступали ранние сумерки.

— Огня бы зажечь,— проговорила Елена Дмитриевна и крикнула девушку.

— Я скоро уйду; погоди огонь зажигать,— предложил князь.

В это время вошла Евпраксия с подносом и медом в серебряной чарке и с поклоном поставила перед князем.

— Анна уже вернулась? — спросила боярыня.

— Давно! — ответила Евпраксия и на вопросительный взгляд боярыни смущенно потупилась.

Хитрово тревожно окинула девушку взглядом и выслала из комнаты, приказав прислать Анну.

Пронский выпил мед и обратился к боярыне:

— Стало быть, в одном мне отказали? Ну, бог с тобой! А на свадьбу не откажешь прийти?

— Вот это с радостью. И подарок невесте ценный припасу, и жену твою увидаю с охотою.

Пронский незаметно прикусил губу.

— Ну, вот теперь еще одна просьба. Царя с царицею ко мне на свадьбу сговори да царевну... Елене Леонтьевне с государем дай свидеться,— проговорил он и облегченно вздохнул, точно тяжесть упала с его плеч.

— За первое даю слово, а... за царевну с чего так хлопчешь?

— Елена, ведомо ведь тебе, что ты одна мне на свете любя,— с убедительностью произнес Пронский,— в чем же ты сомневаешься?

— Почему хлопчешь-то о царевне? — повторила боярыня.

— Тут дело не любовное, а важное государское,— начал Пронский, сев рядом с боярыней и понизив голос.— Хочу привести я царство Грузинское, а потом и другие по ту сторону Иверских гор царства маленькие в вековечное подданство государю-батюшке. Приехала теперь царевна Елена Леонтьевна сюда на Москву помощи просить для свекра, царя Теймураза, а я смеаю так, что дело можно оборудовать в другую сторону. Внучек Теймураза здесь с нею, она и он могут свое царство рус-

скому царю и вовсе отдать. Теймураз стар уже, сын его, муж Елены Леонтьевны, находится в Персии в аманатах; может, его уже и в живых нет; она пока за сына править страной может, а сопровителя ей назначит наш государь Алексей Михайлович.

— И сопровитель этот — ты? — сразу разгадала боярыня замысловатый план князя и весело рассмеялась. — Не бывать этому николи! — встала со скамьи разгневанная Елена Дмитриевна.

— А почему бы не бывать этому? Чем я не правитель такой маленькой страны? — вставая в свою очередь, насмешливо спросил Пронский.

— А потому, что я этого не хочу. Хотя мне царевна грузинская не любя, но царства лишать ее я не хочу. Но ты лжешь все; ты вовсе не хочешь отдать это маленькое царство царю Алексею. Ты хочешь только с помощью наших отогнать персов, а потом убьешь Теймураза и его сына и женишься на вдове! О, я разгадала тебя, будущий царь грузинский! Но этому не бывать. Я все расскажу царю, и тебя поведут на дыбу!

— А на дыбе я скажу, что ты отравила мужа!

— Чем ты докажешь, что я отравила? — бледнея, проговорила боярыня.

— Докажу. Отраву тебе дала колдунья Марфа, а Марфа мне послушна и все мне сделает, что для меня нужно.

Елена Дмитриевна как сраженная упала на скамью. Мысли ее путались, и вся она трепетала перед этим ужасным человеком. Ей уже чудились пытки и мучения, которые ей придется претерпеть на дыбе; дрожь пробежала по всему телу, и она с глухим стоном закрыла лицо.

Пронский молча стоял у окна, и сквозь наступавшие сумерки едва можно было различить его лицо. Он ждал, когда боярыня, достаточно настрадавшись от страха, придет к нему и станет молить его о пощаде и прощении. Он любил женщин, но вместе с тем и презирал их. Ему казалось, что он отлично читает в их сердцах; он думал, что окончательно уничтожил Елену, и уже торжествовал победу.

Между тем Хитрово в это время приходила в себя и, взглянув на него сквозь пальцы, внутренне усмехнулась, хотя ей было теперь вовсе не до смеха.

Ей пришла было на ум польская княжна, но она умолчала о ней, благоразумно сообразив, что это единственный козырь в ее руках против Пронского; однако с этим козырем надо обра-

щаться осторожно, а то князь как раз спрячет его; поэтому она решила употребить хитрость. Нужно прежде всего притвориться испуганной и согласной действовать по его воле, затем при помощи Леона освободить Ванду, потом избавиться от ворожеи Марфушки и уже после всего этого действовать против этого ужасного человека.

Приняв такое решение, Елена Дмитриевна горько разрыдалась; ей трудно было сделать это, потому что ее гордой натуре нелегко было, хотя бы и временно, сознаться в своем бессилии, признать над собой чью-нибудь власть.

Услыхав ее рыдания, Пронский обернулся. Он уже пришел к тому убеждению, что худой мир лучше доброй ссоры, и потому, видя слезы раскаяния у боярыни, сам подошел к ней.

— Ну, полно, Елена, будет нам ссориться! Показали друг другу когти, и будет! Давай руку! Вот так! А теперь прощай, поздно уже! — И он, обняв боярыню, поцеловал ее в щеку.

Ни тот ни другой не могли, к счастью, видеть выражение своих лиц, а то каждый понял бы, какая готовится ему злая участь.

— А царю все-таки шепни о царевне-то, — проговорил князь, нахлобучивая шапку. — Прощенья прошу! — И, кивнув еще раз, он вышел, вполне убежденный, что поработил боярыню.

XVII

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БОЯРЫНИ ХИТРОВО

Между тем Елена Дмитриевна яростно забежала по комнате, посылая вслед ушедшему неистовые проклятия и угрозы!

— Мне грозить дыбой? Меня пугать ямой? Мне, любимице царевой, страшиться позорной смерти? погоди же, голубчик! Попомнишь ты, как вспоминать Елене Дмитриевне ее старого боярина. Ты скользок да увертлив, но и на тебя найдется проруха! Жаден ты до смерти, не знаю, что больше любишь: баб или деньги!

Елена Дмитриевна стала со всех сторон обсуждать, как бы ей лучше захватить в свои руки Пронского, как бы ниже склонить его буйную голову к своим ногам, как бы более унижить его гордость.

Чаще всего она останавливалась на освобождении польской княжны — это большая улика против князя; потом надо помочь

молодой княжне Пронской уйти от Черкасского — это разозлит Бориса Алексеевича, а главное, ей самой надо было оградить себя от него, и это можно было сделать, только уничтожив единственного свидетеля ее преступления, ворожею Марфушку.

Это было легче всего, потому что волшебство и ворожба жестоко преследовались уже в царствование Михаила Федоровича, а в особенности при Алексее Михайловиче. Елене Дмитриевне было известно, что еще при Михаиле Федоровиче на стольника Илью Даниловича Милославского, будущего царского тестя, сделали навет подметным письмом, в котором его укоряли, что он хранит будто бы волшебный перстень знамени того дьяка Грамотина. Милославского долго держали под надзором и пересматривали все его пожитки. Менее счастливо отделался родственник царя Алексея, боярин Семен Стрешнев, обвиненный в волшебстве: он был лишен боярства и сослан в Вологду. Так сурово наказывалось волшебство, совершаемое высшим сословием; простой же народ просто сжигали или топили в Москве-реке.

Но, обвиняя ворожею Марфушку в чародействе и в знакомстве с нечистой силой, боярыня Елена Дмитриевна могла легко и сама попасться. Врагов у нее при дворе и в народе было немало: все ждали только первой возможности напасть на всемогущую боярыню. Поэтому ей надо было бы действовать очень осторожно, чтобы ее имя при казни ворожей вовсе не было упомянуто, а то враги сейчас же воспользовались бы этим и начали бы доискиваться истины.

Ее уже теперь волновало, каким образом Марфушка узнала ее имя и зачем передала о том Пронскому.

Ей вспомнился холодный осенний вечер, когда нянюшка Марковна тихонько вывела ее из терема, в то время как все уже в доме спали, и повела по темным улицам Москвы. Шли они долго; боярыня много раз хотела вернуться, вся трепеща и вздрагивая от пронизывающего ветра и тревожившего ее страха. Но слова нянюшки, напоминавшие о недавних побоях и издевательствах мужа, подбадривали ее, и она шла, спотыкаясь на каждом шагу.

Но вот на самом краю города, далеко от Кремля, в сторонке, показалась маленькая избушка, сильно покривившаяся и почерневшая, с одним слюдовым окном. Елена и нянюшка вошли в нее, согнувшись под притолокой.

— Прикрой личико платочком, да поплотнее! — шепнула Марковна, и Елена послушно исполнила это.

В избе, у печки, сидела еще не старая женщина в ситцевом сарафане, вязаной душегрейке и платке на голове, из-под которого выбивались черные пряди волос. Она варила что-то в котелке, стоявшем на горячих углях. При входе гостей она подняла голову, и Елена увидела темные, пронизательные глаза ворожеи, устремленные прямо на нее.

— Ну вот, Марфуша, привела я ее... Дай нам сушенки, что обещала,— заискивающе проговорила Марковна.

— Открой лицо,— повелительно приказала ворожея.

Но Елена не шевельнулась; только ее голубые большие глаза пугливо глядели на ворожею в отверстие платка.

— Боишься? — презрительно произнесла Марфуша.— Эх вы! Блудливы, как кошки, а трусливы, как зайцы!

— Пойдем, няня! — дрогнув от оскорбления, шепнула Елена Марковне и потянула ее за шугай.

— Не гордись,— шепотом ответила няня и прибавила вслух: — Привередница ты, Марфуша! На что это тебе лицо бояр...— Марковна точно поперхнулась.

— Не надо, не открывай,— пожав плечами, сказала Марфуша и что-то пробормотала еще себе под нос.

— Мы тебе вона сколько червонцев принесли! — продолжала уговаривать ее Марковна, показывая мешочек с туго набитыми золотыми.— Давай, что ли, снадобье! Ведь готово?

— Готово давно! — И ворожея достала с полки склянку со светлой, почти прозрачной жидкостью.— Дашь... кому там зандобится, два раза в холодном медку... и конец!

Она протянула одну руку со склянкой, а другой взяла деньги. То же сделала и Марковна.

Елена Дмитриевна стояла ни жива ни мертва и хотела только поскорее уйти из этой душной, низенькой избенки.

— Прощай, боярыня! — проговорила ворожея, сделав ударение на последнем слове, и, посмотрев прямо в глаза Елене, странно усмехнулась.— Вспомни когда-либо колдунью Марфушку...

Но Елена не дослушала и кинулась вон из избы; следом за нею заковыляла и Марковна. Боярыне с перепуга даже послышался адский смех, разнесшийся вдруг по пустынным улицам. Она глухо вскрикнула и припала к плечу нянюшки.

— Няня, няня, слышишь? Смеется! — шептала она, дрожа.

— Бог с тобою, дитятко! — успокаивала ее Марковна.— Ишь, перепугалась! Никто не смеется, это тебе поpritчилось.

Как они вернулись домой, боярыня совершенно не помнила. Ей еще долго мерещилась женщина у котелка, ее черные, пронизывающие глаза и глядевшая из них страшная насмешка.

Она спросила Марковну, почему ворожея назвала ее боярыней. Та, проникнутая верой в волшебную силу и чародейное знание ворожеи, не колеблясь ответила:

— А как ей не знать, кто перед нею? Чай, на то она и ворожея.

В первую минуту Елена содрогнулась от этих слов, но потом скептически решила, что это вздор; ворожея вовсе не узнала ее, а просто сказала наобум. А может, перстень заметила на пальце? Да и в ворожбу, и в чары Хитрово как-то нетвердо верила. Просто это обыкновенная отравительница, которая за червонцы готова кому угодно продать смертельное зелье. С зельем Елена Дмитриевна тоже долго не знала, что делать, боясь употребить его на то, на что оно было годно, но и не имея сил уничтожить его.

Так длилось, пока она не встретила Пронского, не полюбила его и не отдалась ему.

Муж узнал или заподозрил это и стал обращаться с нею крайне круто, мучая ее постоянным недоверием и ревностью, и стал еще лютее. Еще горше стало житья молодой боярыне, и однажды, подстрекаемая нянькой и самим Пронским, она вылила все зелье в кружку с медом и подала ее мужу после возвращения его из бани.

Боярин Хитрово хотя и был очень подозрителен, но выпил отраву, не заподозрив жену, потому что зелье было совершенно безвкусно и мед даже цвета своего не сменил, а через день боярыня была уже вдовой. Родственники мужа стали было поговаривать кое о чем и пускать о ней недобрые слухи, но открыто говорить побоялись; тем дело и кончилось.

И думала Елена Дмитриевна, что больше эта история никогда уже не всплывет. С годами она стала забывать свой грех, служба по покойному мужу панихиды и положив в монастыри на помин его души вечный вклад. И вдруг опять его смерть встала перед нею грозным призраком и потребовала отмщения.

Но теперь боярыня была постарше, поумнее, жизнь сделала ее не такой доверчивой, и она не очень-то верила нынче в призраков.

«Надо самой пойти к Марфушке; прятаться теперь нечего... Если узнает она, так и скажу: что, мол, тебе милее — костер или жизнь? Если жизнь — отправлю ее куда-нибудь подальше, схо-

роню от Бориса, а там полячку потихоньку освобожу и уж тогда за дочку князя примусь. Кстати, у меня и с Черкасским кое-какие счета есть!»

Решив так, боярыня бодро захлопала в ладоши.

Явилась сенная девушка.

— Огня скорей! — приказала Хитрово.

Девушка исполнила приказание.

— А что же Аннушка?

— Она еще раз ходила туда... к грузинам.

— Зачем? — тревожно спросила боярыня.

— Князь Джавахов был в первый раз-то...

— Что? — обернулась к девушке пораженная боярыня. — Был здесь, когда?

— В сумерках... пришел, постучался в горницу и скоро так повернулся и ушел из сеней.

— Отчего же ты мне, мерзкая, не сказала?

Девушка задрожала как лист, а затем ответила:

— Ты, боярыня, не приказывала входить... когда у тебя гости.

— Я тебя за медом слала? — спросила Елена Дмитриевна.

— Меня.

— Отчего же не вернулась?

— Боярыня, ты серчала... князь тоже...

— Ты подслушивала? — вся вспыхнув, подступила к растерявшейся сенной девушке боярыня.

— Богом клянусь... — падая на колени, произнесла несчастная, предвидевшая уже свою участь.

Елена Дмитриевна хлопнула в ладоши и велела появившейся девушке позвать ключницу Марковну.

— Боярыня! — завопила девушка. — Ни словечка я не слышала!

Она знала, что означало приказание позвать ключницу, эту старую ведьму Марковну. Ее немедленно, не дав ни с кем повидаться и попрощаться, отошлют в дальнюю деревню, в какую-нибудь далекую губернию. Горькие, неудержимые слезы потекли по лицу несчастной девушки; она ползала на коленях за боярыней, ловя край ее сарафана и умоляя о пощаде. Но в душе она сознавала, что ее мольбы напрасны, что суровая и беспощадная к проступкам дворни боярыня не простит и что все равно ее судьба решена; если бы она вошла с медом, ее наказали бы за это; а не вошла — ее ждало изгнание, и никакие клятвы в том, что она ничего не слышала, не подействовали бы.

Вошла Марковна. Это была высокого роста сумрачная старуха с сухим, неприветливым лицом и бегающими, холодными глазами. Она обожала свою боярыню, которую вскормила грудью, но, кроме нее, никого на свете не любила, да и ее недолюбливала и боялась вся дворня.

— Звать изволила, боярыня-матушка? — войдя, спросила Марковна. — Аль Агашка чем провинилась?

— Сейчас же сошли ее с нарочным в Тополевку, — приказала Елена Дмитриевна.

Агаша завопила пуще прежнего, цепляясь за руки ключницы.

— Марковна, голубушка, родная!.. Умилостивь боярыню, Богом клянусь, не виновата, — сквозь рыдания говорила девушка.

— Коли боярыня наказует, значит, виновата, — наставительно произнесла Марковна. — Ну, вставай, нечего валяться...

— Матушка-боярыня... Марковна, Бога в тебе нет! — кричала девушка. — Не слышала я, словечка не слышала!

— Пойдем, пойдем, тебе говорят! Боярыни не умолишь.

— Так будь же ты проклята! — в отчаянном исступлении вдруг крикнула Агаша, вскакивая с колен и выпрямляясь во весь рост. — Не знать тебе счастья...

Но дальше договорить ей не удалось, Марковна поволокла ее и вытолкала в дверь.

На Елену Дмитриевну произвела тяжелое впечатление сцена с Агашей. Проклятие девушки вдруг больно отозвалось у нее в сердце, так как, несмотря на весь свой ум и некоторый скептицизм, она была все-таки еще достаточно суеверна и не могла бесповоротно отказаться от веры в силу проклятья и всевозможные мелочные приметы.

Марковна вернулась в комнату, плотно притворила дверь и, придвинувшись к своей питомице, шепнула ей на ухо:

— За что девку-то сослала?

— Она слышала, как мы поспорили с князем Борисом Алексеевичем! — ответила, насупившись, боярыня.

— Сколько раз упреждала не ссориться на дому...

— А где же? В поле, что ли, бежать?

— Носа-то мне не откуси! — проговорила довольно развязно мамушка. — Ведь не я виновата? Усылать надо девок, коли что, из сеней...

— Ну, ты меня, мамушка, не учи, сама, поди, знаю, что делать! — окончательно рассердилась боярыня.

— Прощенья просим,— обиделась Марковна,— и на том спасибо! За службу мою верную, за любовь мою крепкую, что, души и тела не жалеючи, тебе в послуги отдала, вот и награждение боярское...

Она утерла рукавом шугая покотившиеся слезы и повернулась было, чтобы уйти.

Елена Дмитриевна размышляла о том, что ссора с Марковной ей теперь как раз не на руку, и хотя старуха действительно много позволяла себе с нею, но предана была ей, несомненно, всей своей рабской душой, до последней капли крови. Поэтому боярыня, сменив сразу гнев на милость, ласково остановила ее:

— Пстой, Марковна! Экая ты, право, обидчивая да спесивая! Мало ли что в гневе скажешь. За словом не угонишься. Больно разобидел меня князь-то.

— Так ты бы на нем гнев свой и срывала!

— Не сорвешь! Он, словно уж, увертлив. Вот о нем-то мне с тобой и есть о чем покалякать... Помощи и совета от тебя мне нужно. Садись-ка!

Эти слова и ласковое предложение польстили старухе, и ее обида стала понемногу проходить. К концу же речи боярыни она уже совершенно забыла о себе и только думала о своей питомице, как бы помочь ей выйти из лихой беды.

Елена Дмитриевна рассказала ей весь разговор с Пронским, его требования, угрозы; поведала ей и свои опасения, что он может злоупотребить тайной, которою завладел, а затем испросила Марковну, как и зачем Марфушка выдала ее князю.

— Надобно все это узнать,— проговорила Марковна.

Елена Дмитриевна согласилась с нею, сказав, что надо во что бы то ни стало ворожею переманить на свою сторону и потом удалить из Москвы, пригрозив ей в противном случае сожжением на костре за волшебство и чародейство.

— Испугается! — уверенно проговорила Марковна.— Как только узнает, кто ты. Ведь вся Москва знает твою силушку при царе.

— А ежели не испугается? — усомнилась Елена.

— Тогда извет пошлем,— не задумываясь ответила Марковна.

— Ее ж сожгут! — вздрогнув, заметила Елена.— Под пыткой она меня и выдаст!

— Ну, иным каким-либо путем сладим с нею. Ты, боярыня, не сомневайся. Я сама наперед понаведаюсь к ней. А чего ради к тебе Анфиса-то повадилась? Небось клянчила за кого?

Елене Дмитриевне не хотелось сказать, зачем приходила старушка няня, Анфиса Федосеевна; она знала, что обе старухи очень не любили друг друга, в особенности Марковна прямо-таки ненавидела Федосеевну за ее доброту к низшему, бедному, угнетенному люду и старалась, насколько могла, вредить ей у общей их питомицы, тем более что она, на правах бывшей кормилицы, считала себя выше рангом и ближе к Хитрово, чем Анфиса Федосеевна, которая была только нянюшкой. Поэтому Елена Дмитриевна сочла нужным не посвящать Марковну в проект спасения Ванды и ответила что-то неопределенное.

Но, кажется, это не удовлетворило старую ключницу; она поджала губы и, низко кланяясь, проговорила:

— Изменилась ты ко мне, боярыня, ой как изменилась! Ну, да на то, видно, воля Божья, насильно мил не будешь. Не угодила, что ли, я тебе чем?

— Да что ты, мамушка! — начала оправдываться боярыня.

— Нешто я сердца твоего не знаю? — грустно проговорила Марковна. — Ну, да что толковать! Твоя да Божья на то воля. А ты скажи мне, Агафью-то на вечные времена сослать? Может, замуж там за кого-либо выдать?

— Делай, как знаешь. Можно, как время минет, и вернуть. Покличь-ка ко мне Аннушку!

Марковна поцеловала боярыню в плечо и тихо вышла.

Елена Дмитриевна облегченно вздохнула.

Да, мамушка была права: она сильно изменилась к ней. Чуткое, любящее сердце старухи почуяло перемену.

Елене Дмитриевне в последнее время стало тягостно присутствие этого преданного существа. Оно напоминало ей ее прошлое, темную страницу жизни, которую ей так хотелось забыть, и служило ей единственным живым укором, потому что до этого дня боярыня думала, что ее тайна более никому на свете не была известна. Ей тяжела была рабская преданность Марковны, доходившая до потворства преступлению, и в последнее время она стала избегать ее услуг и советов.

Но вот опять пришлось обратиться к ее преданности в таком щекотливом деле, и это неприятно действовало на без того расстроенную боярыню.

Ее еще тревожило смутное беспокойство о причине долгого отсутствия князя Джавахова. Он должен был быть уже давно у нее, но наступала уже скоро ночь, а его все еще не было.

Нетерпение сказывалось во всех движениях боярыни. Она уже без особого удовольствия, почти машинально, заглянула в зеркало, поправила растрепавшиеся волосы, осталась недовольна пылавшими щеками, но, махнув рукою, отошла от зеркала. В это время в комнату вошла девушка Анна.

— Ну, что? Ты была? Нашла? — закидала боярыня девушку вопросами. — Отчего он не идет?

— Боярыня... Он... он был! — пролепетала девушка, предчувствуя гневную вспышку боярыни.

— Как был, кто был? — не поняла Елена Дмитриевна. — Что ты мелешь, дура!

— Был князь этот, — совсем теряясь от испуга, пролепетала Анна.

— Да говори ты толком, или я тебе все зубы выколочу! — тряся девушку за плечо, крикнула боярыня. — Какой князь? Пронский? Да разве я тебя к нему посылала, паскуда! — И звонкая пощечина отпечатала на щеке девушки яркий румянец.

— Не... не Пронский, а князь этот, грузинский... вместе со мной... при... пришел! — прерывающимся от страха и слез голосом ответила девушка.

— Как пришел? Где же он? — пораженная, отступила боярыня.

— Постоял у... у двери и... ушел.

— Ушел? Постоял у двери? — шептала в изумлении Елена Дмитриевна. — И ничего не сказал?

— Как же... сказал!.. Сказал, что в другой раз когда зайдет, что ты, мол, занята! — собравшись с духом, разом выпалила Анна.

— Почем узнал он, что у меня гость?

— Он приотворил, кажись, дверь...

— Громко мы говорили или... тихо? — пораженная какой-то мыслью, уже значительно спокойнее спросила боярыня.

— Тихо... почитай что и голосов не было слышно.

— Ступай! — побледнев и опускаясь на скамью, проговорила Елена Дмитриевна. — Ступай же!

Аннушка быстро шмыгнула за дверь, радуясь, что благополучно избегла надвигающейся грозы.

А боярыня, положив локти на стол, охватила голову руками и, покачиваясь из стороны в сторону, точно от сильнейшей головной боли, тихо причитывала:

— Сгубила, сгубила! Сама свое счастье сгубила! Что мне Пронский, на что мне власть над ним нужна? Погубила, погубила свое счастье! Не вернется он, любимый мой, черноглазый мой, красавец! — И она горько заплакала.

Слезы облегчили ее встревоженную душу; наплакавшись досыта, она подняла голову и задумчиво улыбнулась самой себе, причем ее губы шепнули:

— Разревелась, как дура! А что, если он ничего не видел и не разобрал? Слышал голоса и ушел как подобает... У них вон постучавшись входят. — Она улыбнулась ясной, спокойной улыбкой. — Ну, разумеется, он ничего не видел и не слышал. Завтра же снова за ним пошлю и все разузнаю. Он, как дитя малое, сейчас все выложит, врать-то не мастера они.

И, успокоившись на этом, боярыня потребовала ужин, а затем пошла спать.

XVIII ВИДЕНИЕ

Эту ночь князь Джавахов спал плохо и, чуть забрезжило утро, встал с тахты, заменявшей ему постель, отбросил от себя мутаки и бурку, которой укрывался, надел на себя чуху и сел к окну. Заря чуть занималась; в течение ночи лужицы затянулись легким ледком, грязь попримерзла, и только кое-где еще видневшийся снег показывал, что зима нехотя уползала с давно насиженных мест.

Леону Джавахову особенно грустно и безотрадно показалось это бледное, раннее утро в чужой стороне. Еще зиму, с ее белой пеленой снега и суровыми морозами, он кое-как переносил из-за ее своеобразной красоты. Но русской весны и лета сын горячего юга совершенно не переносил; его всегда томили эти медленно наступавшие сумерки и холодно и неохотно смотрящее с белесоватого неба солнце. Ему тогда особенно хотелось дышать благоухающим воздухом своих родных гор, греться под лучами знойного солнца и без конца любоваться синим, глубоким небом.

При воспоминании о синем небе в его воображении блеснули прозрачные темно-голубые глаза. Но не грели, не ласкали эти голубые северные глаза; блеск и прозрачность их были обманчивы, как обманчивы и лживы были уста, говорившие ласковые речи.

А он, пылкий юноша чужой страны, чуть было не отдал этой голубоглазой красавице своего верного сердца, умеющего любить только один раз, отдаваться только навеки!

Но хвала Богоматери! Она указала ему эту женщину во всей ее коварной прелести. Он сам, своими глазами видел, как она обнимала другого; видел, как ее губы целовал этот другой, какими страстными очами ловила она его взгляды.

Этого было бы достаточно, чтобы вырвать и более сильное чувство, чем то, которое владело юным князем. Страсть еще не слишком сильно захватила его. Он все колебался, как-то робел перед женщиной, которая, видимо, благосклонно относилась к его начинающемуся чувству и невольно волновала его молодое воображение своей дразнящей, великолепной красотой. Однако ее поведение, свободное, даже немного вольное, с мужчинами, слухи о ее похождениях, толки об отношениях царя Алексея и молодой вдовы, ее исключительное влияние при дворе и злоупотребление этим влиянием — все это пугливо отталкивало патриархально воспитанного в суровых и благочестивых правилах юношу. Он невольно прислушивался к нелестным эпитетам, пристегиваемым к имени, которое становилось ему дорого, присматривался к отношениям между нею и другими, с кем ее не боялись ставить рядом, и его сердце тревожно ныло, сомневаясь и боясь убедиться в чем-то ужасном.

Так прошло много дней и даже месяцев с их первой встречи. Леон Вахтангович пребывал в томительной тревоге, скучно живя изо дня в день и даже охладев к мысли найти свой кинжал.

Его друг, стрелец Пров Степанович, навестил его два раза по возвращении из Дубновки от отца, где пробыл несколько месяцев, спасаясь от преследования Черкасского, и радовался, что грузин, по-видимому, отказался от прежней упрямой мысли.

— Так-то лучше,— говорил он.— Кинжал что?! Плевое дело!.. Мало ли их у заезжих купцов? А Черкасскому лучше на глаза не показываться! Да, может, о нас и позабыл; говорят — женится, ему теперь не до нас!

Джавахов слушал своего нового товарища и укорял себя в бездействии. Отец уже раза два спросил у него, где дедовский кинжал, и Леон пробормотал в ответ, что отдал его кому-то из бояр «для поглядения». Старый грузин насупился, исподлобья посмотрел на сына, задумчиво покрутил седой ус, ничего не сказал; но Леону этот жест был хорошо знаком; он знал, что при следующем вопросе надо будет или показать оружие, или найти более правдоподобное объяснение его исчезновению.

— Надо приняться за розыски,— раздумчиво проговорил Леон, когда уже вошло солнце в это утро.— Нечего мне ходить к боярыне да учить ее играть на джиануре. Обабился я совсем. И когда только наше посольство уедет из этой печальной Москвы?

Еще становилось грустнее Леону, когда он вспоминал, зачем именно они приезжали в Россию. Там, на родине, братья бьются за веру и свободу, а он здесь распевает песни с красивой женщиной и служит ей развлечением!

Краска выступила при этой мысли на смуглых щеках юноши, он задыхался и отворил окно, чтобы вздохнуть свежим утренним воздухом.

Было еще довольно холодно, с улицы врывался влажный ветерок, и Леон, вздрогнув от охватившей его сырости, хотел уже захлопнуть окно, как вдруг его внимание привлек соседний дом, с некоторых пор снявший крепкие затворы со своих окон и дверей.

Леона всегда занимал этот таинственно заколоченный дом; часто, глядя на него, он сгорал от любопытства узнать историю его до сих пор невидимых обитателей. Однажды он заметил, что дом открыт и что в нем живут; но домовое крыльцо выходило на другую улицу, и люди мало и редко показывались на этой стороне, куда, прямо в сад, выходило всего два узких окна. Позже Леон несколько раз приметил в саду князя Пронского, но ни разу не поинтересовался узнать, как тот попадал сюда. И вдруг теперь в одном окне, точно видение, появилась молодая девушка с длинной, распущенной по плечам косой.

Леона поразила не красота девушки, которая вовсе не была выдающейся, а вдохновенное выражение ее лица, ее большие лучистые глаза, которые со скорбной мольбой были устремлены на небо. На бледном худеньком личике девушки лежало выражение страдания; ее губы что-то шептали, и она долго не

замечала устремленных на нее с невольным восхищением взоров молодого грузина. Наконец, видимо окончив молитву, она опустила покрасневшие и опухшие от слез глаза, и тут ее взгляд упал на Леона. Слабый румянец окрасил ее бледные щеки; стыдливым движением она закрыла руками обнаженную шею, и ее лучистые глаза на одно мгновение встретились с черными глазами грузина. Он хотел поклониться ей, сделать какой-нибудь дружественный знак, но она медленно отступила от окна и исчезла в глубине комнаты.

Образ этой девушки с устремленным на небо взором произвел неотразимое впечатление на смущенную душу юноши. Точно мечта или сказочная фея, мелькнула она на миг в этом окне, чтобы напомнить молодому грузину, что на небе есть Бог, к которому следует обращаться, когда на душе лежит тягость, когда сердце томится печалью.

Леон закрыл окно и вернулся на тахту.

Было рано, и в доме все еще спали крепким утренним сном.

«Кто же это была? — размышлял Леон. — Как она горячо молилась и как рано встала!.. Какое горе гнетет ее молодую душу? За себя ли, за кого ли другого молилась эта бедная девушка?»

И, раздумывая над этими вопросами, Леон закрыл глаза. Мало-помалу его веки тяжелели; смутное видение мелькало еще перед его умственным взором, но и оно скоро исчезло. Словно мир и успокоение снизошли в сердце юноши, и он безмятежно, крепко заснул.

Спал он долго; горячий луч солнца, назойливо мелькая по его лицу, напрасно старался разбудить его. Бессонная и тревожная ночь давала себя чувствовать, и теперь Леон отсыпался, отдыхая во сне и телом и душою.

— Вставай, ленивец! — стал тормошить его царевич Николай, весело смеясь и щекоча своего наставника. — Смотри, девушки уже к Куре за водой пошли! Вот, вот красавица Нина Каркашвили!

Леон с трудом открыл глаза и с удивлением оглянулся. Он только что видел во сне родное селение, слышал гиканье и хохот смелых джигитов, топот скачущих коней и серебристый голосок девушек, певших грузинские песни; его грело жгучее родное солнце, он ощущал теплые поцелуи матери и благоухание диких роз, обвивавших гирляндами окно его комнаты.

— Мама! — сквозь дрему произнес он, беря чью-то руку, ласкавшую его.

Раскатистый смех был ему ответом и согнал наконец с него сонную дрему.

— Вставай, вставай! Джигиты пришли за тобой! — хохотал царевич, от души веселясь сонным видом Леона.

— Ах, это ты, царевич? — громко зевая, разочарованно спросил Леон.

— Ах, это я! — шалил мальчик. — А ты думал — Нина. Или, еще лучше, та русская боярыня? Нет, Леон, кто так долго спит, тому не видать красавиц.

— Тебя мать прислала ко мне?

— Нет, отец! — ответил шутливо царевич. — Но, разумеется, не мой, потому что он у нечестивого шаха!

— Зачем я отцу?

— Дело есть. Ночью наши приехали; говорят, дедушка поднимается, сам сюда ехать хочет.

— Царь Теймураз сюда собрался? — вскочил Леон.

— А почему бы ему и не собраться? — возразил мальчик.

— Я думаю, у него другое дело есть, чем по гостям ездить.

— Ты, князь Леон, вздорное говоришь... Разве дед по гостям ездит? Разорили поганные персы царство его, куда же ему было идти, как не к Александру Имеретинскому? Я думаю, не чужой царь имеретинский моему деду? Тестем ведь приходится. И не в гости в Москву он едет, а дело делать, царя русского в помощники себе просить.

Леон, безнадежно махнув рукой, горько возразил:

— Который год живем на Москве, а много мы сделали?

— Потому и не сделали, что матушка не умеет дело это повести... женщина она.

— Ты бы помог! Тоже не маленький, скоро совсем джигитом станешь.

Мальчик потрогал верхнюю губу, будто поглаживая воображаемые усы, и свысока надменным взором окинул своего наставника:

— Я сказывал и матушке, и отцу твоему, что надо делать, — важно проговорил он.

— Что же, они не послушались тебя?

— Они ответили, что я ничего не понимаю, — насупившись, сказал будущий воин. — Вот дедушка приедет, я покажу им всем, как я молод.

— Что же ты советовал? — любопытствовал Леон.

— Подкупить бояр! — чуть смутившись, ответил царевич и заискивающе заглянул в глаза Леону. — Ты думаешь, они не подкуплены? О, еще как! — с убеждением произнес он.

Леон задумчиво посмотрел на мальчика. Ведь этот маленький царевич был прав. Ему, Леону, самому часто приходила мысль, что дела его родины потому и не подвигаются вперед, что грузинское посольство не умеет за дело взяться или жалеет денег на подкуп, думая, что русские сами пойдут навстречу желаниям Грузии, или же боятся попасться впросак и еще пуще напутать. Но откуда эта мысль могла зародиться и так крепко засесть в юной голове царевича — это удивило Леона, и он спросил об этом у мальчика.

— Откуда? — повторил царевич. — Да сам догадался.

— Ну, этого еще мало, — разочарованно произнес Леон. — А из чего же ты догадался?

— А матушка послала однажды четки из изумрудов и яхонтов той боярыне... толстой такой, с круглыми глазами... Милославской, что ли!.. Она как-то была у матушки, увидела четки, ее глаза так и запрыгали от радости, и стала она их не в меру хвалить... Ну, знаешь, матушка и отдала.

— Таков наш обычай, ты разве забыл это? — внушительно спросил Леон.

Мальчик пожал плечами:

— Мало ли что! Вон я тоже раз похвалил скакуна князя Буйносова, а он мне его и не отдал. Ну, так вот у боярыни той даже руки задрожали, когда она четки в дар получила. И уж как благодарила она матушку, как благодарила!.. Не пересказать...

— И из этого ты заключил, что бояр надо подкупать? — рассмеялся Леон.

— Ты думаешь, я правда так глуп? — задорно спросил царевич. — Вовсе не это заставило меня так думать, а то, что сейчас же вслед за этим матушку и позвали во дворец. И она увиделась наконец с царицей... и с царем! — победоносно закончил он и взглянул на Леона.

— Ну и что ж из этого? Я знаю об этом свидании: оно решительно ни к чему не привело. Царевну просили даже скрыть это свидание.

— Но все-таки царь обещал подумать о нас!

— Он уже много лет думает о нас,— с насмешкой и горечью возразил Леон,— а что нам из того? Лучше было бы, если бы о нас подумали бояре, стоящие у кормила правления.

— Их надо подкупить,— вновь упрямо повторил царевич.

— Ах да,— вспомнил Леон,— ты мне недосказал своего вывода. Ну, царевну Елену вызвали во дворец, что же из этого?

— А кто это устроил? — предвкушая торжество, спросил царевич.

— Не знаю! Вероятно... вероятно, боярыня... Хитрово! — неуверенно проговорил Леон.

Царевич медленно махнул рукой и презрительно улыбнулся:

— Твоя боярыня с первой же встречи матушку невзлюбила и никогда этого не сделала бы... От нее даже скрыли о нашем посещении дворца.

— Так кто же наконец?

— Нет, ты угадай! — томил князя мальчик.— Подумай! Вспомни, о чем я тебе говорил!

— Ах, да я не знаю; говори же наконец!

— Кому матушка подарила четки?

— Милославской.

— А Милославская кем приходится царице?

— Теткой!

— Какой? Любимой или нелюбимой?

— Ну, любимой, говорят.

— Так вот, стоило ей слово сказать, и мы были позваны во дворец. А почему она слово сказала?

— Потому что царевна подарила ей изумрудные четки! — смеясь, ответил Леон и похлопал мальчика по плечу.— Молодец!

— Итак, дарить следует всем нужным нам боярам.

— Но не все же бояре — любимые тетки царицы? — пошутил Джавахов.

— Кто-нибудь всегда чей-нибудь любимец! — глубокомысленно заметил царевич.

— Славный будешь правитель! — проговорил Леон.

Лицо мальчика вспыхнуло самодовольным румянцем. Он добился-таки, что молодой, но суровый наставник похвалил его и одобрил его предположение.

— Ты будешь умным царем! — произнес Леон.— Ну а теперь пойдем в кунацкую!

XIX

ГРУЗИНСКИЙ СОВЕТ НА МОСКВЕ

Кунацкой называлась комната, в которой происходили приемы гостей; в обычное же время этот покой служил им столовой, где все собирались пить чай, обедать и болтать в свободные часы.

Леон и царевич пришли в эту большую столовую, убранную наполовину по восточному, наполовину по русскому вкусу. На скамейках и столах лежали кавказские ковры; такие же ковры висели на бревенчатых некрашенных стенах комнаты, что придавало ей уютный вид; тахт и мутак по стенам не было, и все сидели на неудобных высоких скамьях.

Царевна Елена сидела молча посредине стола, грустно потупившись, и с тоскливым чувством на сердце слушала длинный рассказ грузина, приехавшего ночью. Он говорил о разгроме Тифлиса, о бегстве престарелого царя Теймураза к зятю и о смерти мужа царевны Елены.

Несколько раз поднимался со скамьи и говорил старый князь Джавахов; ему возражал почтенный князь Орбелиани, и еще несколько почтенных грузинских послов вставляли свои слова и выражали свои мнения; а царевна словно изваяние продолжала молча сидеть у стола. Да и что могла она сказать? Разве не много раз слыхала она в эти годы, еще живя в Кахетии, о том, что в 1650 году приезжал в Грузию посланный русского царя, боярин Никита Толочанов, что он принес ее свекру Теймуразу в дар от Алексея Михайловича соболей, что Теймураз бил челом и сказал посланному: «Прежде присылали ко мне по двадцати тысяч ефимков, а теперь мне с тобою не прислано?» Знала она и ответ посла: «Потому тебе денег не прислано, что про тебя великому государю было неизвестно, где ты обретаешься после своего разорения, как разорил тебя, по шаховому приказу, тифлисский хан; а как только твоя правда и служба объявятся великому государю, то тебя и больше прежнего царское величество пожелует».

Разве могла забыть царевна, как перевернулось в груди ее сердце, когда она услышала, зачем именно Толочанов приезжал в Грузию — чтобы взять с собою в Москву ее сына Николая. Сколько стоило усилий уговорить отпустить ее с посланником сына! Только надежда, что ее любимец породнится с великим

государем, придала ей силы на этот подвиг, но она решилась сама отправиться вместе с ним в далекую, страшную ей и неизвестную страну.

И как жестоко, как больно было ее разочарование! Как страдало ее материнское и царственное самолюбие, когда предполагаемого шурина царя встретили холодно, с каким-то недоумением, почти враждебно! Ни о каком сватовстве и речи не было, и царевна Елена скоро поняла, что она и Теймураз совершенно напрасно обольщались честолюбивыми мечтами. Царевны были гораздо старше тогда еще десятилетнего жениха и, видимо, сами вовсе даже не помышляли о замужестве; царь же и бояре, конечно, сватали им более выгодного жениха, а главное — ровесника их возраста.

Но, конечно, царевна Елена глубоко затаила обиду в себе, и о предполагаемом жениховстве Николая знали лишь она да князь Джавахов-старший. Царевич же, да и вся свита, конечно, понятия не имели о главной причине их поездки в Москву. И теперь, молча присутствуя на совете и слушая горячие споры приближенных, царевна с горечью переживала перенесенные ею обиду и разочарование.

— Зачем царевича требовали сюда? — горячился высокий немолодой грузин, недавно приехавший в Москву. — Когда в Грузию приезжал русский посол Толочанов, он требовал у царя Теймураза и другого его внука, Влавурсака, а зачем русским нужны наши царевичи?

— Влавурсака царь Теймураз не отдал, — степенно возразил Джавахов, — он послу вот какими ответил словами: «Влавурсака никому не отдам, мне самому не с кем будет жить, некому будет и душу мою помянуть». И царь Теймураз отказал послать своих внуков. Его самого московский царь к себе звал, а он и на то мудро сказал: «Когда будет мое время, тогда и поеду к государственной милости, а теперь еще побуду здесь». И не поехал.

— А все-таки одного внука послал! — заметил кто-то.

— На то его царская воля была, — возразил Джавахов.

— От этой посылки бог весть чего ждали! — заметил вновь тот же голос.

— Думали, выдаст в будущем царь свою сестру за нашего царевича, — вдруг объяснил высокий грузин, — а ни о какой свадьбе и слуха нет!

Царевна вспыхнула и гневно посмотрела на дерзкого, осмелившегося дотронуться до ее самого больного места.

При этих словах вошли царевич и Леон; оба отлично слышали их. Мальчик широко открыл свои и без того большие глаза, и в них отразились недоумение и любопытство, когда он изумленно взглянул на мать.

Царевна закусила губы и отвернулась.

— Зачем языком болтаешь, чего не знаешь! — строго остановил грузина Вахтанг Джавахов.

— Все о том говорят в Грузии, — ответил грузин.

— Женщины говорят! — насмешливо возразил Орбелиани, смекнувший, что царевне этот разговор неприятен. — Какой же царевич жених? Ему еще учиться надо. Долго пришлось бы дожидаться свадьбы!

— А зачем же царевича вызвали в Москву? — не унимался высокий грузин.

— Мало ли зачем! Вот скоро и сам царь Теймураз сюда придет, — сказал Джавахов. — Может быть, тоже жениться?

— Расскажи, князь, — обратился царевич к молодому грузину, — где же дедушка?

— Царь Теймураз в Имеретии у царя Александра.

— Все еще там? Дедушка очень горюет?

— Как же не горевать, лишившись своего царства, скитаясь по чужим краям, прося милости, крова и пищи. Всякому это горько, а могущественному грузинскому царю и того горше! Сколько раз грузины имели славные бои и всегда побеждали! Не многолюдством, а верою и молитвою, и Бог всегда помогал нам. А теперь, верно, грешны мы стали — отступил от нас Господь Бог, лишила нас заступничества Богоматерь, и царь наш как изгнанник должен скитаться по чужим землям!

Голос рассказчика дрогнул, и все слушатели безмолвно поникли головами.

После непродолжительного молчания заговорил совсем старый, седой как лунь грузин.

— Сам царь Теймураз во всем и виноват, — неожиданно проговорил он и начал в подробном рассказе излагать для сведения всего грузинского совета историю недавних сношений их царства с Россией.

Он говорил о том времени, когда стал теснить Грузию шах Аббас; царь Теймураз тогда растерялся, помощи стал у всех просить, к русскому царю послов послал, в холопы просился, заступничества молил! Грузин, свободных сынов гор, вздумал он отдать в подданство русскому царю, лишь бы только полу-

чить несколько тысяч ратных людей! А что получил? Русским некогда было заниматься далеким царством, от которого они мало ждали пользы. Вот они и оставили Грузию беспомощной, слабой, на разор соседним народам, и те стали над грузинами издеваться. Смеялись, говорили: «Вы поддались московскому государю, он вас и должен выволить; а он вас выдал, за вас не вступается, что ему до вас?» — и стали смелее разорять Грузию. Но Теймураз все не переставал проситься «в холопы» к русскому царю.

Едва на престол московский вступил нынешний царь, он опять униженно написал последнему: «Как у отца твоего был я с сыном своим и со всею Грузинскою землею в холопстве, так теперь и тебе, великому государю, бью челом в холопстве; внука своего пришлю тебе в Москву в холопы. Да вели к нам послать митрополитов, сколько изволишь, государство грузинское — Божье да твое; и вера так же была справлена, как и в твоём великом государстве». Но царю московскому опять было не до Грузии.

Шах Аббас, узнав, что Теймураз бил челом русскому царю, напал на Грузию, разорил ее и убил сына Теймураза, а дочь увел в Персию и выдал насильно за своего отца Сафи, православная грузинка обасурманилась. Тогда Теймураз окончательно испугался нагрянувшей на него беды. Совсем сбили его с толку, и он велел сказать русскому царю, что и послал бы ему своего внука Николая, да боится шаховых людей — они, мол, его не пропустят. И вот только на это предложение из Москвы был прислан наконец Никита Толочанов с соболями, а помощи и ратных людей так народ грузинский и не увидел.

— А по-моему, — закончил свой рассказ седой грузин, — самое лучшее будет, если мы вернемся в Кахетию и уговорим царя собрать имеретинский, дадыанский, гуриельский, гурийский и другие соседние народы и подняться всем нам на шаха Аббаса своими силами.

Князь Джавахов, все время молча и внимательно слушавший речь грузина, тяжело вздохнул.

— Ты хорошо говоришь, князь Зичианов, — сказал он, — и все правдиво сказал, но ты забыл, что все соседи мирной Грузии перессорились между собой и никогда не могут действовать согласно. И вот почему из могущественного когда-то царства мы делаемся ничтожными подданными другого царя, чуждого нам по крови и обычаям!

Безысходной печалью веяло от слов старого славного служки, и слезы грусти блеснули в его глазах.

Царевич Николай слушал речи стариков с нахмуренным челом. Воспитанный в любви и почтении ко всем старшим, он не мог громко возражать на их речи, но в душе ему было больно это осуждение действий любимого дедушки, которого он со свойственным детям обожанием считал безупречным.

Леон слушал прения стариков рассеяннo. Он уже давно привык к речам грузинских стариков, к их безрезультатным спорам и легкомысленным мечтам. Ему сделалось скучно, и он стал думать о девушке, виденной им утром в окне.

— Теймураз предлагал своего старшего внука Иоасафа в шурины Алексею Михайловичу,— произнес между тем князь Зичианов,— но, видно, такое родство царю не нравится. А чем? Разве цари грузинские ниже царя московского родом?

— Царь Баграт еще во втором веке пришел царить в Грузию, когда Русь еще и не существовала.

— Зато теперь московский царь могуч,— возразил Джавахов,— а Грузия ничтожна! Родниться с нею какая честь?

— А сколько богатств в Грузии, какая у нас плодородная земля! — возразил Зичианов.— Разве есть на Руси что-нибудь похожее на нее? И отказываться от такой страны!..

— Они все равно не сумеют обращаться с нашей землей, не сумеют добыть из нее богатств,— заметил Джавахов.— Так ты говоришь,— обратился он к высокому грузину,— что наш царь собирается в Москву?

— Да. Ему у царя Александра тяжело, скуден он всем, а в свое государство от неприятелей ехать не смеет.

— А бабушка тоже с ним? — спросил царевич.

— И царица с внуком и внучкой, и всего человек с триста людей.

— А зачем царь едет сюда? — спросила царевна.

— Хочет служить великому царю московскому.

Бледные щеки царевны вспыхнули, и губы дрожали, когда она заговорила:

— Служить? Царь грузинский будет служить!

— Это так, царевна, по-русскому говорится,— объяснил Джавахов,— а поистине он в союзники к нему просится.

— На что такой союзник нужен московскому царю? — с горечью произнесла царевна, но ей никто не ответил.

Уже давно лучшие умы Грузии признавали, что их царству настал видимый конец; вопрос был только во времени и в том еще, кто именно наложит на него руки. Очевидно, Московское государство, гигантскими скачками поднимавшееся в своем могуществе, не торопится воспользоваться своим преимуществом и не желает налагать на Грузию свою тяжелую длань; кто знает, не раскается ли оно со временем в своем надменном пренебрежении?

Теперь грузин угнетала одна забота, чтобы персы или турки, убедившись, что Грузия не в силах защищать себя, не поделили ее между собою или просто не забрали в свою власть и не обасурманили грузин, обратив их в магометанскую веру.

— Мы много лет прожили в Москве, а ничего для родины не сделали,— проговорил Орбелиани.

— Что же нам делать? — спросила царица.

— Нам — мало что делать, потому что мы только умеем владеть оружием, а ты, царица, — женщина... А женщина может все сделать! Подружись с царицей, с царевнами, с этой всевластной боярыней...

Царица невольно вздрогнула при воспоминании о надменной царской любимице.

— Я знакома с ними,— тихо возразила она.

— Этого мало. Сделайся для царицы тем же, что эта боярыня.

— Разве я могу? — гордо спросила царица, вся вспыхнув.— Разве я могу стать холопкой?

— Ты не так поняла меня, царица,— сказал Орбелиани,— я не советую своей царице поступать, как не подходит ее сану. Но дружба с русской царицей не зазорна грузинской царице...

— Позвольте мне слово молвить,— вмешался наконец все время молчавший Леон.

Отец, сдвинув сурово брови, глянул на него. С некоторых пор он был сильно настроен против сына. До него стали доходить слухи, что Леон слишком часто бывает у боярыни Хитрово, что его занятия с царевичем идут вяло, что он потакает во всем мальчику. Но главное, что сердило старика, так это таинственное приключение с кинжалом; он чувствовал, что тут что-то произошло, о чем сын не хочет сказать ему, и эта-то скрытность сильно раздражала князя.

— Ну, что ты можешь сказать? — спросил он, недружелюбно посмотрев на Леона.

Последний смешался от такого явного пренебрежения со стороны отца, тем более что отлично понимал причину такового и сознавал, что старик имеет основание сердиться, и замолчал на полуслове.

— Говори, коли начал,— одобрил его князь Орбелиани.— Всякий совет не лишний.

— Я пригляделся к здешним обычаям,— неуверенно начал Леон,— и кажется мне, что надо бы подкупить кое-кого из бояр!

Грузины с недоумением посмотрели на молодого человека, а его отец махнул рукой и, усмехнувшись, промолвил:

— Ну, что же я говорил? Что может он сказать толкового? Совсем с пути сбился молодец!

Леон вспыхнул, хотел резко возразить отцу, но вовремя удержался и только до крови закусил губы.

За него неожиданно вступилась царевна.

— Князь Леон прав,— тихо проговорила она.— Я тоже думаю, что давно следовало сделать подарки кое-кому из бояр.

— Подкуп бояр? Это опасный шаг! — проговорил какой-то осторожный грузин.

— Да и кого подкупать? — спросил Джавахов.

— Милославского лучше всего,— ответил Леон,— он принимает подарки и пользуется большим влиянием при царе.

— Ой уж мне этот советник! — покачал головой Вахтанг Джавахов.— Введет он нас в беду!

— Мое дело сказать, а ваше — принять или отвергнуть,— задетый за живое, ответил Леон.

Грузины стали совещаться, а князь Вахтанг подошел к сыну и сурово спросил его:

— Где твой кинжал?

— Ведь я уже сказал тебе, отец!

— Ты солгал и должен сказать мне теперь правду. Сейчас говори! Слышишь? Я хочу знать!

Старый князь был страшен в гневе, и сын совсем растерялся, зная, что последует, когда отец узнает, что кинжал потерян.

Но между отцом и сыном вдруг встал царевич.

— Не сердись, князь Вахтанг,— проговорил мальчик,— Леон не виноват! Хочешь, я тебе скажу, что случилось с его кинжалом? Но только отойдем в сторону, а то они мешают своими разговорами!

Царевич отвел старика в противоположный угол комнаты и там подробно рассказал о случае с Леоном.

Мальчик говорил горячо и старался выгородить своего наставника перед отцом, а когда кончил, то, заглядывая под наспуленные седые брови в глаза князю, спросил:

— Ты видишь, Леон ни в чем не виноват, не правда ли?

— Так зачем же он скрыл от меня потерю кинжала? — упрямо спросил старик.

— Леон боится тебя, князь Вахтанг!

— Боится, значит, знает, что совершил нехорошее дело.

— Что же худого он сделал, князь?

— Разве он отмстил обидчику, осмелившемуся оскорбить Джавахова? — сверкнув глазами, спросил князь.

— Но он поразил его кинжалом! — произнес царевич.

— Хорош удар! — презрительно возразил Вахтанг. — Враг остался жив!

— Он не убийца! — гордо повторил мальчик слова юного наставника.

Старый грузин холодно посмотрел на царевича.

— Это тебя Леон научил? — проговорил он. — Хорошему же он тебя учит! Ты не будешь уметь держать оружие в руках с такими понятиями. Нас учили за обиду убивать, — с горечью произнес Вахтанг, — а вас, юношей грузинских, скоро будут безнаказанно бить по лицу!

Лицо царевича перекосилось, глаза засверкали, как у молодого львенка, и он схватился за свой кинжал.

— Потихе, потихе, мальчик! — остановил его князь, положив свою сильную, загрубелую в боях руку на его плечо. — Ты еще молод, чтобы грозить старику!

— Да, счастье твое, что ты старик, а то я показал бы тебе, что оскорбления не остаются у нас безнаказанными, — надменно произнес царевич.

Эта вспышка очень понравилась старому князю.

— Ну, ладно, — спокойнее проговорил он. — Так помоги вот сыну вернуть наш старый дедовский кинжал!

— Я сам верну его, — вмешался Леон, недовольный тем, что отец дает ему в компаньоны мальчика.

— Что ж ты до сих пор не взял его?

— Некогда было, — хмуро ответил Леон.

Царевич стал проситься взять и его на поиски.

— Возьми его, — произнес старик Джавахов, — он славный будет воин.

— Да на что он мне? — уклонился Леон. — Если понадобится, возьму.

В это время кончилось совещание совета. Приближенные царевны решили попытаться одарить боярина Милославского и через его сестру действовать в пользу Грузии.

— Кто повезет подарки? — спросил князь Зичианов.

— Ну, хотя бы ты, князь, — предложили ему.

— Нет, меня увольте! — возразил он, кланяясь. — Устал я и стар для этого тонкого дела; лучше просите князя Орбелиани.

— Я сделаю, что мне прикажет моя царевна, — почтительно склоняясь в ее сторону, ответил Орбелиани.

— Я прошу тебя, князь! — скромно опуская глаза, ответила польщенная Елена Леонтьевна.

Порешив на этом, грузины стали расходиться. Все поочередно подходили к царевне и низко кланялись ей. Она сидела не шевелясь, потупившись; возле нее стоял царевич и важно отвечал на поклоны грузинских князей.

XX

ВОРОЖЕЯ МАРФУША

Внешне избушка ворожей Марфуши несколько не изменилась с тех пор, как в ней побывала несколько лет назад боярыня Елена Дмитриевна. Внутри она была все так же грязна и неуютна, и по-старому сидела над котелком с варящимися в нем какими-то травами Марфуша.

Годы точно не коснулись ее худощавого цыганского лица; на нем так же светились энергией и силой мрачные темные глаза, пытливо высматривавшие из-за нависших надо лбом всклокоченных, черных как смоль волос. Только вокруг рта лежала складка не то презрения ко всему окружающему, не то затаенного горя.

Помешав травы, она встала, подошла к маленькому слюдовому оконцу и посмотрела на улицу. Было темно, хоть глаз выколи; кругом пустынно и глухо, только слабое журчание ручейка доносилось откуда-то неподалеку.

— Никто больше не придет, поздно... да и время не для волшебства, — проговорила Марфуша, и странная усмешка тронула ее бледные губы. — Вишь, Вербная неделя; они ее чтут и во-

рожить не станут... Верующие ведь! Много ли сегодня наработала?

С этими словами она задернула оконце платком и пошла к маленькому сундучку, стоявшему рядом, в чуланчике. Вытащив его на середину избы, она присела на корточки и замысловатым ключиком отперла свою сокровищницу, на дне которой оказались груды золота и медной монеты.

Глаза ворожеи потускнели, подернувшись точно слезой.

— Сколько бед натворило это золото,— прошептала ворожея,— и все-таки мне еще мало! Этого не хватит, чтобы сделать счастливой мою Танечку! Ах, Таня, Таня, ради тебя терплю я муки, души загубила и свою и людские, а тело мое слабое ежеминутно адова огня трепещет! Матушка, матушка,— вскрикнула она,— завета твоего не исполнила!

Большой черный кот — неременная принадлежность каждой чародейки того времени,— ласково мурлыча, потерся о ее колени.

Ворожея погладила его по мягкой спинке.

— Бедные мы с тобою, Клубок! Когда-то страда наша кончится?

Кот поднял голову и пошевелил ушами.

— Что, Клубок, или идет кто-либо?

И действительно, возле избы слышались голоса и проклятия.

Ворожея быстро убрала сундучок и боязливо стала прислушиваться. Поздние гости говорили на незнакомом ей языке, а один из голосов был детский. Но скоро ворожея услышала и настоящую русскую брань.

— Чтобы черти тобой подавились, хрычовка некрещеная! Дома, что ль, тебя нет? Князь Леон, подожди маленько! Ежели нет ее, лешихи, всю избу разнесу! — И тот же голос тихо спросил: — Что, царевич, испугался?

— Я? Вовсе нет! — ответил детский голос, видимо бодрясь.

— Не надо было так поздно, ведь ничего не видно,— проговорил сильный мужской голос.

— Я-то знаю ее чертову избу,— кричал русский, и Марфуша узнала в нем молодого стрельца Прова Степановича.— Да ответишь ли ты, сучья печень? — заорал он во все горло.

— Может, ее и в самом деле нет? — спросил Леон.

— Должна пронюхать, дьяволицына дочь, что мы золота ей кучи навезли!

— Только ты ей не говори, кто мы,— посоветовал Леон, когда под напором стрельца дверь заскрипела.

— Кто там, что надо? — сонным и хриплым голосом спросила наконец Марфуша.

— Открывай, рачье пузо!

— Да ты не больно ори, а сказывай, что надо?

— На то ты и ведьма, чтобы знать, зачем к тебе люди ходят! Разве не почуяла запах денег?

Ворожея постаралась хрипло рассмеяться и отворила дверь, после чего стала рассматривать пришельцев. Она имела довольно много дел с боярами и боярынями, часто толкалась и в теремах, чтобы тотчас же, по осанке, узнать в пришедших знатных людей.

«Какого царства князья?» — думала она и старалась вспомнить, где видела таких чернооких, смуглых красавцев, как этот мальчик и его спутник.

Леон и царевич были в русских шубах и шапках, не желая открывать ворожее своего звания. Но их жгучие глаза и гибкие движения скоро навели старуху на мысль, что это могут быть только грузины, которыми она всегда при встрече на улицах любовалась.

«Грузинской царевны, должно быть, сын и его дядька», — подумала она и проговорила вслух:

— Садитесь, бояре!

— Что за варево мастерила? — спросил Дубнов.— Верно, зелье какое? По чью душу?

— Ты разве, боярин, за допросом пришел?

— Не очень-то я верю твоим снадобьям,— проговорил Дубнов, беспечно рассмеявшись.

— Зачем же тогда ко мне-то пришел?

— Куда люди, туда я. Вы, бабы, нюх особый имеете: может, и скажешь что-либо по нашему делу.

— Скажу, скажу, Пров Степанович! — проговорила ворожея, пристально взглянув на стрельца.

— Кой черт! — пугливо озираясь, воскликнул Дубнов.— Кто сказал... тебе мое имя? Воистину ведьма!

Ворожея усмехнулась — в одну минуту из-под лавки выполз Клубок и стал ластиться к гостям.

— Да воскреснет Бог и расточатся врази Его! — прошептал, крестясь, Пров Степанович.— Сгинь, сгинь, рассыпья!

Но кот не «рассыпался», а сильным скачком прыгнул на колени к царевичу.

Тот в одно мгновение выхватил кинжал и занес его над животным.

— Стой, больно прыток! — стиснула ему руку Марфуша. — В чужой избе да убийство учинять? Ишь, волчонок!

— Зачем такая падаль в доме? — сердито сказал царевич, стараясь хорошо выговорить по-русски слова. — Ты, верно, и вправду ведьма?

— А если бы я не была ведьмой, разве ты, царевич, пришел бы ко мне темной ночью, скрываясь от людей?..

Леон и царевич тревожно переглянулись. Их инкогнито было открыто, и это им было весьма неприятно, но этим ворожея подняла в их глазах свой престиж.

— Она действительно всеведуща, — по-грузински сказал царевич Леону.

— Тем лучше: значит, она нам непременно поможет, — ответил князь Леон и, обращаясь к Марфуше, произнес: — Ты права, женщина, мы пришли к тебе, чтобы узнать то, что скрыто для очей простых людей. Какой силой ты узнаешь тайны, известные одному дьяволу, не наше дело. Ты сама за это ответишь, когда придет твое время. А теперь на! — и он бросил ей на стол небольшой мешочек, наполненный медными деньгами, только что пущенными недавно царем в оборот по совету боярина Федора Михайловича Ртищева.

— Нехорошие деньги! — брезгливо поморщилась ворожея. — Много бед наделают медные деньги! — ироническим тоном проговорила она.

После неудачного похода под Ригу, малороссийских замятен и бесконечной тринадцатилетней войны Московское государство, едва успев оправиться от Смутного времени и моровой язвы, искало возможности как-нибудь парализовать последствия всех этих бедствий. От тяжких податей изнемогал народ, а торговые люди изнывали от непосильных налогов. Уже в 1656 году казны не достало ратным людям на жалованье, и государь велел пустить в народное обращение медные деньги, которые должны были по нарицательной цене заменить серебряные. В следующие два года эти деньги действительно ходили как серебряные, но затем стали понижаться в цене, а именно на рубль надобно было «наддавать» шесть денег, а потом «наддача» все подымалась и подымалась. Наступила во всем страшная доро-

говизна; указы, запрещавшие поднимать цены на необходимые предметы, уже не действовали. Часто случалось, что ратные люди не брали жалованья медными деньгами, явилось множество воровских медных денег, начали хватать и пытаться людей. Все стали как огня бояться медных денег.

У ворожеи таких денег не было — она искусно выучилась отличать фальшивые от настоящих и не попадалась впросак; если же и случалось, что она в темноте недоглядела, то она бросала эти «воровские деньги» в реку, протекавшую недалеко от ее дома.

— Ну, что же скажешь ты мне, — начал Леон, — о моей пропаже?

— Какая пропажа? — спросила Марфуша.

— Ай да ведьма! — закричал стрелец. — Спрашивает, угадать не может. Должна же ты сама знать...

— Только и дела у меня есть, что ваши дела знать, у кого что пропало! Одной головы мало!

— Узнала же, кто мы таковы?

— Это другое дело! Не думавши угадала. Ну, сказывайте скорей, у кого что пропало?

— Да, правду сказать, мы знаем, у кого наша пропажа, только надобно нам узнать, где она припрятана у него.

— Да сказывай толком все подряд! — нетерпеливо проговорила ворожея, обращаясь к Дубнову.

— Сказывай, князь, — обернулся стрелец к Леону.

— Кинжал у меня... — запнулся Леон. — У одного человека... надо бы узнать, куда он его припрятал и отдаст ли добром, или силой, или хитростью? Как мне свое добро придется вернуть?

Пока Леон излагал свое дело, ворожея пристально смотрела на него; его слова будили в ее памяти какие-то воспоминания, но она никак не могла припомнить, где и что именно слышала о кинжале.

— В драке он кинжал свой посеял, — объяснил ей Дубнов, — а боярские холопы его и подобрали.

Стрелец остановился, вспомнив, что князь хотел сохранить полнейшую тайну об обстоятельствах потери кинжала.

Ворожея сразу вспомнила, что по этому делу приходила уже к ней управительница князя Черкасского, Матрена Архиповна, чтобы узнать имя обидчика своего боярина. Но до сих пор Марфуша не могла ей открыть это имя, так как положительно никто на Москве не говорил ни слова об этом.

Хитрая ворожея мигом смекнула, что счастливый случай разом предавал ей в руки обоих противников; она могла теперь услужить им двоим, а вместе с тем и упрочить свою славу всеведущей волшебницы. Конечно, и мысль вдвойне заработать деньги промелькнула у нее. Особенно не пожалеет денег князь Черкасский, чтобы узнать подлинное имя своего врага.

Живо сообразив все это, Марфуша окончательно поразила своих гостей, неожиданно промолвив:

— Испужался, Пров Степанович, что обмолвился? Небось все равно я обо всем прозрела, все провидела: князь этот самый ударил своим ножом нашего князя Григория Сенкулеевича Черкасского, и нож остался на месте боя, а оттуда взяли его княжеские холопы. Так ведь, что ли?

Все трое вздрогнули, а молодой стрелец торопливо осенил себя крестным знаменiem и прошептал молитву.

— Так где же мой кинжал спрятан у князя? — оправившись от первого неприятного впечатления, спросил Леон.

— Ну, красавец, этого сейчас я тебе сказать не могу... Надобно мне погадать об этом! — И ворожея, сев к таганчику, начала варить свое зелье.

— А можешь ли ты сказать, добром ли вернет он мне мой кинжал или как? — спросил Леон.

Ворожея ответила не сразу; она сняла с огня котелок с варевом и подкинула чего-то на уголья, что вспыхнуло вдруг сильным и высоким пламенем; на мгновение пламя осветило красноватым светом лица ворожеи и ее гостей; потом что-то сильно затрещало, и по избе распространился тяжелый, удушливый серный запах.

Дубнов снова закрестился, шепча молитвы, и потянул за полу Леона.

— Уйдем, ну ее! Еще его вызовет!..

— Постой, пусть же она скажет, — шепнул ему Леон.

— Нет, не отдаст! — громко произнесла ворожея. — Потому что боярин очень гневен и нож тот пребогатеющий.

— Значит, силой надо добывать свое добро? — с горечью спросил Леон. — А ты мне скажешь, куда он его схоронил?

— Скажу, — неохотно ответила ворожея. — Приходи недель этак через пяток! А тебе что, боярин молодой? — ласково обратилась она к царевичу.

— Мне ничего. Я пришел с товарищем.

— Дай ручку, погадаю,— попросила она, протянув к нему свою сухую, смуглую руку.

Мальчик брезгливо отдернул свою.

— На-ка, лучше мою посмотри,— предложил ей стрелец свою широкую ладонь.

Ворожея взяла его руку с нескрываемым любопытством и стала внимательно разглядывать резко очерченные борозды и линии его ладони. В избе наступила глубокая тишина.

— Ну что, скоро ты насмотришься? — спросил Дубнов, которым начало овладевать суеверное беспокойство.

Ворожея вдруг насупилась, недружелюбным взглядом окинула молодого стрельца и с недовольным выражением лица отшвырнула от себя его руку.

— Что ж так немилостиво? — усмехнулся Пров Степанович.— Иль плохи мои дела?

— Лучше и желать нельзя,— неопределенно ответила ворожея.

— Любит, значит, меня моя любушка?

— А ты разве этого не знаешь? — холодно спросила Марфуша.— Как зовут твою любушку? — раздумчиво проговорила она.

— Ох, чародейка-бабушка! — сорвав шапку с головы и ударив ею о стол, с грустью произнес стрелец.— Извела меня девка-то! Ни в вине, ни в разгуле красу ее неумогу мне забыть! Хоть бы ты что дала, чтобы ее сердце приворожить ко мне!..

— А что, не любит она тебя?

— А кто же знает девичье сердце? Издевки надо мной, молодцом, творит; часом, думаешь — любит, а другим разом — хоть и глаз не кажи. Дай зелья какого-нибудь! — попросил Пров Степанович, и его добродушные глаза глядели так грустно и так умильно на ворожею, что она отвернулась и уже смягченным голосом проговорила:

— Как зовут... зазнобу-то твою?

— Татьяной.

Ворожея дрогнула так, что котелок с зельем, который она держала в руках, свалился прямо на уголья и, разбившись, потушил огонь, еще слабо тлевший. Но затем она выпрямилась, грозная, негодующая, и глухим, как бы пророческим голосом проговорила:

— Ступай, молодец!.. Забудь Татьяну... Не забудешь — худо тебе будет, ой как худо!

Пров Степанович с удивлением и горестью посмотрел на ворожею.

— Чего ты разгневалась так-то? Или жаль котелка стало? Так ведь я заплачу, если надо.

— Не надобно мне твоих денег,— еще глуше произнесла Марфуша и оттолкнула деньги, предложенные ей стрельцом.

— Как хочешь! Твое дело! А только чего серчаешь — и в толк не возьму. Прощенья просим! — небрежно кивнул стрелец головой и двинулся к дверям.— Пойдем, князь, всего наслушались, будет!

Но Леон, по-видимому заинтересованный гаданием ворожеи, попросил Марфушу погадать и ему в свою очередь.

Марфуша, все такая же сумрачная, молча всмотрелась в руку грузина, через несколько секунд опустила ее и, с участием взглянув на молодого князя, произнесла:

— Не видать тебе счастья... рано умрешь!

— И на том спасибо! — весело усмехнулся Леон, лихо сверкнув глазами.

— Экий красавец! — с сожалением проговорила ворожея.— Ты понаведайся ко мне, князь! Зайди как-нибудь попозднее.

— Ну, погадай уж и мне! — решившись наконец, робко протянул ей свою руку царевич.

— Славная у тебя рука, молодецкая! — погладив его руку, сказала ворожея.— И лицо и осанка царские... а царем тебе, царевич, не бывать... Не сетуй на меня за это — язык мой вторит только знакам твоей руки... На ней так написано, не выдумала я.

— Я и не сержусь на тебя, женщина,— важно произнес царевич,— дивлюсь я твоему искусству.

— Ну, идем, что ли! — крикнул с порога стрелец.— Нечего слушать вздорные бабьи речи! Ведь это все одно, что за советом к пауку ходить! — крикнул Пров Степанович, обозленный предсказанием ворожеи.

Она проводила его недружелюбным взглядом и проговорила вполголоса:

— А Татьяны тебе не видать как своих ушей! Не видать тебе ее, голубчик, этому предсказанию можешь поверить, молодец!

Леон и царевич последовали за своим товарищем.

Марфуша потянула Леона за рукав шубы. Он отстал от своих спутников, задержался на минутку в сенцах, и она прошептала ему:

— А ты зайди, князь, ко мне, авось что-либо и сделаю для твоего дела! Может, судьбу-мачеху и обойдем как-нибудь. Такому-то молодцу да счастья не видать — кому же тогда и видеть его? Неужто ж тому? — кивнула она на вышедшего уже Дубнова.

— За что ты невзлюбила его? — тихо спросил ее Леон, удивленный участием к себе старой странной женщины.

— Хочешь, покажу тебе Танюшу, его зазнобу? — насмешливо сделала она ударение на последнем слове. — Красавица, что и говорить!

— К чему это мне? Не надо мне, не надо! — насмешливо проговорил Леон и пошел вон из избы, торопясь на зов царевича и окрики Прова Степановича.

Ворожея злобно посмотрела ему вслед, но ее хмурое лицо скоро разгладилось, и на губах даже мелькнула улыбка надежды. И она заговорила, как бы желая успокоить себя:

— Увидит Танюшу, тогда не скажет «не надо». Поди, еще раз запросится! Такому красавцу только и под стать, что моя Танюша, хоть полсвета обыщи и обегай. Он хоть и князь, а, верно, бедный; страна-то их, сказывают, пребеднящая, а Танюша богата, ой как богата!

На этот раз она прервала свои мысли и глубоко задумалась.

XXI

ВОСПОМИНАНИЯ ЦЫГАНКИ

Не всегда Марфуша была мрачной, косматой, всеми презираемой «ведьмой». Когда-то она была хорошенькой черноглазой девочкой, которую все дворовые люди в доме князя Хованского любили и баловали. Она жила с матерью в небольшом домике, окруженном садом, в двух маленьких горницах с крылечком и кухонькой; на окнах висели всегда чистые занавески, а летом появлялись в их домике и цветы, которые так любила цыганка Мара, Марфушина мать; стол в горнице был всегда покрыт белой холстиной, а спала Марфуша на мягкой перине рядом со страстно любившей ее матерью.

Девочка не могла припомнить мать иначе как только лежащей либо в постели, либо на скамье. Какой-то тайный недуг снедал красавицу цыганку, вольную дочь степей, и она таяла от этого недуга день ото дня, как воск от горячего пламени. По

целым дням лежала она с запрокинутой головой, а ее огромные черные глаза всегда так уныло, так безропотно направляли свои взоры в окно, в глубокую даль, с такой тоской следили за полетом ласточек, что каждому становилось невыносимо грустно смотреть, как увядал, как засыхал этот роскошный полевой цветок, схваченный жестокой рукой и сорванный ею в самую цветущую его пору.

Не радовали красавицу Мару ни дорогая парча, ни цветные мониста, которыми одаривал ее боярин Дмитрий Федорович Хованский; слабая улыбка появлялась на ее смуглом лице, исхудалом, но все-таки прекрасном, только тогда, когда она видела яркие живые цветы и вдыхала их свежее, веселое благоухание. Но боярин не понимал этой страсти; он приносил ей вороха драгоценных даров, требовал за все это благодарностей, восторгов и ласк и выходил из себя, когда купленная им за большие деньги красавица оставалась холодна. Бедный ребенок степей дарил благодарной улыбкой лишь свою дочь да тех еще, кто приносил ей что-нибудь, напоминавшее ее сердцу о воле.

Марфуша знала, какие цветы ее мать любит больше всего; она бегала летом по полям и разыскивала их. Вся зарумянившаяся, загорелая, с вьющимися по плечам волосами, прибежала она к больной с полной охапкой цветов. Мать приглаживала ей волосы своей исхудалой рукой, и слезы медленно-медленно катились по ее уже впалым щекам. Эти слезы всегда смущали девочку, ей хотелось порадовать больную, а вместо радости выходили лишь слезы, но спросить о причине их Марфуша не решалась.

Так прошло несколько лет. Марфуша подрастала, а ее мать медленно таяла, теряя красоту. Боярин все реже и реже посещал маленький домик и уже давно перестал посылать туда подарки. И слезы на лице Мары уже никогда больше не высыхали. Однажды — это было весной — Марфуша прибежала с целым пучком ландышей в руках и рассыпала их на постель матери. В этот раз Мара не заплакала; она положила свою руку на головку дочери и сказала ей такие слова, которые запали в душу девочки на всю жизнь:

— Слушай, Марфуша, что я тебе скажу, слушай и запомни. Боярин, враг наш, женится! Ты ведь знаешь, о ком я говорю?

Марфуша молча кивнула головкой. Еще бы ей не знать того, кого ее мать называла «врагом»! Она сама так боялась и так не любила боярина, когда он своей рукой трепал ее по щеке и

смотрел на нее холодными как снег глазами. И часто говорил он ей с какой-то невеселой улыбкой своим жестким голосом: «Расти, расти, девочка! Вырастешь, хорошего мужа найдем». Казалось, он хотел шутить с девочкой, но от его шуток по спине ребенка всегда ползли мурашки, и она жутко поеживалась под его острым, стальным взглядом. Марфуша, конечно, знала, что он был ее отцом: мамушка и нянюшка, жившие в хоромах, часто, глядя ее черные курчавые волосы, ласково шептали ей:

— Лицом-то вся в него, вся в него, только глаза да волосы матери! Барское дите, что и говорить!

Все эти разговоры, вздохи и ахи отзывались на чуткой душе девочки и заставляли ее внимательнее вглядываться в окружавшие ее отношения.

— Так слушай же! — продолжала Мара. — Купил он меня силком, против воли моей, у нашего табора. Я была дочерью богатого и набольшего цыгана; весь табор ему подчинялся; я вышла красой на славу. Матери я не знала с трех лет; увез ее кто-то от нас, она сбежала назад, в табор, да сил много в том беге потеряла и скоро скончалась. Отец любил меня, а... все-таки продал! Так требовал табор! Большие деньги за меня дали. Я была невестой: цыгана молодого любила, любила больше жизни, больше воли, и он любил меня! — Мара замолчала, закрыла глаза, и на ее лицо легла такая мука, что у маленькой Марфуши сердце в груди перевернулось. — Когда продали меня, Зардай повесился... О том сказала мне одна цыганка, долго-долго спустя. Тебе не понять теперь, как я страдала, идя в неволю, покидая родимые степи и милого друга. Боярин Хованский много денег дал за меня, обещал и жениться. Крепко любил он тогда меня, сперва жизни за меня не пожалел бы, да противен он мне был, постылый, хуже смерти. Руки на себя пыталась я наложить, да спасали, а потом караулить стали. Вскоре и ты родилась... Отошла я... Сперва ты мне ненавистна была, а как увидела я тебя, маленькую, слабенькую, так и полюбила, горемычная, всем своим сердцем несчастным.

Марфуша припала, благодарная, к рукам матери.

— А он, — продолжала Мара уже слабеющим голосом, — боярин Дмитрий Федорович, отец-то твой, все любви моей домогался, в ногах у меня валялся, руки мне целовал... Ну... и полюбила я его! За тебя ли, за сироту, за жизнь ли свою разбитую, но полюбила!.. Зардая забыла... утихла мысль о нем, и стал люб мне отец твой! Думала, он и вправду меня своей женой сдела-

ет, и ты счастлива будешь! Но, видно, душа Зардая покоя нигде не находила и мне покой дать не хотела. Недолго боярин тешился любовью моею; о женитьбе он речей уже не заводил, скоро другую зазнобу нашел, а теперь вот, сказывают, женится! — И она заломила свои пальцы так, что они хрустнули.

— Мамка, ты еще любишь его?

— Теперь не люблю,— страстно ответила цыганка,— и ненавижу, ненавижу, Марфуша... Я мстить ему за жизнь свою, за Зардая хочу! Помоги мне! Марфуша, дочь моя ненаглядная! — Она схватилась за грудь, в которой уже давно что-то клокотало и переливалось, и сильно закашлялась; обильный пот смочил ее лоб и виски.— Неужели умереть, не отомстив? — едва слышно прошептала она.

Марфуша чутьем угадала эти слова, вылетевшие из запекшихся уст матери, и заметалась по комнате, ища, чем помочь умирающей; но как раз в это время отворилась дверь, и в нее, кряхтя, вошел сам боярин. Марфуша навеки запомнила и выражение лица надменного боярина, пришедшего dokonать свою жертву, и его красный, из дорогого сукна, кафтан с зеленым кушаком, и сафьяновые сапожки на ногах, и даже шапку из «скупцов», которую он снял при входе, тряхнув своими белокурыми кудрями. Он хотел перекреститься, но, вспомнив, что в избе не было образов, махнул рукой и криво усмехнулся.

От этой улыбки затрепетало сердечко Марфуши, и она пугливо прижалась к матери.

Мара упала на белые подушки; на ее щеках горело два ярких пятна, глаза лихорадочно блестели, а из тяжело вздымавшейся груди вырывалось горячее дыхание, перемешанное с хрипами. Она встретила вошедшего страстным взором; он, поймав этот взгляд, чуть отшатнулся от нее и насупился.

— Здравствуй, Мара,— сказал он, стараясь придать своему лицу и голосу приветливость.

Она охватила его руку и медленно поднесла ее к своим горячим губам.

По телу боярина пробежала дрожь. Эта женщина, когда-то страстно любимая им, теперь подурневшая, постаревшая и больная, возбуждала в нем только отвращение; чувство жалости не было знакомо именитому боярину.

— Вышли девчонку,— произнес он, отдергивая руку.

Мара посмотрела на дочь, и та поспешно юркнула в соседнюю горенку, откуда ей было слышно, что говорили ее родите-

ли; эти слова глубоко запали ей в душу и заронили чувство непримиримой ненависти к тому, кого она должна была уважать и любить как отца.

Хованский хмуро и неуверенно заговорил о том, что ему не хватает в доме помещения для охотников за соколами; что он хотел было выстроить новую избу, да места не хватает около его хором, а за охотниками нужен глаз да глаз.

Мара слушала его молча, только в ее глазах зажигались огни ненависти и оскорбленного самолюбия; она уже догадывалась, к чему клонилась речь Хованского, но еще не перебивала его и не приходила ему на помощь.

Это разозлило боярина, и он сердито крикнул:

— Ты что, словно истукан венецейский, молчишь.

— Выгоняешь, стало быть? — пристально смотря ему в глаза, злобно спросила она.

— Не гоню я, а говорю, может, в слободу переберешься?

— Зачем мне переезжать? — издеваясь над его видимым смущением, проговорила цыганка.

— Зачем... зачем! — опять вспылil боярин. — Сказываю, для охотников...

— Совесть-то еще в тебе есть, — совладав с приступавшими к горлу слезами, проговорила Мара, — в глаза-то посмотреть мне не можешь... И лжешь, лукавишь, правду сказать сразу не можешь.

— Я правду говорю.

— Лукавишь, предатель! — выпрямляясь на кровати и почти задыхаясь, крикнула Мара. — Разве мне не ведомо, что в твоей душе поганой деется? Ты женишься! Вот ради того и меня стал гнать со двора; постылая — и вон меня, как падаль негодную! Молодая, вишь, полюбилась!.. У! Проклятые!..

Она еще что-то хотела сказать, но кашель заглушил ее слова, и она в бессилии упала на подушки.

— Молчи, змея! — прошипел князь. — Беду еще твоя злоба накличет на головку ее светлую. Ведьма ведь ты!

Цыганка мало-помалу успокоилась; при этих словах горькая улыбка тронула ей запекшиеся, сухие губы.

— Теперь ведьмой обзываешь! А помнишь, как из табора от жениха меня увозил? Каких только слов ласковых не говаривал? Помнишь, как любви моей домогался? Дмитрий! Неужели забыл, все забыл и за другую красу гонишь меня? Умереть дай здесь, возле тебя, Дмитрий!

Мара уже не грозилась, не кляла его, а пресмыкалась перед ним и жалобно-жалобно молила о последней милостыни.

Но боярина мало растрогали ее слова; он должен был исполнить требование своего будущего тестя и выгнать цыганку, о которой знала вся Москва, иначе его молодая прелестная невеста не переступила бы порога дома. Отказаться же от девушки, в которую он теперь был так страстно влюблен, как некогда в эту цыганку, ему, конечно, и в голову не приходило. Он предложил Маре переселиться в другой дом, на другой конец города, когда мог просто сослать ее в далекую деревню, потому что она была его раба, купленная им на потеху. Какое же ему было дело до ее души, которой он в ней и не признавал даже? Ее упорство только злило его, нисколько не смягчая его сердца.

— Ты, поди, который год умираешь,— равнодушно усмехнулся он,— смерти твоей ждать — сам раньше помрешь... Да и некогда ждать-то.

— Скорей хочется свою любушку обнять? — дрожа от ревности, проговорила Мара.— А старую цыганку, молодость чью загубил, красоту чью заел, как собаку, из дома гонишь?

— Не гоню я тебя,— хмуро произнес боярин, думая про себя, что и впрямь больной недолго осталось жить,— а дом мне нужен!

— Не тебе нужен, а жене твоей молодой; видеть вам меня тошнехонько.

— А если и так? — вспыхнул вдруг Хованский.— Не тебе, холопке, перечить нам.

— Не всегда и я холопкой была,— побелевшими губами ответила Мара,— ты вольную меня взял... и в таборе мой отец знатным промеж своего народа был...

— Буде смешить-то! Зна-атная! Может, царского рода твоя цыганская кровь? Ну, однако, мне некогда зря калякать с тобою. Съезжай со двора, да скорей...

— Не съеду,— глухо проговорила Мара.

— Что? — крикнул он.— А на скотный двор хочешь?

— Что же, волочи; сама не в силах идти, а волей своей с места не сдвинусь! Сюда силком волок, отсюда, как падаль,— куда хочешь!

— Ведьма, колдунья! — задыхаясь от гнева, прошептал боярин, придвигаясь к больной.— Осрамить на всю Москву хочешь? Так не бывать же этому! — Он протянул руку к ее шее, намереваясь задушить.

Глаза цыганки вдруг радостно засияли, и, сладко улыбаясь, она тоже шепотом произнесла:

— Убей, убей! Смерть от твоей руки мне мила... По крайности, вовек меня не забудешь.— Рука боярина давила шею, но ее губы продолжали шептать: — Я всегда буду перед тобой и перед женой твоей! И во сне меня будешь видеть незримую! И голос мой будешь слышать безмолвный! И днем и ночью я буду тревожить тебя!

Слова хрипло, уже едва внятно вылетали из посинелых уст, на опухшем лице с выкатившимися глазами витала уже смерть, и выражение какой-то злобной удовлетворенности мелькнуло в ее меркнущих глазах.

Боярин разжал руки и отпрянул в сторону.

— Проклятая... заколдуешь еще и впрямь!

Он схватил шапку и бросился к дверям, но из горницы выбежала Марфуша и взмолилась, чтобы он не гнал ее с матерью из избы.

Мара лежала на белых подушках безмолвная и обессиленная, казалось, ничего не видя и не слыша.

— Оставь, оставь мамку, не тревожь ее, она скоро помрет! — молила Марфуша отца.

Адская мысль сверкнула вдруг в исступленном мозгу рассвирепевшего Хованского. Взглянув на больную и заметив, что ее грудь порывисто дышит, он проговорил:

— Если вы завтра к вечеру отсюда не уберетесь, продам я тебя, девчонка, Пронскому... Он давно на тебя зарится!

Душу раздирающий крик был ответом на эти слова. Мара, собрав остаток сил, вскочила с кровати, подбежала к дочери и, охватив ее шею руками, дико закричала:

— Проклятый! Кровь свою хочет продать!

— Замолчи, колдунья! Не моя это кровь! Цыгана своего ты до меня любила — его это отродье, цыганское! — крикнул Хованский и вышел.

Мара в беспамятстве повисла на руках своей тринадцатилетней Марфуши.

Этой же ночью она померла, заклиная дочь отомстить их обидчику.

— Беги к нашим, скажи: «Мара прислала дочь свою», — сказала умирающая.— Тебя наши многому научат... ты сильна будешь... только никому сердца своего не отдавай! Ты погибнешь,

если полюбишь кого, погибнешь, как твоя мать погибла... Клянись мне, что исполнишь предсмертный мой завет!

И девочка давала страшные клятвы и содрогалась от проклятий, воплей и стонов умирающей матери и вместе с ней проникалась непримиримой ненавистью к тем, кто отнял у нее любимую мать.

Боярин не велел хоронить цыганку по христианскому обряду, заявил кому следовало, что она была колдуньей; ее зарыли где-то за городом, как зарывали всякую гиль воровскую.

Марфуша, безутешно рыдая, опять валялась у отца в ногах, испрашивая позволения похоронить мать на кладбище, но он отказал в этом и прогнал от себя дочь.

— Смотри, боярин! — сверкнув на него глазами, проговорила девочка. — Смотри, как бы тебе худо не было!

— У, волчонок! — вздрогнув от суеверного страха, прикрикнул на нее Хованский.

Вскоре затем состоялась и свадьба боярина.

Но молодой жене пришлось не по душе хмурая черноглазая девочка, и она торопила мужа продать ее Пронскому.

Девочка целыми днями пропадала на могиле матери, засекая ее свежей травкой и усаживая цветами, которые так любила покойница, дома же, забившись в угол, пугливо и дико выглядывала из своего убежища.

— Уж накличет это цыганское отродье беду! — говорила мамушка молодой боярыне, и все отшатывались от Марфуши как от зачумленной.

Девочка, оставаясь все время одинокой, думала какую-то тяжкую думу. В несколько месяцев она выросла и поумнела, точно прожила целые годы; видимо, какой-то план зрел в ее головке, и она все чего-то выжидала.

Вот однажды, когда боярыня осталась одна, без присмотра, без мамушек и нянюшек, девочка пробралась к ней, кинулась ей в ноги и стала просить, чтобы боярыня поставила крест на могиле ее матери и, не продавая ее, отпустила бы в табор, к цыганам.

Боярыня холодно рассмеялась, освободилась из рук девочки и сказала, что за эту дерзость велит ее высечь. Однако Марфуша, как дикая кошка, кинулась к ней, начала душить ее и приговаривать заклятья, которым научилась у своей покойной матери.

На крики боярыни прибежали люди, оторвали исступленную девочку и поволокли ее на конюшню; стали отливать водой боярыню, но она так перепугалась, что тут же преждевременно разрешилась от бремени девочкой, а сама к вечеру скончалась.

Отчаянию Хованского не было границ. Он хотел собственноручно засечь девочку до смерти, но она во время переполоха бесследно пропала, словно в воду канула, и самые тщательные поиски не привели решительно ни к чему.

В избушке ворожеи было темно и тихо, как в могиле. Марфуша сидела у своего таганчика в задумчивости, не замечая, что угольки гасли один за другим. Ветер разогнал тучи, и на небо медленно выплыла луна; ее серебряный луч лег у ног ворожеи и вывел наконец из задумчивости.

— Или уже поздно? — встрепенулась она, взглянув в окно. — Небось Танюша ждет... Пойти нужно домой.

Но в тот вечер ей, видно, не суждено было идти домой. Возле избы слышались торопливые шаги; кто-то пыхтел, отдувался и ворчал. Марфуша выглянула в оконце и узнала домоправительницу Черкасского, Матрену Архиповну.

— А, за ворогом княжьем приплелась! — прошептала гадалка. — Ну, я тебе этого красавчика не выдам, узнаю только, где твой князь прячет чужой нож.

Недолго пробыла у ворожеи Матрена Архиповна. Гадалка была неразговорчива и, узнав, где князь хранит кинжал, обещала в другой раз поведать, кто ворог князя.

— Почему не сейчас? — приставала домоправительница. — Погадай на гуще иль на яйце, что ли!

— Нельзя на этом, — хмуро ответила ворожея. — Помет змеиный надобен, и найти его следует в самый Ильин день, да и то в полночь.

— Ой, страсти какие! — перекрестившись под душегреей, прошептала домоправительница. — И как долго ждать!

Но цыганка стояла на своем, и управительнице пришлось покориться.

— Ты не в себе сегодня! — прощаясь, заметила Матрена Архиповна и у выхода добавила: — Так я забегу еще до Ильина-то дня?

— Забеги, — равнодушно ответила ворожея и, притворив за нею двери, вернулась в избу. — И правда, я не в себе сегодня, пора домой, — проговорила она. — Теперь уже никто не придет, я чаю.

Пройдя в смежную каморку и вымыв себе руки и лицо, она гладко причесала свои черные космы, завернула их на темени и покрыла голову темным платком. Потом она переменила рваную юбку на целую, накинула на плечи шугай на беличьем меху и, принарядившись так, вышла в первую горницу, тщательно заперев за собою двери. Наконец она окинула свое неприветное жилище внимательным взглядом, поправила таганчик и медленно пошла к двери.

— Небось никто не придет! Все боятся ведьмы! — усмехнулась она, отворив дверь, и вдруг с криком ужаса отступила: прямо перед нею, в яркой полосе ворвавшегося в тьму лунного света, стояла высокая, плечистая фигура мужчины.

— Что, не узнала? — раздался насмешливый, хорошо ей знакомый голос. — Ну, да я не за твоим золотом пришел... Пропусти, что ли!

Цыганка отступила; в избу к ней вошел князь Пронский и остановился, с изумлением вглядываясь в лицо ворожеи.





Часть вторая

I

В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

Раннее весеннее солнышко весело играло на цветных стеклах и золотых куполах церквей; молодые листочки грелись под его лучами, искрясь своею зеленью. Птички чирикали и пели свои гимны теплой, душистой весне, горячему солнцу и синему небу, по которому тихо плыли розоватые облачка.

В Кремле, около самого дворца, на площади собирался народ; он суетился, перебегал с места на место, волновался, говорил и даже ссорился. Но все же было довольно чинно и тихо.

Почему же эта тысячная толпа наполнила двор, площадь и крыльцо во дворце, чего она ждала, чего хотела и о чем волновалась?

Вот в богатых каретах появились бояре; не доезжая до царского дворца, они вылезли из экипажей и шли дальше уже пешком; степенно выступали они в своих высоких собольих и бобровых шапках с посохами в руках, надменно оглядывая чернь и перекидываясь незначительными словами.

Бояре прошли в покои государя, а следовавшая за ними толпа остановилась на Постельном крыльце, находившемся между приемными Большими палатами и жилыми покоем государя.

Это была большая площадь, служившая сборным местом для младшего дворянства и приказных людей, желавших побывать во дворце; на Постельном же крыльце объявлялись царские указы о войне и о мире, о сборе войск и вообще обо всех административных и законодательных мерах, предпринимаемых правительством. Здесь же узнавались и важные политические новости.

В толпе мелькали молодые лица стольников: это были дети чиновных отцов; их отцы были в больших и великих чинах, но не из первостепенной знати по происхождению. Стольников при Тишайшем насчитывалось до пятисот человек, и они разделялись на площадных, стоявших на Постельном крыльце, и на комнатных, или ближних, служивших государю внутри его покоев и присутствовавших во время приема послов; последние принадлежали к более знатным и древним родам.

Вместе со стольниками дожидались на крыльце и стряпчие, которых было не менее восьмисот; стряпчий — тоже царский слуга, ходивший за государем со «стряпней», то есть с его шапкой, полотенцем и другими домашними вещами. При выходе государя в церковь они несли для него стул, скамеечку, держали в церкви его тяжелую шапку; в походах возили его панцирь и меч; во время зимних поездок государя по окрестностям Москвы назначались в «ухабничьи», для поддержания возка на ухабах; во время обедов ставили блюда перед боярами, окольными и ближними людьми. Несмотря на невысокое положение стряпчего, на эту должность назначали иногда даже и родовитых дворян.

Между стольниками и стряпчими на дворцовом крыльце толклись московские дворяне, дожидались дьяки, взад и вперед бегали «жильцы»¹; эти последние составляли двухтысячный отряд дворянских, дьячих и подьячих детей, из которых «по сороку человек» ночевало на царском дворе.

Вся эта «служня» была обязана быть постоянно налицо при великом государе и являться к нему по первому зову за указом. Поэтому с утра вся площадь, крыльцо, палаты и сени были полны народу, и все суетились, как в муравейнике.

Кто-то стал протискиваться вперед, прося пропустить его, дабы поискать ему боярина ростовского Буйносова.

— Дело, дело, важнееющее дело есть к боярину, — озабоченно говорил неопределенного вида жилец, расталкивая локтями народ и очищая себе дорогу.

— Ты не очень-то при, чертов сын! — раздалось ему вслед. — За это ведь и под микитки звездануть можно!

В другом месте сцепились два стольника.

¹ «Жилецкие люди» — название, употреблявшееся в Московском государстве в противоположность «служилым людям», иначе говоря — горожанин. (Примеч. авт.)

— Врешь, хайло нечистое!.. Будет Ивашка холопом моим, потому что мать его на моем гумне его родила,— вопил зычным голосом рыжеволосый стольник, залихватски надвигая набекрень дорогую бобровую шапку.

— Чтобы твоей матери поперхнуться,— орал другой боярский сын,— коли я не оттягаю от тебя Ивашку!..

В сторонке, опасливо озираясь, тихо переговаривались трое.

— Бают, оттого и помер боярин,— внушительно сказал один, а двое других сочувственно ему покачивали головами,— соперник, значит, Шереметеву-то, он до него давно добивался.

— Как звать-то боярина?

— Никитой Федоровичем Хлоповым прозывался умерший.

— Будто, сдается мне, позавчера я этого самого боярина на кулачном бою видал,— вмешался третий.

— Ну, как ты мог видеть его,— раздражился рассказчик,— если он как есть умерши?

— Облыжно это, ей-богу же, облыжно!.. Не умирал боярин, и никто его не травил, а тем паче боярин Шереметев.

— А ты боярина Шереметева язык, что ли?

Началась перебранка, опять на сцену вышли отец, мать, братья, сестры и вся родня по восходящей и нисходящей линии спорящих, и ссора закончилась дракой.

В то время как на крыльце разыгрывались сцены этого рода, не менее интересное происходило и в «передней». Так называлась в старинном государевом дворце приемная комната, в переднем углу которой стояло царское «место», а вдоль стен — лавки. Гостей приглашали садиться на лавки по старшинству; более почетных — ближе к «месту», отсюда и произошло то страшное «местничество», которое вносило столько смут в наше старинное дворянство и с которым безуспешно боролись цари; впрочем, Алексей Михайлович сурово преследовал местничество, и к концу его царствования оно почти совсем утратило свое значение.

Все бояре, окольные и думные люди обязаны были ежедневно, являясь во дворец, собираться в передней, ожидая царского выхода. После обедни здесь происходило «сиденье с бояры» — заседание царской думы в присутствии государя.

О чем же говорили между собою эти бояре, окольные, думные дворяне и думные дьяки, собравшись в передней в ожидании царского выхода? Что их занимало, озабочивало?

В углу стояли два родовитых боярина, в дорогих собольих шубах на плечах, в красных сафьяновых сапожках с загнутыми

концами и с высокими, украшенными драгоценными набалдашниками посохами в руках. Их густые, длинные бороды, тщательно расчесанные, мирно покоились на их широких грудях и объемистых животах. Глаза были опущены в землю, лица недовольны...

Это князя Воротынский и Одоевский.

— Сколько наш род государям прослужил,— хмуро сказал первый,— а теперь царь-батюшка под начало разночинца Ордина отдал; разве не обидно это? Бают, Нащокин умен. Эка невидаль! Никто его ума и не отымет, да разве другие-то вовсе глупы? Великий государь его жалует, а он откуда взят? Никто того не ведает. Все глаза выел иноземщиной: у чужих, знамо, слаще пирог, чем дома-то.

— Известно, любимцу цареву все можно,— возразил Одоевский.— А слыхивал ты, князь, о том, что Пушкин, Матвей, отказался ехать к послам с Афанасьем?

— Неужто? — встрепенулся Воротынский.

— На первый раз поехал, уступил царю, а потом в слабости своей раскаялся и бил челом государю, что-де ему, Пушкину, меньше Афанасия быть невместно; государь ответствовал, что прежде мест тут не бывало и теперь нет и он должен ехать с Ординым-Нащокиным и в ответе быть не ему, а Нащокину. Пушкин отвечал, что-де прежде с послами в ответе бывали честные люди, а не в Афанасьеву пору, потому в те поры и челобитья не было. Государь осерчал, послал его в тюрьму и велел ему сказать, что ему с Нащокиным быть можно, а если не будет, то вотчины и поместья отпишут. Пушкин отвечал: «Отнюдь не бывать, хотя вели, государь, казнить смертью; Нащокин предомною человек молодой и не родословный». И поставил на своем, не был у послов приставом, сказался больным.

— Что и говорить, хват боярин Пушкин! — вставил подошедший князь Хилков.— Так Афанаське-безродному и подобает нос утереть, дабы не зазнавался и помнил, разночинец, что хоть царь ему и мирволит, а далеко ему до всего родовитого боярства.

Бояре начали тихонько перешептываться, видимо, их разговоры стали «опасливы».

Невдалеке стоял надменный князь Юрий Трубецкой, считавший свой род от Гедимины Литовского. Он и князь Никита Шереметев враждебно поглядывали друг на друга и, казалось, вот-вот кинутся с кулаками один на другого.

Что же было причиной этой вражды и ненависти? Да лишь то, что на торжественном обеде у государя князь Юрий Трубецкой получил назначение выше, чем Никита Шереметев. Хотя Шереметевы хорошо знали, что Трубецкие выше их, но уступить было тяжело; вспомнили, что они, Шереметевы,— старинный, московский, знатный род, а Трубецкие хотя и знатные, но князья пришлые. Вследствие этого старший между Шереметевыми, боярин Петр Васильевич, подал челобитную, указывая на нанесенную его роду обиду. Однако государь принял сторону Трубецких и приказал Шереметевым выплачивать Юрию Трубецкому половину оклада, который получал его дядя, боярин Алексей Никитич Трубецкой. Конечно, вражда от этого лишь усилилась.

Родовая честь была таким больным местом у старинной русской знати, что, несмотря на очевидное первенство одного рода перед другим, члены рода, которые должны были уступить, придумывали отчаянные средства, чтобы только как-нибудь избавиться от этой тяжелой уступки. Погибали целые роды, враждовали годами, гибли люди большею частью невинные, и все это делалось ради «места».

Но неужели собравшиеся в передней бояре, думные дьяки и окольничие только и дела делали, что обсуждали свои обиды да укоряли друг друга местничеством? Неужели их так мало интересовали дела государственные и общественные? Да, это было именно так. Лишь кое-где перекидывались равнодушными воспоминаниями о минувшем походе, о неудачной войне со Швецией, предпринятой царем под влиянием всемогущего Никона, патриарха всероссийского.

— Собинный-то друг, кажись, в немилости у батюшки-царя? — сказал думный дьяк Семенов.

— Давно ли «великим государем» величаться стал? — заметил окольничий князь Щербатый.— Смехота, право! Мужик новгородский, а чем стал?

— А как вознесся-то в мыслях!

— Недолго ему возноситься-то,— проговорил боярин Стрешнев, давнишний враг патриарха,— довольно куражиться над честными христианами, думки да выдумки свои представлять... Царю ныне докучает патриарх своими новшествами.

Стрешнев многозначительно ухмыльнулся, не договорив, что он и другие приближенные царя, едва только заметили начинавшееся охлаждение молодого царя к Никону, стали усерд-

но раздувать неудовольствие царя к его «собинному другу», который своим властолюбивым и крутым нравом давал к тому множество поводов.

— Вот и Матвеев метит туда же в бояре,— произнес толстенный князь Куракин князю Лобанову-Ростовскому, боярину величественного вида.

— И попадет,— брезгливо, но со скрытым неудовольствием отозвался Лобанов.

— Государь его любит,— ввернул рыхлый, еле двигавшийся князь Хилков.

— Матвеев, по крайности, тих, честных людей почитает, вперед не лезет, не выставляется, тоже любит новые порядки, да не кричит о том.

— Скоро его к Выговскому пошлют,— ехидно заметил Куракин.— Бают, больно умен, авось разберет, кто прав, кто виноват. Небось ведь боярин Хитрово в Переяславле много сделал...

— Все Пушкарь,— отдуваясь, сказал князь Хилков.— И ему в гетманы похотелось, оттого и наплели на Хитрово много бесчестных речей, особливо посланцы запорожского кошевого Барабаша, Михайла Стрынжа с товарищами...

— Толкуй ты там! Знамо, дело нечисто, а Хитрово тебе свойственник, ты его в защиту и ставишь,— колко проговорил кто-то из бояр.

Но Хилков не успел ответить дерзкому; в переднюю вошел важный боярин и, высоко задрав голову и выпятив толстое брюхо, прошел к самым дверям «комнаты», а затем, немного постояв у них, пошел туда. Все стоявшие в передней недружелюбно проводили надменного боярина.

Это был тесть царя Алексея Михайловича, боярин Илья Данилович Милославский, человек чванливый, глупый, жадный и мстительный. Возвысившись посредством брака дочери с царем и став близким человеком к молодому государю, он злоупотреблял мягкостью и добротой своего зятя и восстановил против себя знатнейших и родовитейших бояр. Его ненавидели, но боялись, потому что он был пронырлив и не брезговал никакими средствами.

— Князю Львову в челобитне отказали,— проговорил один из бояр, когда фигура Милославского скрылась в дверях.

— На что он жалился? — полюбопытствовал Пронский.

— Князь Львов бил челом на боярина Илью Даниловича Милославского,— объяснил стольник Волынский,— и ему ответ

дали, что-де ему можно быть с Милославским: перво-наперво он-де — третий брат, а второе — на царских свойственников прежде-де не бивали челом! А ты, князь, чего ради здесь? — спросил он Пронского. — Или тоже челобитье?

— Да, дело есть, — уклончиво ответил Пронский.

— Ну а что, князь, скоро на свадьбу созывать станешь? — подходя к Пронскому, спросил Лобанов. — И женишок здесь? — обратившись к Черкасскому, продолжал князь.

— Скоро, скоро! — ответил Пронский.

— Что все откладываешь? Ишь, женишок-то высох весь! — пошутил Лобанов.

В это время в переднюю вошел и встал к сторонке, предварительно скромно помолившись на образа, некий боярин. Все почтительно поклонились и стали расчищать ему дорогу; но он остался на месте и заговорил со стоящим к нему всех ближе дьяком:

— Что, нет ли каких вестей о Выговском? Повинился ли мастер?

Дьяк опасливо оглянулся и тихо, так что его слышал только один боярин, ответил:

— Нет. А мастер оговор на боярина Милославского сделал: рассказывает, боярин ведал, что они медные деньги чеканили, зело Илье Даниловичу откупились... Еще Матюшкина, думного дворянина, оговорил...

— Хорошо, наведайся ко мне, — остановил дьяка боярин и двинулся было к дверям, но его остановил Пронский.

— Что ж, боярин, замолвишь царю словечко? — спросил он.

— Не могу, князь; по совести говорю, не до этих дел теперь государю. Сам знаешь, теснят нас со всех сторон.

— Невелика утеря царю, коли тысячу-другую ратников за горы пошлет, — надменно возразил Пронский.

— Толка из этого никакого не будет, а народ зря сгубишь; уволь меня, князь, от худого совета царю, — произнес боярин и, поклонившись Пронскому, прошел в комнату, куда ушел прежде и Милославский и куда допускались только лишь самые ближние к царю люди.

— Сколько новых людей кругом царя! — с горечью произнес Пронский и досадливо пожал плечами.

Он сильно рассчитывал в деле о грузинах на боярина Федора Михайловича Ртищева, человека весьма приближенного к царю, бескорыстного, честного и отличавшегося безукоризнен-

ной жизнью, тем более что Ртищев был одних с ним лет и считался как бы даже его товарищем.

— Скоро ль царь выйдет? — нетерпеливо говорили бояре, с ожиданием глядя на двери «комнаты».

— Пошли, чай, все приближенные-то?

— Боярина Матвеева что-то не видать еще, — слышались голоса.

— Эк, хватил! — закричал кто-то. — Артамон давно на Литву услан. Много чаёт государь от ума его пользы.

— Устал дюже стоять, — переминаясь с ноги на ногу, проговорил недовольным тоном князь Хилков и стал тяжело отдуваться.

— И чего мешкают?

— Дел сказывают много, от заботушки царь-батюшка исхудал даже вовсе.

Когда нетерпение достигло, казалось, высших пределов, возле самых дверей в «комнату» поднялась невообразимая суетня. Все затолкались, заволновались. Голоса сразу смолкли, и наступила такая тишина, что, казалось, слышны были отдельные дыхания боярских грудей. Наконец отворились двери, и в переднюю вошел государь, сопровождаемый ближайшими боярами и приближенными слугами.

II

ЦАРЕВ СУД

Царю Алексею Михайловичу было в это время двадцать девять лет. От его румяного лица с окладистой бородкой и темно-русыми густыми волосами, от его несколько полноватой, но очень статной фигуры веяло здоровьем и крепостью.

Доброта, которая светилась в его ласковых голубых глазах, снискала ему лучшее прозвище Тишайший, иначе говоря — кроткого, милосердного, что соответствовало вполне настроению его уравновешенной души. Его основным правилом было: «рассуждать людей вправду всем равно» да «беспомощным помогать»; он часто отменял наказания и рассылал «кормы несчастным».

Привязчивый, трезвый, прекрасный семьянин, царь Алексей Михайлович всем желал благополучия и страшился для себя малейшего волнения. Он был воплощением «мира и благоволе-

ния». Без уничижения, как простой человек, он считал себя «недостойным и во псы, не только во цари» и часто говаривал:

— Желал бы я быть не солнцем великим, но хотя бы жалкою звездою там, но не здесь!

Искренний поэт в душе и поклонник мирной тишины, Алексей Михайлович больше всего, кажется, дорожил «устоями благочестия».

— Хотя и мала вещь,— говаривал он,— а и ей честь, и чин, и образец положен в мере; без чина же всякая вещь не утвердится, бесстройство же теряет дело.

До мелочей справлял он все обряды церкви и царского чина: таково было в его глазах государево дело. Ежедневно стоял он по шести часов во храме и клал тысячу пятьсот земных поклонов; в посту питался одним ржаным хлебом, запивая его квасом. При его дворе водворилась красивая порядливость с роскошными торжествами и кудрявыми, витиеватыми речами, но также и с византийским раболепием, со строжайшим исполнением обихода «пресветлого величества», которое окружали толпы старцев и юродивых.

Алексей Михайлович в полном царском облачении, со скипетром в руках, величавой поступью вошел в переднюю. Увидав великого государя, все поклонились в землю.

Невозмутимым степенством веяло от лица царя и его жестов, когда он сел в большое кресло в переднем углу и стал подзывать к себе тех, которым было до него дело. Вокруг него стали бояре Милославский, Ртищев, Ордин-Нащокин и еще несколько самых к нему приближенных.

Царь обвел всю переднюю взглядом своих голубых глаз и приятным грудным голосом спросил:

— Все ли собрались для сидения, кого назначил?

В случае важных дел государь призывал на думу или одних ближних комнатных бояр и окольничих, или же всех бояр, окольничих и дворян, и это называлось «сидением великого государя с боярами о делах».

Ртищев наклонился к царю и сказал, что кроме назначенных на сидение бояр в передней и на крыльце есть много и челобитчиков.

— Знаю, Федюша, знаю,— ласково улыбнулся царь,— да больно бояре-то строптивы ныне стали и неусидчивы, как раз до времени уйдут. Ну, подходи, кто там на очереди! — глянул он на столпившихся у ступенек «места» бояр.

Выступил важного вида боярин и, низко поклонившись царю, стал излагать свое дело. Царь слушал, пристально смотря говорившему в лицо своими голубыми глазами, точно хотевшими изучить все внутренние движения чужой души.

— В гости отпустить просишься, к тестю на побывку? — проговорил государь, когда боярин изложил свою челобитную. — А того не уразумеешь, что время теперь страдное, всяк человек нужен, всем дело есть? Да что в деревню-то тебе приспичило?

— Крестины... там, — потупившись, ответил боярин.

— Каки таки крестины? — старался нахмуриться царь, а у самого глаза так и смеялись, так и поблескивали лаской. — Такое ли время теперь, чтобы крестины с торжественностью справлять? Кого крестить-то?

— Дочку окрестить надобно, — еще больше смущаясь, сказал боярин.

— Дочку? Вон дело-то какое! Оно, конечно, лучше бы, кабы сыночка крестить, ну, да и дочь — Божье благословенье... Что ж, ступай себе! Окрести дочь да ворочайся скорее!

Боярин облобызал государеву руку и, согнувшись, отошел в сторону, на его место становились другой, третий и так без конца. С одними царь беседовал благосклонно; ласково отпускал, шутил, смеялся, на других гневно кричал, топал ногами, даже выгонял вон.

Если царь выкликал кого-нибудь из бояр, а его не было, тотчас посылали за опоздавшим, и его ждал грозный выговор, за чем опоздал. Расправа с теми, которые оплошали, не исполнили или не так исполнили царское приказание, коротка.

— Что ж Головин не идет? — спросил царь, два раза вспомнив о боярине, пожалованном из дворян в окольные. — Сказывали мне, у него челобитная есть, где ж он, смерд? — разгневался царь Алексей.

Наконец явился и Головин; он бил челом, что окольных в его пору нет и его отец при царе Михаиле был в боярах.

Страшно разгневался на него царь.

— Тебе, страднику, ни в какой чести не бывать! — закричал он. — В тюрьму тебя, кнутом бить да в Сибирь сослать! Отнять у него окольность — и в тюрьму! — отдал он приказ и прогнал боярина со своих глаз.

Другому провинившемуся он крикнул:

— Так-то ты царю и отечеству служишь? Воздаст тебе Господь Бог за твою к нам, великому государю, прямую сатанин-

скую службу, яко же Дафану, и Авирону, и Анании, и Сапфире; они клялись Духу Святому во лже, а ты Божие повеление, и наш указ, и милость продал лжою. Потеряет тебя за то самого Господь Бог, и сам ты — треокаянный и бесславный ненавистник. Ступай с глаз моих в геенну!

Боярина тотчас увели в тюрьму.

Третьему боярину царь грозно внушал:

— Ведай себе то, окаянный: тот боится гроз, который надежду держит на отца своего Сатану, и держит ее тайно, чтоб ее никто не прознал, а перед людьми добр и верен показывает себя. Да и то себе ведай, Сатанин ангел, что одному тебе и отцу твоему, дьяволу, годна и дорога твоя здешняя честь, а Создателю нашему, Творцу неба и земли и свету моему Чудотворцу, конечно, грубны твои высокопроклятые и гордостные и вымышленные твои тайные дела! Ведай себе то, что за твое роптанье спесивое учиню то, чего ты век над собою такого позора не видал. Пошел прочь, страдник, худой человечешко! — оттолкнул его государь, и подскочившие бояре увели опального под руки вон из передней. Царь заметил наконец князя Черкасского, его грузную голову, высившуюся надо всеми, и неприятные узкие глазки, устремленные прямо на него.

— Тебе чего, Сенкулеевич? — довольно ласково спросил он, вообще не жалуя Черкасских, но отдавая справедливость способностям Якова Куденетовича Черкасского, родного дяди Григория Сенкулеевича.

Последний приблизился к «месту», отдал царю низкий поклон и своим глухим, точно подземным голосом проговорил:

— Бью челом тебе, великий государь. Позволь жениться!

— Что? — искренне изумился царь, и в его глазах засветилась ирония, когда он окинул взглядом огромную, тучную фигуру князя и его некрасивое лицо. — Что же ты, князь, так поздно задумал молодухой обзаводиться? Чай, за пятый десяток перевалило? — шутливо спросил царь.

— Никто моих годов не считал, великий государь, — угрюмо ответил Черкасский.

— На вдове женишься, на богатой, поди? — спросил Милославский, стоя возле государя и пользуясь возможностью в свою очередь поиздеваться над боярином, которого, как и большинство до некоторой степени самостоятельных бояр, царский тесть зело недолюбливал.

— А ты уж не невесту ли мою оттягать захотел? — ехидно спросил Черкасский, тонко намекая на страшную жадность и всем известное стяжательство Милославского.

— Ну, ну, будет, бояре, вы рады, как псы цепные, в горло друг другу вцепиться, — остановил их царь, зная, что даже его присутствие нимало не стеснит расходившихся бояр, которые пойдут при нем даже на кулачки, что уже случалось не однажды. — Кто невеста твоя? — спросил он у Черкасского.

— Князя Бориса Алексеевича Пронского дочь, — пробормотал еле внятно Черкасский, стараясь, чтобы окружающие его не расслышали, хотя большинство уже знало об этом сватовстве.

Пронский выступил вперед и низко поклонился царю. Царь и все собравшиеся в передней с нескрываемым изумлением и даже некоторым недоуменным страхом глядели на безобразного великана-жениха и красивого, молодцеватого отца невесты, который сам еще в женихи весьма годился.

Пронский горделиво окинул взглядом собрание, и его холодные серые глаза точно сталью пронзили присутствующих. Все тотчас же потупились. Только царь не опустил своих глаз, а грустно смотрел на боярина, который отдавал свое родное дитище всем известному лютому человеку, словно заведомо обрекал молодую девушку на гибель.

— Сколько же лет твоей дочери, князь? — спросил царь.

— Восемнадцатый со Сретенья пошел, — ответил Пронский, не смеявший прибавить дочери лет, потому что неподалеку стояли родственники его жены, знавшие лета его дочери.

— Почему же хочешь ты загубить кровь свою? — строго спросил Пронского Алексей Михайлович.

— Царь-батюшка! Дочка моя своей волей идет за Черкасского... Вот спроси дядю ее, князя Михаила Репнина!

Царь перевел свой вопросительный взгляд на низенького старичка, скромно стоявшего неподалеку от «места».

— Правду ли рассказывает князь Борис? — спросил он.

Репнин, задыхающийся от счастья, низко кланяясь и не разгибаясь, что-то бормотал в ответ, глядя на Пронского с добродушной, угодливой лаской. Где было ему, обремененному семьей, обедневшему, бороться с могущественным и богатым Пронским? Он и не пытался бороться, и Пронский хорошо знал, что Репнин поддержит его.

Пронский нахмурился при вопросе царя и надменно проговорил:

— Царь-батюшка моим словам веры не дает, свидетелей требует. Нешто я какой богомерзкий язык?

Алексей Михайлович смущенно завертелся в своем кресле; он всегда тщательно охранял свое спокойствие и не любил вооружать против себя своих ближайших подданных. Но он чувствовал, что в этом сватовстве есть что-то неладное.

Из неловкого положения вывел его боярин Ртищев:

— Прикажи, царь-государь, невесту тебе в терем привезти, сама она тебе и скажет, а князя Борис Алексеевич и Григорий Сенкулеевич не обессудят тебя, великий государь, на этом спросе.

— Проклятый иноземец! — прошипел Пронский и прибавил, кланяясь царю до земли: — Как прикажешь, царь-государь, так и будет; дочке моей радость великая пред очи твои ясные предстати.

— Невесту твою осмотрю, а потом и ответ учиню, — сказал государь Черкасскому, кончая этими словами аудиенцию.

Черкасский облобызал цареву руку, но Пронский все еще медлил.

— У тебя князь, еще что есть? — ласково спросил царь.

— Дело, государь, важности великой, дело до твоей царской милости! — проговорил Пронский.

— Челобитье какое аль жалоба? — устало произнес царь.

— Не о себе и о своих делах хочу просить тебя, а о царевне грузинской, что уже много лет на Москве живет и томится неведением о судьбе своей и своего царства.

— Чего ж она от меня хочет?

— Явиться пред очи твои царские.

— Я ж говорил тебе, назначь царевну к выходу в Успенский собор, — гневно обернулся Алексей Михайлович к Милославскому. — Меня за нее просила царица, просила боярыня Хитрово, теперь вот князь просит, а ты всем, вишь, наперекор. Экой ты, правду, своенравный!

Царь, видимо, начинал выходить из себя. Но Милославский был привычен к вспышкам своего царственного зятя и спокойно возразил, подобострастно склонив свою голову:

— Не гневайся, великий государь, дай и мне слово молвить! Не ведают они, о чем челом бьют... Неможно делать то, о чем они просят.

— Неможно царевну назначить к выходу? — загорячился удивленный царь.

— К выходу назначить можно! Да не в том дело!.. Царевна милость твою царскую беспокоить хочет, а того невозможно: у тебя и так дел много поважнее грузинских челобитий. Ну, вот я и размыслил: когда будет посвободнее, тогда, мол, и доложу и назначу... Дело царевны не к спеху...

— Не к спеху дело грузинское, когда, может, весь народ их смертью погибает! А народ этот тоже христианский, нашей же веры; так неужто же отдать его на поругание нечестивым персам да турецким мухамеданам? — пылко и красноречиво возразил Пронский.

— Что-то, князь, больно речист до грузинского дела? — насмешливо произнес царский тесть.

— Правое дело — оттого и речист, — возразил Пронский, задетый за живое. — А ты вот, боярин, что-то больно злобив к грузинской царевне! Или мало чем... угодила тебя та царевна?

В этих словах слишком ясно слышался намек на взяточничество и недобросовестность Милославского, и все поняли это. Среди бояр произошло волнение.

Царский тесть затрясся от оскорблений и в душе поклялся жестоко отомстить дерзкому; он собрался ответить князю, но царь жестом руки остановил его.

Алексей Михайлович сразу понял этот намек и задумал помешать разгару вдруг вспыхнувшей вражды; но он не хотел ссориться и с тестем, явно согласившись на просьбу Пронского, как не хотел приобрести и в князе Борисе врага, прямо отказав ему; поэтому он задумал отсрочить решение и сказал, обращаясь к Ртищеву:

— Ужо на сидении напомни мне... Может, что и сделаем мы грузинам.

Ртищев поклонился. Милославский и Пронский, злобно переглянувшись, отошли каждый к своим единомышленникам.

Прием продолжался тем же порядком.

III

СИДЕНИЕ О ДЕЛАХ

Между тем в Успенском соборе ударили в колокола; царь заторопился окончить прием, чтобы отправиться к обедне, что он делал ежедневно. Он уже решительно хотел встать с кресла, но к «месту» с большими хлопотами и усилиями протискался

худородный боярин с огромным калачом в руке. Опустившись перед царем на колени, земно кланяясь ему, он умиленным голосом заговорил:

— Царь-батюшка, великий государь и кормилец! Не побрезгуй отведать калачика именинного!

Алексей Михайлович, улыбаясь, взял калач и, дотронувшись до него своими розовыми ладонями, передал его ближнему стольнику, а сам обратился с ласковой речью к имениннику:

— А тебя звать-то как?

— Киприаном, государь-батюшка!

— Ну, с ангелом тебя, Киприан; а как по батюшке!

— Силыч, великий государь.

— Ну, поздравляю, поздравляю, Киприан Силыч, живи и здравствуй! Деточки есть, жена имеется?

— Все как следует, государь-батюшка, по-христиански. Много благодарен за милость,— сказал осчастливленный именинник.

— Ну, ступай с калачами за поздравлениями к царице да царевнам, а нам к обедне пора собираться. Чай, царица уже ждет? — обернулся государь к тестю.

Но тесть дулся на царя и ничего не ответил ему, сделав вид, что не слышал вопроса.

Царь ушел в свои покои, чтобы оттуда со всем своим двором отправиться к церковной службе.

После обедни государь с боярами принимался за дела. Бояре, окольные и думные дворяне стояли в комнате и ждали выхода государя, продолжая, конечно, свои распри, споры и пересуды, начатые поутру.

— Матушка царица-то словно с тела спала,— проговорил тучный боярин Стрешневу, царскому родственнику.

— Недужится ей что-то,— равнодушно ответил Стрешнев.

— Сказывают, иноземцы в свое вино зелье подсыпают,— таинственно зашептал третий боярин с жиденькой козлиной бородкой.

— Пустое все, никчемные слова,— брезгливо возразил Стрешнев.— Все пьют вино, и ничего, а государыня-то этого иноземного зелья и не пригубит. Так ей недужится, должно, ребеночка скоро царю родит.

— Давай бог, давай бог! — набожно закрестился боярин с козлиной бородкой.— А то, може, и порча...— едва внятно прошептал он, близко пригибаясь к Стрешневу, но, встретив его испуганно-грозный взор, внезапно умолк.

— Попридержи язык свой! — посоветовал ему первый боярин.

Наконец вышел царь Алексей Михайлович и сел на «место» в кресло.

Бояре, окольные и думные дворяне стали садиться по чинам от царя поодаль, на лавках: бояре — под боярами, кто кого породой ниже; окольные — под боярами; думные дворяне — под окольными, также по роду, а не по служебным местам.

Тишайший с неудовольствием смотрел на это размещение не по личным заслугам, а по происхождению, но у него не имелось в характере той твердой решимости, с которой следовало действовать для искоренения этой веками въевшейся в русское боярство язвы, и он только каждый день болезненно морщился, вздыхал и говорил своим приближенным — Ордину-Нащокину, Ртищеву и Матвееву:

— И когда я вызволюсь от сей боли для государства моего? Ведь бояре не столь помышляют о деле народном и о государевой пользе, сколь помыслы их привержены ко глупому местничеству!

Наконец все уселись, государь только что хотел «объявить свою мысль», как неподалеку от «места» раздались громкий спор и пререканья. Два боярина стояли во весь рост возле лавки и толкали друг друга, желая каждый сесть на место, где мог поместиться только один; они подняли перебранку, размахивали перед носами друг друга дланями, поносили один другого грубыми, обидными словами, кричали и вопили на всю комнату.

Это были Пушкин и Долгорукий, ни за что не хотевшие уступить друг другу места, так как уже давно между ними шла вражда из-за этого местничества.

— Николи не сяду ниже Федьки Пушкина! — горячился Долгорукий. — Я старше его родом. И хоть ты что хочешь со мной содей, а не сяду, не сяду я.

— Это еще бабка надвое сказала! — кричал вспыльчивый Пушкин, продолжая размахивать руками. — Ты больно-то глотку свою не дери, неравно ослабнет, — останавливал он Долгорукого, серьезно воображая, что сам не кричит. — Мой отец в походе на шведов, в Столбове¹, был выше твоего дядьки Ивана Алексеича.

¹ 1617 год.

— Врешь, собачий сын!.. Никогда этого не было, чтобы Пушкины выше Долгоруких стояли! Твоего рода и в зачатии не было, когда пращур мой, Юрий Долгорукий, князь удельный суздальский, войну держал с Изяславом Мстиславичем за великокняжеский престол, а опосля того и княжить в Киеве стал...

Этот спор, вероятно, перешел бы и в драку, если бы неистовые крики не привлекли наконец внимания Тишайшего. Он нахмурил брови, придал строгое выражение своим ласковым глазам и зычным голосом призвал к себе споривших.

— В чем распря? — спросил он у них как можно суровее.

Спорившие стали было говорить довольно прилично, но, забываясь в пылу горячего спора, начали переходить на личности, и Пушкин стал при царе оскорблять Долгорукого, а заодно уже и его жену, и дочь, и мать, и всю родню в нисходящем и восходящем коленах.

Разгневанный не на шутку, царь прогнал обоих, тотчас же велел засадить Пушкина в тюрьму.

— Не посоромились ссору поднять в то время, как ты, царь-батюшка, с боярами сидение имеешь! — подобострастно произнес Милославский, такой же горячий «местник», как и только что уведенные бояре.

Алексей Михайлович холодно взглянул на тестя и, откинувшись на спинку кресла, тяжело вздохнул:

— Да, тяжела шапка Мономахова!

Все сидели «брады свои уставя, ничего не отвечая».

Тогда государь обратился к Ртищеву и «объявил свою мысль»:

— Что-де будем мы делать на великую просьбу грузинских людей? Послать им войска или нет? Как бояре и думные люди помыслят, так тому делу и дадим способ.

Бояре и думные люди стали мыслить, и каждый, кто имел способ в голове, свободно объявлял свою мысль. Много было выражено несуразностей, много предложено неисполнимых проектов насчет грузин и их желания отдаться подданству русского царя.

— При царе Борисе посылали мы войско по ту сторону Кавказа, а что вышло? Одна беда! Только понапрасну стравили столько людей, — сказал старый боярин.

— Отчего и не подмочь народу христианскому православному, исконному, только коли-ежели посылать-то сразу много,

чтобы побить поганных персов, и тем более — поганных турок, — горячился молодой князь Прозоровский.

— Ишь, кровь-то молодая бурлит, хошь на рожон, а лишь бы в драку, — улыбнулся старый боярин, вспоминая то время, когда и он рвался в битву.

— Ну, этого добра много, были бы люди, а битв не искать стать!

— Да ведь грузины-то в подданство волей идут, а потом и совсем своими станут: вместо ихних царей наших можно воеводами назначить, — сказал Пронский, зная, чем подогреть алчных бояр. — Страна богатеющая-пребогатеющая.

— Это что и говорить, богатеющее место! — поддакнул толстый, лысый боярин, уже давно метивший в воеводы.

— Коли б наперед они дали ефимков али чем другим... — вдруг неосторожно проговорил Милославский.

Пронский, ядовито усмехнувшись, глянул на жадного боярина.

— Или, думаешь, к рукам что прилипнет? — прошептал он, но так, что его слышали только близ него сидящие.

Милославский прочел на лицах бояр насмешку; поймав взоры, устремленные на него, он понял, что Пронский вышутил его, и решил отплатить.

— Какие у них ефимки! — проговорил Ртищев. — Народ разоренный, бедный, где им помощь подкупать? Вон жидовин один, вернувшись, сказывал, что у царя и дома-то своего нету — у зятя проживает, и народ весь в горы разбежался... что с него взять-то?

— Вот оттого и помочь надо ему и народу его, — ввернул Пронский, радуясь, что Ртищев стоит за грузин.

Но Ртищев степенно возразил ему:

— Не можно сие, князь! Нас самих теснят со всех сторон: то смуты в Малороссии, то война со шведами, то поляки грозятся... Дай бог самим управиться со всеми!

— Так как же быть, Михайлыч? — грустно спросил царь.

— Погодить надо! А то теперь с малым войском мы и персов не устроим, а только против себя поставим: новых врагов наживем, да и грузинам не поможем. А по-моему, лучше миром с шахом Аббасом дело повести. На мир шах пойдет, а воевать нам с персами нельзя!

— Дело, дело говорит! — слышались голоса.

Государь ласково улыбнулся своему любимцу.

Так состоялся пока приговор о грузинском деле; государь приказал думным дьякам пометить и приговор тот записать.

Затем было решено еще несколько государственных дел, со множеством споров, препирательств и взаимных боярских колкостей. Наконец, государь объявил, что на сегодня довольно, пора-де обедать и отдохнуть. Он встал с кресла, поклонился всем присутствующим, сошел с «места» и направился во внутренние покои.

Его остановил Милославский:

— Челобитчик от Ромодановского, государь!

— Завтра пусть подаст! Что раньше зевал?

— Ты гневен был давеча. Ну, уж прими, царь-государь, — просил Милославский.

Тишайший знал упорство своего тестя и, чтобы отвязаться от него, велел челобитчику приблизиться. Тот подошел и подал сверток с челобитной от князя Григория Григорьевича Ромодановского-Стародубского. В челобитне было сказано:

«Прислана твоя, великого государя, грамота, написано, чтоб мне впредь Стародубским не писаться. До твоего указа я писаться не стану, а прежде писался я для того — тебе, великому государю, известно — князишки мы Стародубские, а предки мои, и отец мой, и дядя, писались Стародубские-Ромодановские, да дядя мой, князь Иван Петрович, как в Астрахани за вас, великих государей, пострадал от вора лже-Августа, по вашей государственной милости написан в книгу и, страдания его объявляя на Сборное воскресенье, поминают Стародубским-Ромодановским. Умилосердись, не вели у меня старой нашей честишки отнять!»

— Умилосердись, государь, вели ему зваться по-старому! — попросил и Милославский, получивший, вероятно, изрядную мзду за свое ходатайство.

Алексей Михайлович улыбнулся и не велел «честишки отнимать» у воеводы князя Ромодановского.

— Ах, беда, беда мне с ними! — вздохнув, проговорил царь и двинулся во внутренние покои.

За ним последовали Ртищев, Милославский и еще несколько самых приближенных и приглашенных им к столу бояр. Остальные гурьбой, судача и завистливо посматривая на счастливцев, шедших за царем, пошли вон из палаты. Скоро приемная опустела, и служки стали прибирать ее.

ЦАРИЦЫН «ВЕРХ»

На «верху», на половине царицы, было тихо. Туда мало доносилось городского шума и еще меньше государственных волнений.

Царице Марии Ильиничне неможилось. Она рассеянно слушала песни сенных девушек и лениво посматривала на хороводы с искусными «игрищами».

Напрасно карлицы и шутихи старались вызвать на ее лицо улыбку — царица была задумчива. Ее длинные, по обычаю насурмленные, ресницы как-то трепетно вздрагивали, точно старались удержать слезу, наворачивавшуюся на черные, все еще прекрасные глаза, хотя уже несколько и заплывшие жиром.

Царицу смело можно было назвать красавицей, особенно по взглядам на женскую красоту того времени. Она была среднего роста, черноглазая, с низким лбом, полным станом, крупной ногой и узкими, тонкими руками, выхоленными и белыми, как первый снег. Лицо круглое, румяное; его немного портило апатичное, чуть сонливое выражение, а также странная мода, требовавшая, чтобы женщины имели длинные уши, для чего они их нарочно немилосердно вытягивали.

— Что-то невесела царица-матушка? — ласково спросила царицу «мама». — Иль недужится?

— Нет, мама, ничего! — апатично ответила царица.

— Съела бы чего, а то водочки бы испила? Чтой-то будто худеть стала, — озабоченно сказала «мама», пытливо осматривая рыхлое тело царицы. — И перевалец не тот уж!

— И то лежу, словно колода, день-деньской!

— Так неужто ж бегать, как девке-чернавке? — вмешалась «верховая боярыня». — Тебя царь-государь выбрал из всех девиц, чтобы «не иссяк корень государева рода», а ты красу свою блюсти не желаешь!

— Да нешто я что говорю? — нехотя отозвалась царица. — Ну пить, так давай пить!

Для того чтобы толстеть, русские женщины того времени пили пиво и водку и валялись подолгу в постелях.

Их сонные, отупелые натуры безропотно подчинялись той унижительной роли, которую им приходилось играть в обыкновенном быту. Над девицею каждый мудрил в семье, как над домашним животным, которое составляло обузу, потому что

женщина не способна была ни прокормить себя, ни самостоятельно привлечь себе кормильца. Она считалась плохим товаром, который можно сбыть только обманом, с прибавкой «приданого», да и то этот товар часто «залеживался» и портился раньше времени. Засидевшаяся в девках не была годна для жизни, как и залежавшийся товар: она шла в монастырь, если не хотела оставаться вечной рабой, которою всякий помыкал в доме, упрекая ее в дармоедстве. Только «матерая» вдова пользовалась почетом и властью в семье, бездетная же считалась человеком «богадельным», церковным наравне с сиротами, убогими и калеками.

Бесчадие было проклятием для женщины и совершенно законным поводом для мужчины к перемене подруги жизни. Если же рождались в семье презренные девочки — опять беда: тогда супруги молились «с великим плачем и рыданием до иступления ума», чтобы «прижити чадо мужского пола».

— Не след кручиниться, коли ежели и есть причина ко кручине! — наставительно сказала одна из «верховых боярынь». — Надо думать о том, что под сердцем носишь, чтобы силен да пригож вышел.

На лице царицы мелькнуло страдание. Слова боярыни задевали ее больное место.

Вот уже более восьми лет она была женой Алексея Михайловича, у нее родились две девочки и мальчик, слабенький, хиленький, а будут ли еще мальчики — один бог ведает; в роду Милославских все девочки: вот и у сестры Анны, вышедшей за боярина Морозова, уже четыре девочки.

Царица невольно содрогнулась при мысли о том, что будет с нею, если царевич умрет и у нее не будет больше сыновей.

— Полно кручиниться, — проговорила боярыня, словно угадав ее мысли. — Ты еще молода, много подаришь деточек царю-батюшке!

Марья Ильинична задумалась, потом поманила одну из сенных девушек и послала ее за боярыней Хитрово, а другим велела сесть за рукоделья; «сенным же боярышням из дворянов» приказала себя развлекать.

Несколько боярышень в нарядных летниках с распущенными по плечам косами, с прилаженными в виде «теремов» венцами на головах, с богатыми рясами и поднизями сели возле царицы и стали наперерыв рассказывать ей о том, что слышали и видели в это время «чудесного».

Но царица не слушала их; когда все увлеклись рассказами девушек, Марья Ильинична, подперев голову рукой, глубоко задумалась.

О чем думала русская царица, какие мысли роились в голове этой еще молодой женщины, задумчиво смотревшей на голубое весеннее небо? Не припоминался ли царице такой же ясный весенний день, когда распустившаяся сирень разливала по большому тенистому саду свой сладкий аромат, малиновки страстно заливались в кустах, а жаворонки высоко-высоко летали в прозрачном синем небе? А за их полетом следили сидевшие на дерновой скамейке юноша с молодой боярышней, одетой в голубой шелковый летник и белую кисейную рубашку; у боярышни была густая, длинная коса, темным жгутом ниспадавшая гораздо ниже пояса.

— Смотри, Маша, — сказал юноша, обнимая стан девушки, — вот жаворонок взвился, чуть его видно стало...

— И ты вот скоро, как он! — печально проговорила девушка, и ее голос дрогнул. — Улетишь, и бог весть увидимся ли когда?

— Увидимся, Маша, увидимся непременно, — твердо возразил юноша, — ты только, голубка моя, не измени мне!

Она зарделась; застенчивая, нежная улыбка легла на ее красивые губы.

— Где уж мне разлюбить?.. Навек сердце тебе свое девичье отдала, — тихо шепнула она, склонившись на его плечо.

Юноша страстно, горячо обнял ее и прижал к себе.

— Вот вернусь из похода и сватов зашлю, авось отец твой мне не откажет.

— Известно, не откажет! Чем ты не жених? А вот я... Небогаты мы, — вспыхнула девушка, — не пара я тебе, Володюшка!.. Твоему отцу не такая невестушка, чай, нужна...

— Не дело говоришь! — строго остановил юноша. — Один я у отца... души во мне не чает старик. Да и то сказать, я уже говорил с ним, и он благословил! Видишь, Маша, не кручинься о разлуке! А долг витязя должен я исполнить.

— Что-то ноет во мне, сердце беспокойно, — грустно проговорила девушка. — Говорит мне оно, что не бывать нашему согласию и счастью. И хорошо и радостно мне возле тебя, а уйдешь ты — все вдруг померкнет, и страшно-страшно станет мне на душе.

Девушка закрыла лицо руками, и сквозь ее тонкие розовые пальцы потекли горячие, обильные слезы.

... — Не плачь, моя ласточка, не плачь, моя любушка! Отгони страхи свои! — утешал ее юноша, и все горячее, все страстнее становились его ласки...

Побледневшее лицо царицы вспыхнуло ярким румянцем при этом воспоминании, и она пугливо обвела всех взглядом.

Однако женщины были заняты работами, рассказнями и пересудами, мало обращали внимания на царицу, и та снова погрузилась в свои дорогие мечты. Вот теперь слышался ей шепот сестры Анны, которая сказала ей:

— Вечно в терему под тридцатью замками сидеть, света Божьего не видеть, холопкой их до смерти оставаться — вот какова наша девичья доля; так не все ль равно, чьей женой стать? Старого или молодого, царя или боярина, любого или постылого — только бы из дома уйти да самой хозяйкой стать. Ты не хочешь к царю на смотр пойти и меня этой чести лишаешь, а боярин Морозов уже царю о нас доносил. Если заболеешь, наплетут враги, как на Всеволожскую, и всех нас сошлют, порченными выставят, тогда и погибнем мы! За что же, сестра? Много красавиц к царю на смотр вызвано; со всего государства боярышни едут, на нас царь и не глянет, а тебя и вовсе, поди, не заметит. Однако честь все-таки будет: на царском смотре, дескать, были... женихов именитых, по крайности, себе выберем. Да и против отца идти ты не можешь: он приказал нам на смотр собираться... боярин Морозов все приезжает, и они в светелке сидят да шепотком гуторят.

— Боярин-то Морозов все на тебя заглядывается, — попробовала робко заметить сестре боярышня Мария Ильинична.

Презрительно усмехнулась Анна и надменно ответила:

— У боярина губа не дура, да не про него товар припасен!

Но вот наступил торжественный и для многих страшный день смотрин. Не посмела боярышня Мария Ильинична против воли отца пойти, да и сестру заодно пожалела: снарядилась и поехала на смотрины.

Понаехало много боярышень — больше полутора тысяч; между ними много красавиц писаных, много именитых, много крепких и здоровых, богатых и бедных. Одни смело выступали вперед, гордясь, кто своей красотой, кто именитостью рода, кто богатством и великолепием наряда; другие старались скрыть свою «убогую бедность» и невольно жались в сторонке, а иные просто боялись и не хотели попасться на царевы глаза.

В числе последних была и Мария Ильинична; она робко прижалась за своей сестрой Анной, гордо и величественно стоявшей у всех на виду.

Боярин Морозов, пестун и руководитель девятнадцатилетнего царя Алексея Михайловича, подвел его к боярышням Милославским и что-то шепнул ему на ухо. Мария Ильинична, трепещущая, старалась скрыться за спиной своей сестры; сердце ее мучительно ныло и слезы готовы были ручьем хлынуть из глаз, но она пересилила себя и робко глянула на молодого царя. А он стоял перед ними тонкий, стройный и глядел на них своими кроткими глазами, в которых отражалось страдание и недоумение. Его губы улыбались какой-то печальной и вместе с тем детской улыбкой. В руках он держал кольцо и ширинку, нерешительно поглядывая на всю огромную толпу девушек, с трепетом ожидавших решения своей девичьей судьбы.

Морозов нагнулся к царю и видимо торопил его.

— Не могу! — произнес наконец Алексей Михайлович.

Перед ним мелькнул чудный образ девушки с матовым цветом лица и огромными, темными как ночь глазами, скорбно, укоризненно взглянувшими на него, когда его рука с кольцом и ширинкой коснулась ее руки. Это была дочь боярина Рафы Всеволожского, которую на смотринах 1647 года царь осчастливил своим вниманием, выбрав себе в невесты и отдав ей свое юное, еще ничьей любовью не тронутое сердце; молодая девушка тоже горячо полюбила своего жениха.

Безоблачное счастье, казалось, витало уже над головами нареченных, обещая быть полным и продолжительным. Но этому счастью не суждено было осуществиться. Молодая невеста внезапно заболела; чья-то коварная рука слишком затянула убрусник: девушка не вынесла этой адской пытки, когда «выкачивались бельмы», и упала в обморок.

Царю немедленно доложили, что его избранница «порченная», и не дали ему даже взглянуть на нее; девушку закутали и как преступницу со всем семейством тотчас же сослали в ссылку, в далекую Тюмень.

И вот прошел год; перед царем опять новая толпа девушек, он опять должен решить чью-нибудь судьбу и свою собственную вместе с тем. В неиспорченном сердце царя еще не исчез прекрасный образ его несчастной первой невесты, и он не имел сил вручить кольцо другой, когда воспоминание о Всеволожской еще жило и ныло в его молодой душе. Кроме того, он сознавал, что своим неосторожным выбором мог опять погубить чью-нибудь жизнь, молодость или счастье. Он знал, на что были способны все его бояре, чтобы только удержать власть в своих руках, и колебался.

— Сия и есть Милославская, царь, отдай же ей ширинку и кольцо! — шепнул ему между тем Морозов.

Алексей Михайлович глубоко вздохнул и, шагнув к красивой, статной блондинке, зардевшейся как маков цвет, быстро протянул было ей кольцо; но Морозов еще быстрее отдернул его руку и, подтолкнув его к Милославским, прошептал:

— Вот дочери боярина Милославского!

— Которая же? — растерянно спросил царь.

— Меньшая, — торопливо произнес Морозов и, подойдя к сестрам, вывел за руку бледную Марию Ильиничну.

В то время как ее сестра Анна, вспыхнув и закусив губы, отступила, царь подал Марии кольцо и ширинку в знак того, что выбрал ее в царицы, и пытливо заглянул ей в глаза. Что-то опять кольнуло его в сердце, когда он встретил полный тоски, отчаяния и ужаса взгляд.

Итак, Мария Ильинична лишилась любимого человека, но в конце концов привязалась к мягкому, добросердечному и любящему молодому царю, и если бы захотела, то могла бы иметь на него большое, очень большое влияние, но... однако, она этого не захотела. С того дня как стала она русской царицей, как поняла, что призвана на этот высокий пост не по достоинству своих качеств и заслуг, не по силе своего чувства, а лишь для того, чтобы «не иссяк корень государева рода», она стала равнодушно смотреть на все то, отчего другие так волновались, так страдали; когда она поняла, что только ради каких-то боярских интриг ее разлучили с горячо любимым человеком и избранным ею женихом, она стала медленно застывать в равнодушии, замыкаться сама в себе, как заколдованная царевна старых русских сказок. Этому помогло еще и то обстоятельство, что ее «ненаглядный Володюшка» с момента избрания ее царской невестой словно в воду канул вместе со всей своей родней.

V

ГРУЗИНСКОЕ ДЕЛО

Думы царицы были прерваны входом боярыни Хитрово. Как всегда, Елена Дмитриевна была нарядно одета, весела и беззаботна и внесла с собою оживление и веселость.

Ее очень любили царевны, и к ней была искренне привязана царица; «верховые боярыни» скрывали свою нелюбовь и за-

висть ко всеобщей любимице двора под покровом приторной любезности, но ее отлично понимала умная «вдовица».

Царица встретила ее приветливо.

— Что запропастилась, Дмитриевна? — ласково спросила она, целуя боярыню в щеку, после того как та по ритуалу приложились к ее плечу.

— Дел пропасть, матушка-царица!

— Какие такие дела объявились у боярыни? — со скрытым ехидством спросила одна из боярынь.

— Да неужто и всего дел-то, что в аксамит рядиться с утра до вечера и с вечера до утра? — колко ответила ей Хитрово.

— Кому на ночь нужно надевать аксамит, тот и надевай, а тот нет, ежели кому это незачем, — отпарировала боярыня.

Елена Дмитриевна вспыхнула, поняв злой намек, и уже собралась беспощадно отделать «верховую боярыню», однако царица ласково остановила ее, грозно взглянув на «задравшую» ее обидчицу:

— Полно, Дмитриевна, брось! Скажи лучше, где была утром, что видела? Садись около меня, вот здесь, — и царица указала Хитрово на скамью у своих ног.

— К царевичу Алексею, рассказывают, в дядьки князя Пронского, Ивана Петровича, надумали назначить, — озабоченно и вполголоса проговорила Елена Дмитриевна.

— А что же, разве плох твой Иван Петрович? — довольно равнодушно произнесла царица.

— Знаю я Пронских, — горячо заговорила Хитрово, — все они нрава крутого, властного и гордыни непомерной... а царевич пока еще дитя малое, а подрастет потом — они властвовать над ним начнут; а он и духом слаб, и телом, поди, как хил: они этого и в толк не возьмут, измываться над ним станут...

— А кто ж за Пронского-то? — спросила царица.

— Твой свойственник, царица, Стрешнев-боярин.

— И никто ему не перечит?

— Пробовал было батюшка твой, — проговорила Хитрово, — Плещеев ставил, да царь и Стрешнев куды! Прямо на дыбы!

— Еще бы! Плещеев стар, скоро совсем из ума выживет. Ну и что ж, на чем порешили? — без всякого признака любопытства спросила царица.

— Порешили на князе Пронском, — ответила Елена Дмитриевна, всегда как-то обескураживаемая таким безучастием Ма-

рии Ильиничны.— Ты бы, матушка-царица, слово молвила за царевича — ведь твой он, поди, сыночек!

Грустная улыбка тронула губы царицы:

— Мне замолвить словечко? А ты б прежде спросила, кто же слово-то мое слушать станет?

— Ты мать.

— Ма-ать! Может, в какой заморской стране материнское слово в толк берут, да, вишь, не у нас! — И Мария Ильинична безнадежно махнула рукой.— Что еще нового?

— Царь в поход собирается выступить летом.

Весть о том, что государь уезжает, тоже не произвела никакого впечатления. Походы в те времена были не редкостью; скорее показалось бы диковинным, если бы их не было в течение более или менее продолжительного периода. Царица даже бровью не повела, услышав, что скоро должна расстаться со своим мужем.

— Хочу я у твоей царской милости вот что просить,— начала вдруг боярыня Хитрово, отчаявшись произвести на царицу впечатление своими новостями, но замаялась, оглянувшись на боярынь и боярышень, слушавших их разговор с разинутыми ртами.

— Пошли бы, затеяли игры какие, что ли! Царевен бы позвали,— обращаясь к ним, проговорила царица.

Женщины поняли, что царице угодно остаться с Еленой Дмитриевной вдвоем, и все вышли из комнаты.

— Испроси у царя мне милость одну,— тихо заговорила Хитрово.

— Что за дело тако?

— Ворожею одну пусть дозволит мне взять и схоронить,— решительно проговорила Елена Дмитриевна.

— Что ты, что ты, мать моя! В уме ли ты своем? — взволнованно замахала царица руками.— Да чтобы я этакое дело царю говорила? Да ни в жизнь! Царь гневен на ворожей, сейчас на огонь велит положить... Нет, я на погибель души христианской не пойду, не пособница я такому делу. Да и тебе, Дмитриевна, посоветовала бы с ворожеями не хороводиться.

Елена Дмитриевна поняла, что совсем напрасно обратилась к царице по этому щекотливому делу, и с досадой закусил губы, но тотчас продолжала:

— Да я не зла хочу Марфушке, а так только припугнуть малость!

— Марфушкой ее зовут? — задумчиво спросила царица. — Это та, которую почитай вся Москва знает? Да? Так ведь она только гадалка и с нечистью не знается... За что ж ты ее так-то?

— Вредная она баба, — уклончиво ответила Хитрово.

— Сказывали, что верно она гадает!.. Вот что, Дмитриевна, я и посылала-то за тобой, хотела сказать, чтобы ты мне ее привела... пусть мне погадает, мою судьбу да судьбу моего будущего ребеночка разгадает.

— Матушка-царица, — хотела было возразить Хитрово, но встретила упорно-надменный взгляд черных глаз царицы и сразу остановилась. Она знала, что при полной безразличности ко всему окружающему царица была подчас крайне упряма в своих желаниях. Ворожеи, гадалки, юродивые, странницы и богомолки были излюбленными гостями и единственным развлечением, которому любила отдаваться Мария Ильинична. Поэтому Елена Дмитриевна низко поклонилась царице и спросила: — Прикажешь сейчас за ней сходить?

— Пошли кого-либо из своих, да понадежнее, да чтобы под вечерок и привел ее сюда, — проговорила царица.

В это время в комнату поспешно вошли боярыни, а за ними царевны Татьяна, Анна и Ирина Михайловны.

— Братец идет! — говорили они, суется и рассаживаясь. — Боярыня, что не навевывалась сегодня к нам? — спросили они Елену Дмитриевну.

Вошли Алексей Михайлович и Милославский.

Царица встретила супруга поясным поклоном, остальные женщины поклонились до земли. Алексей Михайлович поцеловал жену три раза в щеку и сел в подставленное ему кресло.

— Что, егозы, делаете? — трепля сестер по щекам, спросил он царевен.

— Да ничего, с тоскидохнем! — капризно произнесла Ирина Михайловна.

— Что так? — улыбнулся царь и перевел свой взор на скромно потупившуюся боярыню Хитрово. — Ты, Елена Дмитриевна, совсем «верх» забросила, тебя и вовсе здесь не видать! Что-то все хлопчешь, а о чем — нам и не ведаешь.

— Ничего я не хлопчу, царь-государь, — ответила боярыня, метнув на царя один из чарующих взглядов, — и на «верху» бываю, да ты не изволишь замечать слугу твою!

По губам царя пробежала улыбка; его глаза ласково блеснули на молодую вдову.

— Вот царевны, вишь, жалуются, что забываешь их,— проговорил он.

— Известно, забыла! — вмешалась Анна Михайловна.— Почитай, все время у себя в светелке забавляется, а мы одни; ничего нового она не измышляет для нашего веселья.

— Ах, девушки, до веселья ли теперь? Вот царь-батюшка в поход собирается... плакать надо, слезы горькие разливаючи...— заговорила певучим голосом ехидная «верховая боярыня».

— Оставь, Микулишна, надоела! — взвизгнули все три царевны и, обнимая Елену Дмитриевну, стали просить, чтобы она придумала какое-нибудь увеселение для них.

— Погодите, милые,— ответила Хитрово,— вот поговорю с батюшкой-царем кое о чем, а после того поизмыслю, чем бы мне вас повеселить.

— О чем будешь говорить? О приказных делах? — спросила младшая из царевен.— Ой, скучища какая! Пойдемте, девицы, песню споем! — предложила она.

Царь и царица одобрили это предложение; царевны вышли, а следом за ними пошли и остальные женщины; в комнате остались кроме царской четы только Хитрово, Милославский и еще две из самых приближенных к царице «верховых боярынь».

— Ну, рассказывай, рассказывай, что у тебя за такие дела? — с любопытством произнес Алексей Михайлович, распахивая кафтан и ласково глядя на Елену Дмитриевну.

Царица позевывала, время от времени лениво пожевывала пряники, а скоро и совсем ушла в какое-то тупое самосозерцание и не слушала ничего. Милославский сидел в кресле, неприужденно развалясь, чутко прислушиваясь к тому, что именно скажет царская любимица.

— Государь,— начала Елена Дмитриевна,— Пронский дочь свою просватал за князя Черкасского...

— Знаю,— возразил Алексей Михайлович.— А ты что же? Разве что-либо против этого сватовства имеешь?

— Царь-батюшка, княжне Пронской семнадцати лет нет, а Черкасскому и все пятьдесят!

— Отцу виднее!

— Пронский на Черкасского золото зарится. Коруستن князь, а о дочери у него и думушки нет.

— Разве она не по воле идет? — спросил Алексей Михайлович, заинтересовавшись сообщением.

— Разве пойдешь по воле за такого старого да тучного? Не прикажи, царь-батюшка, губить девушку!

— Чем Черкасский не жених? — вмешался вдруг Милославский. — И родовит он, и богат, да и, по правде сказать, что за года такие — пятьдесят-то лет? В самом, можно сказать, соку мужчина, а не что-либо как! — И он молодцевато крикнул.

Хитрово насмешливо глянула на царского тестя. Она отлично знала, что алчный царедворец ни за кого даром не вступится. Значит, Черкасский подкупил его. Но эта мысль не обезоружила Елену Дмитриевну; она надеялась на свое влияние на царя и задумала показать Милославскому свою силу немедленно.

— Черкасский стар, блуден, скареден и звероподобен, — твердо отчеканила она. — И знаю, царь-батюшка не даст загубить молодую душу княжны Пронской, вступится он за бедную... Единым своим царским словом отразит ее беду неминуемую. Правда ли, надежда-царь? — спросила смелая боярыня Алексея Михайловича и обдала его томным, нежным, ласковым взглядом.

Царь смешался. Он должен был принять чью-нибудь сторону и одним словом остановить пререкания, но это слово трудно было произнести доброму, нерешительному государю.

— Пустое молвишь, боярыня! — надменно произнес Милославский, думая, что царственный зять непременно примет его сторону. — Не цареве дело мешаться промежду отца с дочерью. Над дочерью один господин — отец!

— Ну, царь-государь не так решит это дело, — твердо произнесла боярыня Хитрово.

— Я уже велел князю Пронскому свою дочь мне показать, — сказал в примирительном тоне Алексей Михайлович. — Она сама поведает мне, люб ли ей Черкасский или нет?

— Да это я могу тебе, государь, сказать, — поспешно проговорила Хитрово. — Я знаю, ненавистен ей князь!

— А ненавистен — стало быть, и толковать нечего: не силком же под венец тащить девок.

— Как же так? Неужели волю девкам давать? — озлобленно спросил его Милославский. — Не дело ты говоришь, царь!

— Молчи, не тебе, холопу, учить меня! — вспыхнул Алексей Михайлович. — Не быть княжне Пронской за Черкасским, вот тебе моя царская воля!

Милославский, хорошо зная вспыльчивость царя, покорно склонил голову. Боярыня Хитрово победоносно поглядывала на царского тестя. Государь сидел насупившись и нервно постукивал пальцами о ручку кресла. Наступило неловкое молчание.

Наконец царице Марии Ильиничне наскучила эта внезапно наступившая тишина, и она решилась заговорить первая:

— Что, перед походом поедem помолиться в монастыри?

— Поедем, как же!.. Беспременно надо поехать святым угодникам помолиться!

— Иван Выговской-то метит в гетманы,— заговорил Милославский.— Беспременно много нам смут причинит.

— Куракина Федора пошлю на него да Ромодановского Григория — авось они его угомонят.

Милославский покрутил толстыми пальцами свою бороду и хвастливо проговорил:

— Если государь пожалует, даст мне начальство над войском, то я скоро приведу Выговского да и самого польского короля пленниками.

Ничто так не раздражало царя, как самонадеянность тестя; он опять вышел из себя, услыхав это, и крикнул:

— Как ты смеешь, страдник¹, худой человечиска, хвастаться своим искусством в деле ратном? Когда ты ходил с полками? Какие такие победы показал над неприятелем? Или ты смеешься надо мною?

Положительно Милославскому не везло в этот вечер, и он с мольбой посмотрел на дочь. Та поняла его безмолвную просьбу.

— Не гневайся на батюшку, государь! — плаксиво проговорила она, зная, как слаб царь к женским слезам.— Он не со зла сболтнул: тебе послужить верой и правдой хочет. И что вы о делах не наговоритесь на сидении! — с тоской dokonчила она.

— И то правда! — поддержал ее супруг.

Но боярыня Хитрово была с ними не согласна; она еще не все высказала, что хотела, и потому, выразительно глядя на царя, проговорила робким голосом:

— Царю-батюшке, конечно, надоели дела, а как быть? На то он Господом поставлен над нами, за то он и есть наш кормилец и отец, а мы — его покорливые детки...

¹ Бранное слово, привычное Тишайшему. (Примеч. авт.) То есть смерд.

— Ишь, Лиса Патрикеевна,— улыбнулся Алексей Михайлович.— Ну, говори, лиса, что еще на хвосте принесла?

— Да вот... царица грузинская просит повидать тебя, да и войско, какое ни на есть, послать бы им на подмогу.

— Эх, бабы! — нетерпеливо произнес Алексей Михайлович.— Что это им покойно не сидится? Ну, бабье ли это дело, скажи?

— Так она за тем сюда и прислана.

— И вовсе же нет! Прислана потому, что негде ей там укрыться! И жила бы себе здесь в холе да в покое... А придет время — и подсобим.

— Не очень-то они нам и нужны! — опять вмешался Милославский.— Невелика в них и корысть-то... Кабы взаправду в подданство наше поддались, а то все это одно пустословие! Помощи нашей просят и золотые горы сулят, а поможем — так отплатят, как теперь казаки,— смутой!

— Нет, в подданство они отдадутся непременно,— возразил Алексей Михайлович.— А только что нам с ними делать? Воевод своих туда слать? Далеко да и опасно: неравно и в самом деле на другую сторону перекинутся...

— Если воеводство... то... оно конечно! — замаялся было Милославский, понявший всю выгоду от воеводства в такой стране, как далекая, но неистощимо богатая Грузия.

— Особливо если воеводство дать... примерно князю Пронскому Борису Алексеевичу,— подзадорила жадность боярина и его ненависть к Пронскому Елена Дмитриевна.

— Ну, ему этого воеводства не видать! — желчно заметил Милославский.

— А почему? — наивно спросила Хитрово.

— Рылом не вышел, вот почему! — дерзко крикнул ей Милославский, полагая, что Елена Дмитриевна хлопочет за своего милого дружка.

Каковы ни были ее отношения к Пронскому, но слушать, как издевался над ним такой выскочка, как Милославский, боярыня никак не могла.

— Чем князь Борис не воевода? И молод, и умен, и родовит, не чета многим прочим,— намекнула она, взглянув на Милославского.

— Чего вы шкуру-то волчью делите, когда и волк-то по лесу бегают? — вмешался царь.— Еще Грузия не наша, не пришло

нам время воевод там сажать... Да кабы и пришлось, князя Пронского мы туда воеводствовать не пошлем: он довольно богат и без этого. И тебя не посажу,— обернулся Алексей Михайлович к тестю,— знаю твою повадку: пусти козла в огород... Ну а помощь грузинам посылать сейчас не могу, повременить надо. Вот молвят, будто сам царь Теймураз подымается в Москву... не дадим Грузии в обиду, это ты, боярыня, не бойся, а время терпит. Ты, Елена Дмитриевна, не серчай да царевне грузинской от меня передай, что, мол, мы завсегда рады ее видеть перед светлыми нашими очами, и делу ее мы помощники. Ну а теперь можно бы было и повечерять? — обратился он к царице.

Мария Ильинична сладко спала, опершись на руку и тихо посапывая.

— Уморилась, бедная! — полунасмешливо, полупечально произнес Алексей.

— Такое уж ее положение,— поспешил оправдать дочь Милославский,— да оно и лучше, когда баба не вмешивается в мужское дело,— многозначительно произнес он, кидая взгляд на боярыню Хитрово.

Та сидела красивая и величественная, и казалось, не поняла намека; только когда царь поднялся с кресла, она тоже встала и поднесла его руку к своим губам.

Лицо Алексея Михайловича вспыхнуло, в его глазах блеснул огонек, но он тотчас же совладал со своим волнением, троекратно облобызал боярыню и пошел к дверям.

Елена Дмитриевна хотела тихонько последовать за ним, но в эту минуту ворвались в комнату царевны и разбудили царицу, крича:

— Боярыня, Елена Дмитриевна! Освободилась ты? Теперь размысли, чем развеять нашу доuku!

— Дмитриевна, а ты послала? — спросила царица боярыню, окончательно проснувшись.

— Сейчас пошлю,— ответила Елена Дмитриевна.

— Что такое? За кем послать? Куда? — обступили ее царевны, сгорая от любопытства.

— Развеять вашу доuku, забаву придумала,— ответила Хитрово.

Поклонившись царице и царевнам, она вышла из комнаты, поспешно прошла к себе, позвала мамушку Марковну и, велев ей сейчас же добыть и привезти ворожею Марфушу, сама стала надевать другой сарафан и убирать голову.

СВИДАНИЕ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Недалеко от Сокольничьего поля, на извилистом рукаве Яузы, стоял питейный дом мещанки Ропкиной, прячась за густыми вязами и березками, в изобилии окружавшими ею. Из дома неслись громкий говор и хохот.

Весенние сумерки медленно надвигались на алевшее на западе небо и разгоняли розоватые облачка, не хотевшие еще уходить. Легкий ветерок шелестел свежей листвой, и молодые листочки нежно трепетали и тихо перешептывались между собой. Где-то громкой трелью разлился соловей, и ему завторили другой, третий... Яуза отражала в своих чистых водах темную зелень садов и синеву неба.

В палисаднике мещанки Ропкиной, за одним из столов, покрытым камчатной скатертью, за чаркою с вином тихо беседовали двое мужчин. Они не обращали внимания на шум и разгул, поднимавшийся в доме, а оба довольно усердно отдавали дань только что входившей в обычай греческой мальвазии, которая стоила дорого и требовалась только весьма богатыми людьми.

Эти двое были Леон Вахтангович Джавахов и его случайный друг, молодой стрелец Дубнов. Дубнов сиял весельем и здоровьем, его зубы то и дело сверкали из-под русских усов, когда он оживленно рассказывал товарищу что-то, время от времени понижая голос до шепота.

— Так вот, князь, поведал все это мне Васька, а я Арину, Ефремову-то внуку, и выкрал и схоронил здесь, у этой самой кумы Ропчихи. Боярину-то в те поры не до нее было — чем-то другим закручинился. А намеднишь спохватился, Ефрема Тихоньча позвал; зело гневен был, зверь зверем, одно слово, так на пути все и сокрушает. Задумал, видно, душеньку свою потешить над девичьей честью невинной, вспомянул об Арише и потребовал ее к себе в «угловую» — такая горница у него, аспида, в терему, далече от всех людей, на самом краю дома; туда он в разгульные дни девок или других баб сзывает и там над ними куражится. Иной раз все ладненько да веселенько проходит, а иной с буйством да с убийством: так, которая на озорство не охоча да честь свою девичью бережет, ну и перечит князю, а ему это-то и любо; он над ними куражится, с издевками всякими да

со смешками разными; над душой сперва надругается, а после всей не пожалеет... Редкая жива оставалась: которую сам на истязательства отдавал, которую собутыльникам на лакомство, а другие, почитай, все руки на себя накладывали. А в лучшем виде, которая ежели без особого куража, ну, ту и замуж выдавал...

— А что же эта девушка, внучка-то? — остановил разглагольствования товарища Леон. — Спаслась от него?

— Спасти-то спаслась, да дюже дорогой ценой. Как позвал князь Ефрема Тихоныча да потребовал внуку, старик ему в ноги и кается, что, мол, не знает, куда внучка подевалась. А он и вправду не знал: Васька Рыжий да я нарочно сварганили дело втайне от деда; ведь старик с перепуга мог бы и отдать внуку-то Пронскому.

— Что же, очень освирепел князь?

— Не знаю в подлинности, как было, а только Ефрем Тихоныч Богу душу под розгами отдал... до смерти его, значит, засекли! — хмурясь, ответил Дубнов.

— Не может быть! — с ужасом произнес Леон. — И князь за это не ответил?

— Где ответить! — с сожалением произнес стрелец. — Ему все как с гуся вода! Да и потом, над маленьким человеком он куражится, а за маленького кто же заступится?

— Есть же у вас закон? — возмущаясь, спросил грузин.

— Есть-то есть, да не для холопов-то прописан.

— Все ведь люди, и холопы же.

— Ну, положим, друг, какой же холоп — человек? Он — хам!

— Разве у слуги не та же душа, что и у господина? — с изумлением проговорил грузин.

— Вот поди же ты, — с убеждением ответил Пров Степанович, — одна, да не одна; господская душа-то, братец, свободная, а холопья...

— Да, да, я знаю, что и у вас рабы есть, — перебил стрельца Джавахов, — но это все равно; души у людей одни, и не может один безнаказанно издеваться над другим!

— Толкуй тут! Колокол один, а звон разный, — махнул рукой Дубнов. — Ну, да будет нам тут перекоряться. Порешили с Тихонычем, ну и царство ему небесное! За нас, за грешных, авось там, в царствии-то небесном, Господу Богу помолится. А дело у меня вот какое: полюбил я девку одну; без роду без

племени она, а красы дивно-дивнинской. Воспитанница она кумы Ропчихи и живет в сем самом доме... И хочу я ее себе в жены взять...

— А она того хочет?

— Хочет. Как девке замуж не хотеть?

— Ну, так в чем задержка?

— Да вот в том, что эта самая Ропчиха уперлась лбом о стену, ровно козел, и хоть ты тресни — ни взад, ни вперед. А девка из-под ее воли не смеет идти. Вот ты тут и поразмысли.

— Да,— рассеянно ответил Леон и, вынув из-за пазухи часы, взглянул на них.

— Ты что, торопишься? — спросил Дубнов.

— Да, есть у меня одно свидание.

— Успеешь! Ты вот что мне ответь: не откажешь другу помочь? Нет? Ну, так выкраду я Танюшу, и повенчаемся мы с нею, а там Ропчиха поди лови! Ау, брат, не поймаешь.

— Я-то зачем тебе нужен?

— А как же? Такое дело тонко сварганить нужно — один я не справлюсь.

— Хорошо, назначай день. А когда же мы мой кинжал вызволять станем?

— Да хоть завтра пойдем! Ты был у ведьмы еще раз?

— Был,— смущенно и нехотя ответил Джавахов.

— Что, небось ничего колдунья не сказала? — насмешливо произнес Дубнов.— Только ефимки выманила?

— Нет, сказала. Место точно указала. Только я хочу еще раз сам наведаться к Черкасскому. Может, и сам он отдаст...

— Известно, попытайся. Он теперь — жених: может, и раскиснет от такой великой радости. Что с тобою? Эк тебя перекосило! — спросил стрелец, с изумлением глядя на князя Леона, который вдруг побледнел и схватился за простенький кинжал, висевший у него сбоку.— Или что попритчилось? Кинжал все забыть не можешь?

— Да... и кинжал, и все,— глухо произнес Леон, и его глаза загорелись дикой ненавистью.— Нам с князем еще встретиться надобно, да уже не на живот, а на смерть.

— Ишь ты! С виду ты — будто дитя малое, а сколько в тебе этой самой свирепости... поди, ночью повстречайся тебе князь в темном переулочке, пырнешь ты ему в бок?

— Если от честного поединка откажется, пырну,— сквозь зубы ответил грузин убежденно.

— То-то и есть! А тогда, помнишь, артачился: из закоулка-де не трону, не по чести это!

— Тогда я мало знал ваши нравы и обычаи, думал, вы все — честные воины, а у вас вон какие князья да бояре... Ты не сердись, друг, — кладя свою руку на плечо стрельца, ласково проговорил молодой грузин. — У каждого народа свои обычаи, но таких кровавых обычаев, как у вас, мы не знаем. Таких царей, как ваш Иоанн Грозный, у нас никогда не было; таких смут, как у вас были, мы не zapomним. Мы народ мирный, тихий! Если у нас что и скверное совершается, то это дело пришлых в нашу страну людей. Каждый хочет нас поработить, каждый думает властвовать у нас...

— Больно уж вы горделивы! — неопределенно пробормотал Дубнов.

— Все, что у нас еще осталось, это гордость, — подымая голову, с горечью произнес Леон.

— Поди, у вас убийств не случается? — ухмыляясь, спросил Дубнов, подливая себе и товарищу мальвазии.

— Случается, и очень даже часто, но для этого есть открытый бой, — ответил Леон и, залпом опорожнив свой стакан, встал. — Прости, мне пора.

— Когда же начнем действовать? — протягивая товарищу руку, спросил Дубнов.

— Ты когда хочешь, а я... я извещу тебя. Сегодня решится, как действовать. Прощай пока!

Леон кивнул головой, поправил на ней папаху и, выйдя из палисадничка, поспешно зашагал по немощеной улице по направлению к Кремлю.

Дубнов, оставшись один, докончил бутылку, расплатился с кумой Ропчихой и, тихо посвистывая, повернул за угол питейного дома, где, пройдя несколько шагов, остановился у плетня, продолжая насвистывать какую-то песенку.

Сумерки уже давно перешли в душистый вечер; на небе замигали звездочки; соловьи заливались звонче, и из ближней рощи доносились сюда все нежнее их чудные трели.

Молодой стрелец невольно залюбовался этим прекрасным весенним вечером и не заметил, как между темной зеленью липы и кустов сирени мелькнуло что-то светлое. Через минуту его шею обвили две обнаженные руки, и легкая кисея защекотала его щеки.

— Милая моя, желанная! — страстно обняв гибкий стан девушки, зашептал Дубнов, стараясь разглядеть черты ее лица, но в темноте ночи сверкали только, как звезды, ее большие черные глаза да белело продолговатое и тонкое ее личико. — Что так долго не шла, любя моя? — сажая девушку на дерновую скамью, нежно спросил он.

— Тетки не пускали. Сейчас вернулась тетка Марфа и куда-то заторопилась вдруг идти; ну, обо мне и забыли; а я шасть сюда. Ах, свет мой, когда уйду я из дома этого! — с тоской произнесла девушка. — Тетка Марфа как завидела тебя, так и начала тебя поносить! Ни одной косточки твоей не оставила в покое! А черномазого того, что с тобой был, ну мне выхвалять: и такой-то он, и сякой...

— Ишь, старая ведьма, губа-то у нее не дура! — сердито произнес Дубнов. — За князя задумала тебя просватать! Да не жирно ли будет? Поди, за него и любой боярин дочку свою высватает...

— А чем я хуже иной какой боярышни?

— Полно, Танюша, вздор молоть! Нешто за меня пойдет княжна какая? Всяк сверчок знай свой шесток, а ежели я тебе кажусь незнатен, то ты вольна над собой, никто тебя не приневолит.

— Что ты, что ты, Провушка, свет очей моих! Да никого мне не надо, кроме тебя! Ты-то вот возьмешь ли меня за себя, безродную, бесплеменную?

— Возьму, лапушка моя, возьму, голубонька моя. Скажи только, родная, когда выкрасть тебя, красу мою ненаглядную? Видно, добром тебя тетки за меня не отдадут. Или вправду Бову-королевича тебе ищут?

Долго еще шептались влюбленные, и их любовной песне вторили шелест листьев да звонкие трели соловьиные...

VII

НЕРАЗДЕЛЕННАЯ СТРАСТЬ

Елена Дмитриевна, придя с «верха», ожидала князя Леона, решив дать ему генеральное сражение, так как ее кипучая натура дольше не могла томиться и ждать.

Он много раз приходил к ней, они говорили, играли на джунануре, из которой боярыня выучилась наконец извлекать за-

унывные, печальные мелодии Грузии и Востока, думая своим искусством привязать к себе этого странного юношу, пылко на вид и сдержанного, холодного в обращении. Однако Елене Дмитриевне не верилось, чтобы молодой князь оставался равнодушным к ее красоте; она судила его сдержанность как признак робости и неуверенности и вот сегодня решила подбодрить его нерешительность.

Но князь Леон, по обыкновению, не торопился на свидание и уже изрядно опоздал; боярыня уже боялась, что сегодня ей вовсе не удастся увидеть его, так как ожидала, что ее снова скоро позовут в царские покои.

«И чего это царице попритчилось сегодня непременно ворожею эту слушать. Успела бы! — думала с досадой боярыня, нетерпеливо поглядывая на часы. — И чего же это он-то не идет?»

Но вот слышались торопливые шаги сенной девушки, и она ввела в комнату гостя.

Джавахов вошел, мягко ступая по полу, поклонился хозяйке и, когда она, зардевшись, указала ему на кресло возле себя, молча опустился в него.

Девушка принесла два высоких железных шандала с салными свечами и зажгла их, поставив на стол.

В углу комнаты, на огромном поставце, стояла груда образов в дорогих ризах, осыпанных драгоценными камнями. Множество лампад теплилось перед ними, наполняя комнату удушливым запахом масла. На открытых окнах стояли горшки с пышной резедой и розами; над окном висела золотая клетка с какой-то редкой заморской птицей.

Сенная девушка внесла, по заранее данному приказанию боярыни, поднос с бутылкой старой ромanei, двумя серебряными чарками и несколькими серебряными же и золотыми блюдами со всевозможными сладостями.

— Выпей, гость дорогой! Отведай моей ромanei! — сказала боярыня, подавая гостю полную чарку с вином и низко кланяясь ему. — Один царь это вино пьет... да вот ты еще, мой сокол! — певучим голосом причитывала Елена Дмитриевна, вызываясь глядя в смущенные очи своего гостя.

— За что такая мне честь? — теряясь под этим взглядом, произнес грузин.

— Будто не знаешь? — задорно закинула боярыня свою головку с тяжелой белокурой косой, скрученной на затылке, и глядя на него из-под полузакрытых ресниц. — Ну, пригубь же, пригубь, сокол мой ясный, омочи уста твои сахарные...

Она близко коснулась обнаженным круглым плечом плеча молодого человека; он почувствовал горячий трепет ее тела и невольно вздрогнул.

Елена Дмитриевна еще ближе прижалась к нему и, щекоча его смуглую щеку завитком белокурых волос, шептала, почти касаясь его уха своими губами:

— Будто не знаешь, не ведаешь, что ты дороже мне всего на свете! Истомилась я вся, любви твоей дожидаясь, моченьки моей терпеть больше нет! А ты люби меня или вели казнить, но жить без тебя я не могу, свет очей моих, ненаглядный мой!

Она обвила шею князя Леона своими красивыми руками и впиалась поцелуем в его губы. Он не имел сил оторвать их от этого упоительного поцелуя.

— Любишь, любишь? — шептала Елена, покрывая его лицо поцелуями. — Милый мой, как мы счастливы будем! Повенчаемся, уедем, далеко-далеко... чтобы счастья моего никто не украл; орла моего цепью не опутал, жизни моей не отнял! Желанный мой! Никого еще так не любила я...

Она еще долго говорила князю Леону нежные слова, покрывая его лицо горячими поцелуями, но он уже не отвечал на них, тяготясь сценой и недоумевая, как прекратить ее. Его лицо делалось все сумрачнее и холоднее, в глазах загорался злобный огонек.

Как ни была ослеплена страстью избалованная красавица, но она скоро заметила, что возлюбленный довольно холодно принимает ее любовь.

— Что с тобой, сокол мой? — прижимаясь щекой к его щеке, стала допытываться она.

— Оставь меня, боярыня, — вырываясь из ее объятий, проговорил наконец князь. — Не следует женщине просить у мужчины любви! Наши женщины не так любят. Разве это любовь? Блажь у тебя одна! Если бы ты любила, так другого не целовала бы! — с презрительной усмешкой проговорил он.

— Кого ж это я... целовала? — бледнея, но еще не сдаваясь, спросила Хитрово.

— Видел я, боярыня, — вставая, ответил грузин. — Видел сам, как ты горячо целовала князя Пронского, узнал потом, что любила ты его! А я... и взаправду было чуть своего сердца тебе не отдал! Уж очень красота твоя на редкость дивная, думал я, что и душа у тебя такая же чистая, как кажут очи твои, да, Бог помиловал, вовремя ты себя показала мне! Спали с меня твои

чары, и стало тогда легко и свободно на душе моей. Не обессудь, боярыня! — Леон низко поклонился ей. — Думал, за делом каким зовешь, слуга я твой всегдашний... Только слуга! Прощай! — И он пошел к дверям.

Боярыня, смотревшая на него, бледная, с широко раскрытыми глазами, при последних словах вскочила, как раненная стрелой, с подавленным криком подбежала к грузину и, крепко схватив его рукой, скорее прошипела, чем проговорила:

— Так не любишь? Поиграл — и будет!

— Успокойся, боярыня, — ответил изумленный князь. — Когда ж я с тобой играл?

— Так не любишь? — повторила в исступлении Елена, стискивая руку молодого человека.

— Не люблю! — спокойно и твердо ответил грузин, холодно глядя в ее красивое лицо, теперь обезображенное гневом и страстью.

— Ах! — простонала она, выпуская его руку и хватаясь за сердце, и у нее градом полились слезы. — Не любит, не любит! — с тоскою шептали ее губы.

— Полно, боярыня! — подойдя к ней, проговорил Джавахов, невольно тронутый ее горем. — Это скоро пройдет, и на твоих щеках снова заиграет румянец, а очи твои снова заблещут радостью и... новой любовью.

Но Елена Дмитриевна мрачно слушала своего утешителя. Слезы скоро высохли, она уже с ненавистью посмотрела на только что дорогое ей лицо и спросила:

— А кто она, моя разлучница?

Грузин не понял.

Елена Дмитриевна криво повела губами.

— Дурака валяешь? — с презрением кинула она.

— Я хотел расстаться с тобой по-хорошему, друзьями, думал, расстанемся, а ты меня оскорбляешь. За что — не знаю. Ну, бог же с тобой. Прощай!

— Нет, погоди! Ты мне скажешь, кто та, на которую ты променял меня? — И Хитрово пристально посмотрела на него.

Он не умел лгать и смущенно потупился под нестерпимо испытующим взглядом разъяренной женщины.

— А, так я угадала! — взвизгнула ревнивая боярыня. — У меня есть разлучница? А! Погоди же, милая! Ты узнаешь, как становиться на пути боярыне Хитрово. Я сокрошу тебя, кто бы ты ни была, я не оставлю у тебя живой косточки...

Князь Леон, бледнея, слушал этот ревнивый бред исступленной женщины и наивно спросил:

— Но ты не знаешь ее, как же ты будешь ей мстить? И за что? Разве она виновата, что я люблю ее? Но что бы ни было, я защищу ее! — гордо проговорил князь.

— От бабьей мести нет защиты!

— Ну, что ж, теперь я знаю, что ты мой враг. Всегда лучше знать врага, чем верить ложному другу.

— Да, враг, враг до смерти! — страстно крикнула боярыня. — Враг тебе и всем твоим родичам и землякам!

Леон Вахтангович пожал плечами, с сожалением окинул взглядом отвергнутую им красавицу и медленно вышел.

Боярыня с минуту еще смотрела ему вслед, потом схватилась руками за голову и заметалась по комнате, громко причитывая.

Вся прислуга в смятении столпилась у ее дверей, не смея войти туда.

Между тем посланная от царицы девушка торопила кого-нибудь доложить Елене Дмитриевне, что царица требует боярыню немедленно к себе.

— Поди-ка сунься, доложи! — шипели девушки на посланную. — Кому жизнь не мила, тот и доложит. Боярыня-то в сердцах страсть как люта.

Однако о царском приказе все-таки доложить надо было.

— Послать за Марковной, ей всего сподручнее, — предложил кто-то.

Быстро сбегали за Марковной. Переваливаясь с боку на бок, та пришла, подстрекаемая интересом повидать свою питомицу в бешеном гневе.

— Наверно, что-то не выгорело, — бормотала она про себя и, расспросив царскую посланницу, вошла к боярыне.

Та сидела за столом, положив голову на руки и подвывая чисто по-простонародному.

— Ну, чего раскудахталась, словно наседка! — приветствовала ее мамушка.

Но боярыня и не заметила ее прихода.

— От царицы девушка! Слышь, девушка пришла. Требуют, сейчас чтобы на «верх» шла. Слышь, зовут! Гадалку привела я царице. Слышь, боярыня... — Она близко пригнула к ней свое лицо и тихо, но внушительно добавила: — Марфушка там; как приказывала, свела я ее к царице... да без тебя-то как бы ведьма чего лишнего не сболтнула!.. Очнись-ка да поди сама!

Наконец боярыня подняла свой взор на мамушку, провела рукой по лицу и, тряхнув головой, встала.

— Что попритчилось-то, красавица? — спросила наперсница.

— Не любит он меня, мама, не любит! — припадая к плечу старухи, горячо проговорила Елена Дмитриевна, и слезы ручьем полились из ее глаз.

— А не любит — и не надо, — равнодушно возразила мамушка, — оно и легче без любви-то! Да кто тебе так нескладно сказывал? Красу такую нешто можно да не любить?

— Сам он, няня, сказывал.

— Сам? — удивилась Марковна. — Ишь ты, непутевый человек! Да что ему еще надо? Кто такая разлучница-то?

— Не знаю, не сказывал, — мрачно ответила боярыня.

— Узнаем, невелика тайна. Ну а теперь ступай-ка к царице. Там, поди, гаданье на весь свет. Марфушка-то, ведьма, идти не хотела, заупрямилась, да я огоньком-то ее припугнула. Говорю: «Не пойдешь, боярыни не послушаешься, царю о твоём волшебстве доложим, маленечко ноженьки-то тебе и подрумяним». Затрепетала она да и буркнула: «Не волшебством я занимаюсь, а гаданьем; за это царь на костре не жжет». Ну и пришла!

Боярыня сумрачно выслушала старуху и проговорила:

— Слушай, мама, отомстить я хочу и ему, и ей, неведомой разлучнице моей, и она, Марфушка, в этом деле должна мне помочь. Но я не хочу, чтобы царица ведала про мои дела. Приведи-ка ты эту ворожею после «верха» ко мне! А теперь дай шугай!

Накинув на плечи дорогой парчовый, с соболями, шугай, боярыня вышла из покоя. Марковна покачала ей вслед головой и что-то пробормотала себе под нос.

VIII

ГАДАНИЕ

В это время на «верху» шли усиленные хлопоты.

Царица и царевны с самыми близкими боярынями забились в покои царевен, чтобы заняться гаданием. Они знали, что сильно досталось бы им, если бы царь узнал, что они нарушили его строгое приказание и принимали у себя во дворце гадалку. Однако, разузнав, что царь пирует с боярами и не скоро еще

хватится жены и сестер, женщины решились доставить себе развлечение, тем более что в случае открытия их затей ответчицей была бы царская же любимица, боярыня Хитрово.

Немного тревожило царицу то обстоятельство, что Елена Дмитриевна долго не шла. Вдруг неожиданно-негаданно явится царь? Что тогда делать, что ему ответить? Царевны хотя и очень бойки и речисты на язык, а когда вспылит братец Алексей Михайлович, то куда их и бойкость денется, ни словечка не вымолвят, потупятся и, смолчав, уйдут. А она, царица, одна и ведайся как знаешь с царским гневом.

— Ах, что это боярыня не идет? — тоскливо вопрошала она близкую боярыню и не могла сосредоточить свои мысли на том, о чем говорила ей гадалка.

А Марфуша, закутанная в лохмотья, с большим платком на голове, из-под которого спускались густые пряди ее черных волос, гадала по «Гадальной книге пророка и царя Давида». Это была небольшая книжонка, заключающая ряд коротеньких статей с содержанием, заимствованным из евангельских или апостольских текстов, с иносказательным толкованием в интересах гадающего. В начале каждой статьи выставлялись цифры, колеблясь в своих сочетаниях между 1, 1, 1 и 6, 6, 6. Очевидно, это указывало на способ гадания тремя костями.

— «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся», — говорила низким, глухим голосом Марфуша, когда сухая горошина, заменявшая кость, остановилась на одной из статей.

— Что же это означает? — спросила с недоумением Ирина Михайловна. — Ты закинула, скоро ли выйду я замуж, а тут вышло о грехах.

— Стало быть, когда ты простишь всем грехи, тогда и твои желанья сбудутся, — не смущаясь, ответила Марфуша.

— А узнай-ка, кто будет моим суженым? — любопытствовала Татьяна Михайловна.

Марфуша подняла руку с горошиной и, бормоча заклинания, уронила ее на книжку.

— Ну, читай, читай! — торопили царевны.

— «Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань», — прочитала гадалка, и улыбка мелькнула на ее тонких губах.

— Что это будет, мать моя? — с испугом спросила бойкая Татьяна Михайловна. — Значит, мой суженый... ой, даже страшно на ночь слово такое вымолвить...

— Значит, что суженый твой в тюрьме сидит на краю света, а придет время — освободится и к тебе явится с великой ратью.

— Лучше на лучину погадай! — продолжала нетерпеливая Анна Михайловна. — Что-то несуразное вещает книжка твоя!

— Боярыня Елена Дмитриевна отчего не идет? — простонала между тем царица.

— Ну, не идет боярыня, и не надо, — довольно резко оборвала невестку царевна Анна, — а ты все стонешь и поиграть не дашь спокойно. И что тебе далась эта боярыня?

— А ежели невзначай да царь заглянет? Что тогда скажешь? — испуганно возразила царица.

— Ну и пусть его заглядывает, — беспечно ввернула Татьяна Михайловна, — ворожея и ему погадает.

— Да гадалка-то хваленая что-то неладное все говорит, — капризно заметила Ирина Михайловна.

— Не понимаете вы книжных слов, оттого это, — бесцеремонно проговорила Марфуша, — да и я не горазда по книжке-то гадать. Вот по руке, по звездам, еще... — но она вдруг запнулась, пугливо озираясь.

— Говори, говори, не бойся, не выдадим!

— Нет... много лишних ушей здесь, — тихо произнесла Марфуша, так что ее слышали одни только царевны.

— Страшное что? — еще тише спросила царевна Ирина, сгорая от любопытства. — Что, скажи, голубушка!

— Тебе одной скажу, коли не выдашь!

— Забожусь, как только хочешь!.. Все схороню!

— Преклони ухо, — серьезно приказала гадалка и, когда царевна, чуть дрожа, исполнила это, еле внятно произнесла: — Души мертвых могу вызвать, они говорить будут...

Царевна, не дослушав, с заглушенным криком отпрянула от страшной ворожеи.

— Что, что она тебе сказала? — обступили царевну сестры.

Та пугливо глянула на цыганку, которая пристально посмотрела ей прямо в глаза.

— Ни... ничего! Она мне ничего не сказала, — оправляясь, произнесла царевна и тут же беспечно прибавила: — Ты когда-нибудь мне погадаешь... так!

— Как? — приставали сестры.

— На руку,— выручила царевну цыганка,— дай ручку, и сейчас погадаю! — Она взяла маленькую руку царевны Татьяны, долго и внимательно разглядывала ее и произнесла: — Рука твоя хорошая: жизнь долгая, тихая и благочестивая... Только больших радостей у тебя мало будет, а крови, крови много увидишь! Ты-то будешь в стороне, а кровь вокруг тебя так и льется, много ее льется...

— Что это ты страсти какие говоришь? — остановила их царевна Анна.— Посмотри и мне. Неужели так-таки замуж и не выйду? — И она протянула гадалке свою руку.

— И твоя жизнь долгая и тихая. Только ты строптивее сестры. Жизни семейной что-то не видать! Не обессудь, царевна, нет у тебя суженого... а крови, крови тоже немало, и ты близко к ней стоишь... ближе сестрицы!

— Оставь, ну тебя и с гаданьем! — вырвала свою руку Анна Михайловна.

— Царица, что ж ты не погадаешь? Сама звала ворожею, а теперь сидишь и ничегошеньки? — спросила одна из боярынь.

— Боязно мне в положении-то моем...

— Ничего страшного ворожея и не скажет,— заметила царевна Ирина.— Да с той поры, как неправду мне сказала одна странница насчет жениха моего, не верю я ворожеям!

— А ежели, царевна,— проговорила Марфуша,— я покажу тебе твоего бывшего суженого, согласишься ли ты мне?

— Что же, покажи, тогда я поверю.

— Только не здесь, не здесь! — засуетились боярыни.

В это время в покои вошла Елена Дмитриевна. Она была бледна, ее голубые глаза глядели холодно и жестко; вокруг рта легла складка, придававшая ее красивому лицу угрюмо-злое выражение.

— Звала меня, царица-матушка? — рассеянно произнесла она и села на скамью, не глядя ни на кого.

Она не заметила, как руки цыганки дрогнули и выпустили концы платка, а глаза загорелись странным блеском.

— Без тебя боязно как-то,— виновато улыбнулась царица,— вот хотела узнать, кого Бог даст... Слышала про искусство ее, а вот царевны сказывают, не умеет она разгадывать.

— Скажи, боярыня, сильна я или нет? — раздался низкий, глухой голос цыганки, и она пристально посмотрела в глаза Хитрово.

У той пробежал какой-то невольный трепет по телу, когда она почувствовала на себе странный взгляд Марфушиных черных глаз, и она, отворачиваясь, неуверенно произнесла:

— Да... да, она искусница.

— Ты как будто говорила, что опаслива она? — спросила царица. — И чем опаслива — предсказаниями своими или другим чем?

— Тебя испугать могла, — внутренне дрогнув, ответила Елена и украдкой глянула на гадалку.

Та как-то зловеще улыбалась, не отводя своих глаз от лица боярыни.

— Будешь гадать царице или пойдем ко мне? — приставала к Марфуше царевна Ирина.

— Известно, пусть гадают! — подбадриваясь присутствием Хитрово, попросила царица.

— Пусть все уйдут, кроме боярыни! — указала Марфуша на Елену Дмитриевну. — Ни при ком ничего не скажу царице.

Мария Ильинична, побледнев, пугливо глянула на свою наперсницу. Елена Дмитриевна постаралась овладеть собою и, улыбаясь, проговорила:

— Не бойся, матушка-царица, ничего она не сделает тебе! Ступайте, милые, в ту горенку, сейчас мы вас и назад вернем, — обратилась она к царевнам и боярыням.

Те стали проходить в соседнюю комнату.

Марфуша, оставшись с Хитрово и царицей, взяла руку последней и стала внимательно рассматривать ее.

Между тем Елена Дмитриевна отдалась своим размышлениям. Теперь она не хотела гибели цыганки; она не боялась ни ее, ни князя Пронского, знавших ее тайну, а хотела только одно — отомстить, уничтожить того, кого еще так недавно безумно любила.

Любила? Неужели теперь она уже не любит, разлюбила? Нет, нет, она еще сильнее, еще безумнее полюбила его, но отдать его другой, зная, что он с этой другой будет проводить часы блаженства, — нет, нет! Лучше смерть, лучше своими руками задушить его, уловить его последний вздох, последнюю улыбку, последний взгляд, а там и самой умереть на его холодящем трупе...

«А она? Разлучница? — вдруг вспомнила боярыня ту, ради которой ее отвергли. — Неужели ей жить? Может быть, она хоть день, хоть миг один была с ним счастлива? О нет, змея, злая

разлучница, узнаешь ты, что значит стать на пути боярыни Хитрово! Узнаю, всю красу твою по капле изведу, изойдешь ты слезами, иссохнешь от лютой хвори!»

В бешеной ревности Елена Дмитриевна совершенно забылась, громко закричала, вскочив со скамьи и грозя в пространство кому-то кулаком.

— Что с тобою, мать моя? — с изумлением спросила царица, которой Марфуша что-то тихо и ласково говорила.

— Нemoжeтся мнe что-то, царица-матушка, прости!

— А ты испей святой водицы, вот там, у киота, в бутылочке стоит; намедни странница мне из Иерусалима принесла, от наговора, говорит, помогает. Испей-ка!

Боярыня взяла бутылочку и поднесла ее ко рту; потом омыла водой лицо и, несколько раз истово перекрестившись, вернулась спокойная на свое место.

— Что, полегчало ли? — участливо спросила царица.

— Как будто полегчало; спасибо на добром на слове, царица! А тебе что насаждала гадалка?

— Да что же? — ласково улыбнулась Мария Ильинична. — Все хорошо! Говорит — проживу еще много годков, тихо да мирно, в добром здоровье; про прошлое много правды сказывала, — чуть вспыхнув, проговорила государыня. — Ну, Марфуша, что там еще вычитала?

Лицо цыганки омрачилось, и она с грустью посмотрела на царицу.

— Говори, кого рожу: сыночка или опять девочку? — запинаясь, спросила Мария Ильинична.

— Боюсь я, матушка-царица, за тебя боюсь!.. Испугаешься!

— Ничего... говори уж!

— Не видно, чтобы мальчик, а странное что-то: вокруг его рождения все красно — кровь, значит; будто богатырь, а и не мальчик; и не увидишь ты славы его; царем он будет сильным и не царем... чудное что-то, и не разберу, — уныло покачала головой гадалка. — Мне надо... со звездами о ребенке твоём поговорить...

— Со звездами? — изумилась царица. — Неужто на руке мало написано? А ежели царя спросить?

— Что же, спроси, — спокойно ответила Марфуша. — И царю, может, приятно будет о ребенке узнать.

— Не любит царь ворожей, — заметила Хитрово.

— Я заступлюсь,— ласково проговорила царица,— да и ты тоже замолви словечко, боярыня...

— Я что же... я скажу,— задумчиво согласилась боярыня.— А теперь звать, что ли, царевен?

— Зови, пожалуй!

Боярыня подошла к дверям, ведущим в соседнюю комнату, и кликнула царевен и боярынь.

Все обступили царицу и с любопытством стали расспрашивать, что ей предсказала цыганка.

— Да ничего особенного,— вместо царицы ответила Елена Дмитриевна,— все, почитай, хорошее.

Мария Ильинична приказала принести сластей, меда и вина заморского и стала угощать боярынь, а те по очереди просили Марфушу погадать им.

Ворожея охотно согласилась и между серьезными словами и предсказаниями говорила много веселого и шутовского. Поднялись шум и смех. Царица, лениво потягивая из чарки водку, которую пила ради полноты, смотрела на веселившихся царевен и изредка улыбалась им.

Боярыня Хитрово нетерпеливо поглядывала на Марфушу, ожидая, когда можно будет ее увести к себе, на свободе все у нее выведавать и спросить ее совета. Ведь уже раз она помогла ей избавиться от постылого мужа, поможет и теперь спровадить подальше злую разлучницу. А там князь Леон поскучает, потушит да к ней же и вернется, на ее груди забудет свое минутное увлечение.

Под влиянием этих дум Елена Дмитриевна, весело оглянув всех, улыбнулась и, повернувшись к царице, шепнула:

— Пора гадалке и уходить. Неравно теперь царь придет. Уведу-ка я ее, царица-матушка, до греха?

— Ну, уведи,— согласилась Марья Ильинична,— да позови потешниц и плясовиц.

Елена Дмитриевна распорядилась, чтобы позвали сказочниц-старух, несколько карлиц, придворных шутих и еще сенных девушек, специально составлявших как бы домашний придворный балет.

В комнату ввалилась огромная толпа женщин, пестро разодетых и молчаливых, как куклы. Карлицы подкатились к царице и наперерыв стали выказывать свое искусство. Но царица отмахнулась от них, поманила одну из странниц и, велев ей сесть у своих ног, стала слушать ее монотонный рассказ о хождении «во град Иерусалим».

Царевны со скучающим видом смотрели, как девушки под звуки песен тихо двигались, как тени, вертелись волчком, размахивали руками и сходились в какие-то замысловатые фигуры.

Ирина Михайловна наполняла свою золотую чарку душистой мальвазией и цедила ее сквозь зубы. Ее подмалеванные глаза лихорадочно блестели и покрывались истомой; на щеках разгорался естественный яркий румянец, а полные губы пересохли. Какие-то мысли бродили в ее отуманенной голове, какие-то образы мелькали перед ее помутившимися глазами; в груди зажигались смутные желания, сердце трепетно и усиленно билось. Часто бывало это с нею.

Она начинала истерично смеяться, сама пускалась в пляс, выпивала еще чарку-другую пьяной браги, а затем с душераздирающими рыданиями валилась на скамью и билась о нее своей все еще красивой, но уже начавшей сесть головой. Бедная царица! Так прошла вся ее жизнь, так прошла заря ее молодости. Тускло, бледно, беспросветно — днем, и тяжелое забвение — ночью.

В таком же состоянии бывали и сестры царевны, и другие женщины.

Боярыня Хитрово, как только заметила, что все перестали заниматься цыганкой, приказала последней идти за нею. Они обе безмолвно вышли из покоев царицы, в то время как царевна Татьяна, самая сдержанная и благочестивая из всех сестер, скинув повязку с головы, простоволосая, вертелась в толпе других девушек в неистовой пляске с блуждающей, жалкой улыбкой на устах, а царевна Ирина уже билась головой о скамью, заливаясь жгучими слезами об истерзанной женской душе.

Бедные царевны! Бедные русские женщины того далекого, канувшего в Лету времени.

IX

В ОПОЧИВАЛЬНЕ БОЯРЫНИ ХИТРОВО

Елена Дмитриевна и Марфуша поспешно шли по коридорам теремов, пока дошли до покоев, которые занимала боярыня.

Вся многочисленная дворня Елены Дмитриевны по распоряжению Марковны была услана спать, и в комнатах была мертвая, гробовая тишина.

Боярыня ввела Марфушу к себе в опочивальню.

Это была большая комната с двумя окнами, деревянным потолком и стенами, оклеенными бумагой. В углу стояла нарядная кровать с камчатным «небом», со множеством перин и подушек. Великолепное, затканное золотом и жемчугом и опущенное дорогим соболем одеяло покрывало кровать из красного дерева с золотой и серебряной отделкой; тут же стояли «колодки» — скамеечки, шитые шелками и бисером, по которым взбирались на высокие пуховики.

Елена Дмитриевна посадила свою странную гостью на лавку, крытую персидским ковром, пододвинула к ней длинный, узкий резной столик на точеных ножках и проговорила:

— На, почитай что по книжке.

— Зачем по книжке? — спросила гадалка. — Я лучше по руке или звездам! — указала она на небо, где ярко сияли звезды.

— Как хочешь! — пожала плечами боярыня. — Только мне не о себе знать хочется...

— А о ком?

Боярыня замялась, не зная, как объяснить ей свое желание.

А Марфуша тем временем с любопытством стала разглядывать безделушки, наполнявшие комнату. На столиках, украшенных камнями и пестрыми кусочками, на столах, крашенных и покрытых атласом и бархатом, стояли затейливые ларчики и шкатулочки, покрытые финифтью, а некоторые даже и драгоценными камнями; в этих ларчиках хранились дорогие опашала из перьев и харатыи, белильницы, румянницы, суремница, ароматница, баночки, бочоночки, чашечки, тазики и «фарфурные склянцы» с итальянскими притираниями, ароматами, помадами, душистыми грецкими и индийскими мылами. А подле виднелись резные гребни и гребенки из слоновой и моржовой кости, лежали и две «щети». На одном из столов, в плоском серебряном ларце, виднелось представлявшее тогда редкость маленькое ручное зеркальце из хрусталя, завернутое в чехол.

— Слушай! — придвинулась к цыганке боярыня. — Ну, что занимательного в безделках? Слушай меня внимательно.

— Ну, ин слушаю! — проговорила, усмехнувшись, Марфуша, отрываясь от созерцания диковинных вещей.

Торопясь, волнуясь и сбиваясь, начала говорить боярыня, старательно избегая называть имена.

Когда она кончила свой сбивчивый рассказ и вопросительно взглянула в лицо ворожеи, та спросила ее:

— А кто же это будет... молодец-то этот?

— Зачем тебе знать? — смущенно ответила боярыня.

— Как же я могу говорить, если не знаю, кто этот человек будет?

— Ну, я и говорю тебе: он молод, красив... и чужеземец.

— Красив и чужеземец? — вдумчиво повторила ворожея. — Может, имя его скажешь?

— Зачем, зачем? — тоскливо повторила боярыня.

— Как знаешь, а я так, на ветер, гадать не могу, — решительно произнесла гадалка и встала.

— Постой, — остановила ее Елена, — а если я скажу... одно имя скажу, довольно того будет?

— Довольно будет.

— Зовут его... Леоном, — чуть слышно шепнула боярыня и опустила взоры на узорчатую скатерть стола.

Она не заметила, как изменилось лицо гадалки, каким любопытством загорелись ее глаза и как по ее губам пробежала торжествующая улыбка.

— Так он изменил своей любви? — глухо спросила она.

— Да, — кивнула головой боярыня.

— Чего же ты хочешь?

— Я хочу разлучницу... ее... отвратить от него...

— Зелье ей какое дать? — злорадно спросила ворожея. — Или так чем-либо, наговором со света сжить?

— Не... не знаю, — растерянно прошептала Елена Дмитриевна.

— А как зовут ее? — допытывалась хитрая цыганка главного, что ей хотелось знать.

— Не знаю! — со страстной тоской простонала боярыня.

— Узнать хочешь?

— Да.

Марфуша задумалась. Водворилось продолжительное молчание; боярыня боялась нарушить его. Часы тихо тикали, как-то странно звуча в глубокой ночной тишине. Луна на небе высоко поднялась и точно с любопытством заглядывала в открытые окна терема.

— Трудно, боярыня! — проговорила наконец цыганка.

— А ты попробуй! Награжу тебя по-царски.

Марфуша усмехнулась:

— Ведомо мне, боярыня, что ты со света меня изжить хочешь, а не то что наградить по-царски.

— Кто наплел тебе такую небылицу?

Цыганка впилась своим пронизывающим взглядом в светлые глаза боярыни.

— Мне, боярыня, никто не наплетал; в душе твоей читаю и вижу, что зло против меня имеешь.

— За что же? — пролепетала Хитрово.

— Сама знаешь за что. Ну, будет нам перекоряться! Мы с тобою, боярыня, не впервые видимся, да и не в последний раз. Твоя звезда с моей скрещивается... Дай-ка твою руку! — Елена Дмитриевна робко протянула свою выхоленную руку цыганке. Та внимательно стала разглядывать ее. — Так, так! Ой, боярыня, жалко мне тебя, да и себя-то жалко! Сгубишь ты и меня и себя!

— Оставь себя! — гневно крикнула Хитрово. — Статочное ли дело равняться тебе с родовой боярыней? — И она отдернула свою руку.

— Спесива больно! — закипая вдруг гневом, ответила цыганка и, выпрямившись во весь рост, скинув с головы платок, гордо окинула боярыню взглядом. — А, кажись, мы с тобою одной крови...

— Молчи, колдунья! Что ты несешь такое несуразное?

Цыганка, сняв с шеи ладанку, протянула ее Хитрово, но предусмотрительно не отдала ей в руки.

— Смотри! — грозно произнесла она, показывая ей зашитый в ладанку драгоценный перстень. — Смотри! Чай, слыхивала, как покойный батюшка твой печаловался, что отдал перстень и не получил его назад? А знаешь, кому он его отдал? Цыганке Маре, зазнобушке своей отдал, с клятвой, что женится на ней, да и обманул. Не раз он за перстеньком приходил, да не отдала она ему, сердешная.

— А ты, ты-то как достала его? — спросила боярыня, в уме которой вставали смутные воспоминания о каком-то кольце и об истории какой-то цыганки, довольно сбивчиво рассказанной ей в юности мамушкой.

— Я? — Марфуша усмехнулась. — Я ведь не чужая тому барину да той цыганке...

— Кто же ты? — сдавленным шепотом спросила Елена Дмитриевна, чувствуя, как у нее по спине побежали мурашки.

— Я? — повторила гадалка, зловеще усмехаясь. — Ты вот не похотела равнять себя со мною, погнушалась, вишь... а батюшка-то твой не гнушался моей матерью, из табора ее выкупил, силком любить себя заставил... Не чужие мы с тобою, боярыня, одна в нас кровь говорит, кровь князя Хованского! Я такая же Хованская, как и ты!

— Врешь, врешь, негодная, колдунья проклятая! — прохрипела боярыня, впиваясь своими ногтями в руку цыганки. — Врешь, врешь! Наклепала ты на покойного батюшку!

— Оставь меня! — вырывая свою руку, спокойно произнесла цыганка. — Да, я умру на костре, ведомо мне и это; да и тебе, боярыня, несдобровать. Поклялась я матушке, на смертном одре на ее, что отомщу обидчику нашему и всему его роду проклятому; тогда и умру, где придется, спокойно или тревожно! Да, вишь, вот ты еще жива, красива и счастлива; знать, и мой час еще не пробил.

Боярыня слушала гадалку молча, сдвинув брови и вперив в нее мрачный взгляд своих потемневших от гнева глаз. Она мысленно решала, что ей выгоднее — отдать ли цыганку сейчас же на пытки и смерть или выведать у нее сперва все, что она может открыть ей своей неведомой силой. Неужели же ей, могущественной боярыне, бояться мести ничтожной цыганки? Вздор!.. Ей никого и ничего теперь не страшно! Лучше найти ей в этой враждебной пока женщине для себя друга, который мог бы помочь ей своим таинственным знанием будущего и дать совет для настоящего. И она уже ласковее взглянула на цыганку.

Та, словно читая в ее душе, проговорила:

— Думаешь, поди, что сотворить со мною? Сейчас ли отдать заплечному мастеру или еще погодить? Погоди... сестра, не спеши!

Боярыня вздрогнула. Сестра... Эта черная страшная женщина в лохмотьях и отрепьях — ее сестра? Да нет же, нет, этого быть не может! Это наваждение или, может быть, извет, с целью выманить у нее больше денег.

Боярыня опустила на скамейку и закрыла лицо своими вздрагивающими руками.

Марфуша стояла возле нее и смотрела на ее красивую, низко опущенную головку. Какие мысли, какие думы мелькали в голове цыганки, когда она разглядывала свою сестру и любова-

лась с тайной завистью этой избалованной людьми и судьбою женщиной?

Елена Дмитриевна первая нарушила молчание. Она провела рукой по глазам и почти спокойным, своим обычным надменным голосом заговорила:

— Я не боюсь ни тебя, ни колдовства твоего, ни твоей мести, ни наветов твоих. Нечего мне страшиться — я сильнее тебя! Но ты мне нужна; ты pomoжешь мне извести мою разлучницу, дашь мне приворотный корень, чтобы его, моего сокола, приворожить ко мне, чтобы любил он меня хоть денек, хоть часок, а там... там хоть смерть, хоть могила!

На побледневших щеках Елены вспыхнул яркий румянец, и ее глаза загорелись огнем неукротимой страсти.

Марфуша невольно залюбовалась ею, и вдруг в ее уме мелькнуло одно воспоминание. Да, да, точно, ведь и он любил ее! Разве мог он уйти от такой красы? Не таков человек он был! И захотелось цыганке убедиться в своей догадке.

— Видно, сильно любишь ты князя Пронского? И стоит он такой любви, это правда. Намедни был он у меня... гадал, пойдет ли за него замуж... зазноба его. И не следовало бы мне чужие тайности открывать, а для тебя уже нарушу обычай.

— Пронский? Борис? — с удивлением спросила боярыня.

— Да, Борис Алексеевич Пронский; друг он мой... задолго еще до тебя спознались мы...

— Молчи! — со страхом остановила ее Хитрово, оглядываясь по сторонам. — Что ты говоришь? Кто тебе все это насказал?

Но цыганка уже поняла то, что ей хотелось знать.

— Что Пронский — твой любовник, о том вся Москва знает.

— Стало быть, и ему ведомо! — с ужасом простонала боярыня, закрывая лицо руками.

— Кому? — шепнула цыганка.

— Князю Леону... Джавахову? — ответила Елена.

Марфуша с торжеством выпрямилась. Она узнала многое, чего еще до сих пор не знала. Боярыня любит молодого грузина, а он, очевидно, изменил ей. Пронский тоже кого-то любит, но, очевидно, не боярыню. Надо все это узнать и изо всего этого извлечь возможную пользу.

Цыганка отошла к открытому окну и устремила взгляд на звезды, которые начали уже медленно гаснуть на восточной

стороне. Потянуло первым утренним холодком, и раздался протяжный благовест к ранней утрени.

Обе женщины разом вздрогнули и, обернувшись от окна, взглянули друг на друга.

— Ишь, до зари... докалякались,— виновато прошептала Елена Дмитриевна.

— Да, и ничего не... вымыслили,— как-то устало ответила цыганка.— Мне надо идти...

— Ты узнаешь мне... кто моя разлучница? — останавливая цыганку, спросила боярыня.

— А ты скажешь мне, кого полюбил... князь Пронский? — смотря на боярыню в упор, задала в свою очередь вопрос Марфуша.

— Зачем тебе это? — удивилась Елена Дмитриевна.

— Ты любишь князя Леона?

Теперь они уже говорили как две женщины, поверявшие друг другу свои женские тайны. Елена Дмитриевна не удивилась, что простая цыганка задает ей такой вопрос, как не удивилась тому, что она знает имя Леона, забыв, что сама минуту тому назад проговорила ей. Хитрово только вся вспыхнула, когда не задумываясь порывисто ответила:

— Больше жизни!

— Вот так и я любила князя Пронского! — спокойно ответила цыганка, и только ее глаза сверкнули злобным огнем.— И он меня! Не знаю только, боярыня, кого из нас он горячее ласкал, кого крепче любил: тебя или меня? Да теперь-то он ни тебя, ни меня не любит. Так что уж говорить? А мне знать все же охота, на какую такую красу променял он тебя? Скажешь — узнаю, кто твоя разлучница, и корешок дам. Не скажешь — не прогневайся, ничего от меня не получишь, ничего не выведаешь.

— Ах, да что мне твой Пронский! Постыл он мне и страшен!..— возразила боярыня.— А любит он царевну грузинскую! Хочет жениться на ней да страной ее править.

— Эка, что выдумал! Ну а царевна?

— Не знаю, мыслей царевны не ведаю, не по душе пришились мы с нею одна другой.

— Ну, прощай, боярыня; все узнаю и все тебе скажу,— кланяясь, проговорила цыганка.

Обе женщины расстались, искусно затаив обоюдную вражду и нисколько не поверив друг другу.

Х ОТКРЫТЫЕ ТАЙНЫ

На востоке уже занималась заря. Огненный шар солнца медленно подымался из-за горизонта; утренний ветерок ласково проносился по садовым деревьям, словно пробуждая сонные листочки от сладкой ночной дремы. В кустах затормошились голосистые малиновки и пеночки, весело выпорхнули и закружились в воздухе, перелетая с куста на куст. Они словно повеяли друг другу тайны минувшей ночи и радовались прелести чудного весеннего утра.

У тына большого сада под цветущей яблоней стояла девушка в простом светлом летнике и кисейной рубашке, с накинутым на голову вязаным платком. Длинная коса вилась по ее спине, большие лучистые глаза горели, как звезды на вечернем небе, на ее бледном, худеньком личике, а взоры с грустью покоились на собеседнике, который стоял по другую сторону тына.

— Иди, мой сокол, уже солнце встало... Чу! Малиновки запели, слышишь? Или то свиристель стрекочет в кустах? — тихим, надтреснутым голосом сказала девушка. — Ведь всю ночь провели мы с тобою...

— Голубка моя, устала ты! — нежно ответил юноша, лаская ее маленькую, худенькую руку.

— С тобой-то беседовавши устала, светик мой ясный? Что ты!.. Всю жизнь стояла бы, в очи твои ясные гляючи.

— Олюшка моя, раина моя стройная! Опять день целый не видеть тебя, не слышать твоего ласкового голоса! Как проживу я день-то, твоих печальных глазок не видя?

— Ой, Левонушка, сокол мой ясный, не трави ты души моей, сердца моего не разрывай на части... Нудно мне, и без того нудно! — простонала девушка, и слезы посыпались из ее глаз. — Давно бы я в Москву-реку бросилась, если бы не ты, жизнь моя, радость моя ненаглядная!

Леон Вахтангович приник к лицу девушки и поцелуями старался осушить ее слезы.

Джавахов и княжна Пронская уже давно стали встречать зарю у тына большого сада, окружавшего дом Пронских. Леон несколько раз видел из окна печальный образ бледной девушки; потом встречал ее в церкви, на улице, в сопровождении строгой и сварливой мамушки, и так привык к этим встречам, так привязался и полюбил бледное лицо княжны, что болел за

нее душой и страдал ее страданиями. Потом он узнал, что она дочь князя Пронского, просватанная за старика Черкасского, что она идет за князя по принуждению отца, и тогда она стала ему вдруг еще ближе, еще дороже.

Княжна Ольга тоже заметила красивого юношу, всегда следовавшего за нею на почтительном расстоянии и жадно ловившего ее взоры при каждой малейшей возможности.

Молодые люди скоро поняли друг друга. Их глаза безмолвно выражали все то, что волновало их сердца, и немного нужно было времени, чтобы эти сердца забились взаимной любовью. От взглядов перешли к отрывочным разговорам украдкой, а потом и к тайным встречам.

Боярышне было трудно избежать недреманного ока своей мамушки, которая буквально глаз с нее не спускала. Но княжна любила искренне, горячо и, конечно, провела мамушку. Как только в воздухе запахло весной, как только ночи стали теплее, княжна Ольга, накинув на головку платок, выбегала, когда в доме все затихало, к заветному тыну в самой отдаленной и запущенной части сада и там до зари ворковала с тем, кому отдала навек свое девичье, не тронутое еще любовью сердце.

Леон давно и думать забыл о том времени, когда его чуть было не опутали лживые да коварные женские сети. Он перестал бывать у боярыни Хитрово и тяготился, когда она звала его, видимо радуясь даже его насильственному присутствию. Лучистые глаза и бледное личико девушки заполонили его окончательно; он только одну думушку и думал: как бы освободить свою Олюшку от ненавистного ей брака со старым Черкасским и самому жениться на ней.

— Скажу я все царевне, — проговорил Леон, когда девушка затихла под его поцелуями. — Может, и поможет нам.

— Ты говорил, слаба она, не вольна ни в чем... Какая же помощница?

— Так-то так, а попытать надо. Сказывали, что она скоро царю показываться будет. Боярыня Хитрово просила... Что ты, моя любушка, что всколыхнулась так?

— Что-то не люблю я боярыни твоей, — смутившись, ответила девушка.

— Разве слыхала что? — спросил, вспыхнув, Леон.

— Ничего не слыхала, а сама смекнула. Ты... всегда полымем загорись, как только о ней вспомнешь... И еще... Намедни



она была у нас, завела беседу с батюшкой; батюшка твою царевну помянул, потом усмехнулся и твое имя назвал. Боярыня вся румянцем зарделась, очи у нее заблестели, и сердито так глянула она на меня. Батюшка меня выслал из покоя. За дверями слышала я уже батюшкины речи: «Аль грузинский князек красы твоей не учуял?» И засмеялся батюшка, нехорошо таково засмеялся.

— Ну а ты? — нетерпеливо теребя свой черный ус, спросил ее Леон.

— Я убежала к себе в горенку, заплакала, а потом встала пред образами и стала за тебя Богу молиться.

— Молиться за меня? Зачем же? — удивился князь.

— Ты, видно, боярыни Хитрово не знаешь, — грустно улыбнулась Ольга. — Лютая ведь она! Если любила тебя — вовек тебе не простит издевки над нею.

— Да разве я ведал о ее любви? — рассердился князь.

— Не ведал, милый? Правду говоришь? — прильнула девушка к его лицу холодной щекой и пытливо глянула ему в глаза.

— Богом клянусь, не ведал! Правда, было время... красота ее опутала было меня, но устоял я перед этим искушением. Ангел Божий раз предстал глазам моим: в окне увидел я чистую деву...

— Молчи, молчи, ненаглядный мой! — закрывая ладонью ему рот, зашептала девушка, улыбаясь счастливой улыбкой.

— И с той поры забыл я ее, эту вашу боярыню! Души моей уже не смущает ее образ лукавый, и не страшна она мне! Вот только тебя бы мне украсть отсюда... Ну, когда же ты царю предстанешь? Помнишь, говорила мне, что царь...

— Пришел приказ от царя мне к нему явиться, да батюшка, видно, подарил кого-либо, не шлют за мною.

— А свадьба когда же?

— Ждут, видно, как царь на богомолье уедет, и... и... — голос девушки оборвался. — Не пойду я с постылым под венец! Руки на себя наложу, а за него, старого, не пойду!

— Постой, не тоскуй! — прошептал князь Леон. — Я кое-что придумал. Говорят, боярин Ртищев — хорошей души человек; я пойду к нему и защиты для тебя попрошу.

— Пустое, милый!.. — печально произнесла княжна. — Над моей головушкой только батюшка во всем волен.

— Ну, выкраду я тебя, — пылко вскрикнул юноша.

Девушка печально покачала головой:

— Не безымянная я какая, чтобы на такое дело пойти; рода своего не осрамлю на веки веков, матушки своей любимой под беду не подведу! Измыкает свой гнев на ней отец-то, а она и так... страсотерпица!

— Так хорошо же, сам я свedaюсь с твоим злодеем! У меня с ним к тому и счеты еще не прикончены. Кинжала моего он до сей поры не отдает, посланному моему ответил, что кинжал отдаст, когда «брюхо мне вспорет!».

У Ольги вырвался слабый стон; она закрыла лицо руками, и ее ноги стали подгибаться.

Однако Леон сильной рукой поддержал девушку:

— Не пугайся, Олюшка моя: не дожидаться князю этой радости. Вот явлюсь я к нему и тебя и кинжал от него потребую. В честном бою и порешим, кому из нас владеть тобой.

— Ой, Левонушка, убьет он тебя — я не жилица на этом свете! В омут головой, да и все тут!

— Полно, Олюшка, не осилить ему меня! Хотя и грузен и свиреп князь, да я моложе и куда ловче его.

— Нет, не ходи к нему, погоди еще денек, может, меня к царю позовут. Пойду уж я... попрошу боярыню Хитрово — она замолвит за меня словечко. Ведь не ведает она, что люб ты мне?

— Хорошо, поди проси, а я тем временем все-таки побываю у Ртищева.

— Ну, прощай, радость моя, сокол мой ясный! Закалякались мы с тобой, неравно кто спохватится! Прощай же!

Молодые люди нежно посмотрели друг другу в глаза, но поцеловаться при ярком свете солнца застыдились, и только Леон крепко сжал холодную руку девушки.

— Придешь ужо? — спросил он её шепотом.

— Приду! — шепнула Ольга и скользнула в густую чащу парка, где скоро исчезла из глаз пристально следившего за нею князя.

Он поправил свою папаху, глубоко вздохнул и зашагал по направлению к Кремлю.

Как только фигура грузина скрылась вдали, из-за угла вышла закутанная в платок женщина и, посмотрев в глубину сада, покачала головой.

«Вот оно что! Наш-то князинька услаждается с княжной-недотрогой... в жениха и невесту дети играют... А боярышня-то

вот по ком изнывает! Вот, значит, и пригодилась старая Архиповна! Сослужу службу, незачем и гадалок-то пытаться: все выложу как на ладошке. Увидит сокол мой, что я денно и ночью о нем помышляю — опять Архиповну к себе и приблизит. А девушка-то? Ну, да пусть другого кого ищет. Сем-ка я пойду да все Марфушке расскажу: пусть совет мне подаст...»

Так размышляла ключница боярина Черкасского, идя к гадалке Марфуше, чтобы доложить ей обо всем том, что она слышала и видела у садового тына большого дома Пронского.

А вскоре после этого и боярыне Хитрово довелось узнать большую новость.

— Так, рассказываешь, будто полячка та умерла? — спросила она нянюшку Анфису Федосеевну, притащившуюся к ней с печальной новостью.

— Умерла, родимая, умерла. Вот я Ваську привела, расспроси-ка его.

— Приведи! — приказала боярыня.

Ковыляя и тяжело вздыхая, поплелась Анфиса из комнаты, а Елена Дмитриевна беспокойно заходила по горнице. Ее прекрасные, лазоревые глаза потеряли свой обычный задорный блеск и смотрели как-то устало и мрачно; вокруг них легли темные круги — свидетели ее бессонных, тяжелых ночей. Лицо похудело и побледнело, обычная надменность и презрение ко всем сменились выражением какой-то внутренней борьбы и страданий, которые явственно проступали наружу. До боли закусывала она иногда свои воспаленные губы, и подавленный стон то и дело вырывался из ее груди, выдавая бушевавшую в ней бурю, которая подтачивала ее существование.

Анфиса вошла с Васькой.

— Княжна Ванда умерла? — обернувшись к нему, спросила Елена Дмитриевна.

— Скончалася, голубушка, скончалася! — жалобно начал Васька. — Как засек боярин наш Ефрема Тихоныча до смерти, боярин страшно строг стал к затворнице, сам за нею ходил, есть ей носил, и никто, кроме него, и не видел ее.

— А ты откуда узнал о княжне, ее заточении и о прочем?

— Да как же, матушка боярыня? Еще покойный Ефрем Тихоныч мне рассказывал о том; все вызволить хотел княжну из подземелья, к твоей милости вот Анфису Федосеевну подсылал.

— Где уж боярыне о таких делах мыслить, своих не оберется! — с печальным укором произнесла Федосеевна.

Этот укор больно отозвался в сердце гордой боярыни. Она ласково положила свою руку на плечо старушки и виновато проговорила:

— Прости, нянюшка! Много раз ты меня просила за ту бедную княжну, а мне все не было времени о ней подумать...

— То-то вот, все мы, человеки, к чужому горю глухи, а свое придет — и не знаешь, куда сунуться, — трясая головой, поучительно прошамкала нянюшка.

— Полно, няня, укорами горю не поможешь. Разве вы за тем пришли, чтобы корить меня?

— Знамо дело не за тем, что и говорить! — серьезно проворчал Васька. — А пришли мы просить тебя: выхлопочи ты у князя, чтобы дозволил он покойницу по христианскому обычаю схоронить... не как пса бродячего. Ведь он велел мне свезти ее тело на погост при большой дороге, где воров да убийц хоронят; а разве она, святая душа, что-либо ему, нехристю, сделала?

— Что же я могу поделать? — беспомощно развела руками Елена Дмитриевна.

— Ты-то? — помялся Васька. — Ты все можешь! Ты ему только одно слово скажи, он испугается и все по-твоему сделает.

— Не испугается, не таковский. А как узнает, что вы мне такое дело рассказали, со света вас сживет.

— А ты ему не говори — как же он узнает?

— Да как же? Откуда же я узнала?

— Тебе, мол, Федосеевна сказала, а ей покойный Ефрем Тихонович сказывал. Уж будь милостива, вытребуй от него покойницу-то!

— Попытаюсь, голубчик. Только не знаю, что выйдет из того? А когда князь велел тело унести? — озабоченно сдвинув брови, спросила боярыня.

— Сегодня под вечер.

— Так вот что: ты, Федосеевна, сходи сейчас же к князю и скажи, что, мол, боярыня Хитрово зовет, беспрерывно чтобы сейчас прийти к ней.

— Иду, моя касаточка, иду! — засуежилась старушка, ища свой посох. — Постарайся для-ради Господа Христа! Следует ведь похоронить упокойничка честь честью...

— Постараюсь, няня, постараюсь! Авось и мне самой полегчает,— грустно добавила боярыня.

— Известно, полегчает! От доброго дела завсегда легчает,— с полным убеждением произнес Васька.

— А за что князь этого Ефрема засек до смерти? — вдруг вспомнила боярыня.

— За внучку его.

— Как за внучку?

— Да больно озорник — князь-от. Внучка-то Ефремова ему по душе пришлась...— Хитрые глазки Васьки пытливо метнулись в лицо боярыни, но он не прочел на нем никаких признаков ревности или какого-либо иного волнения оскорбленного самолюбия и продолжал: — Ну, стало быть, и приказал он ее предоставить в «угловую».

— Я знаю. А дальше что?

— Мы с Ефремом Тихоновичем и схоронили девушку-то... Дюже схоронили! Князь-то и освирепел; известно, его милости обидно стало, что по губам-от текло, а в рот-то не попало. Велел он либо девку предоставить, либо с живого Ефрема Тихоновича шкуру спустить. Страх как, сказывают, пытали старика.

— Не выдал? — вздрогнула боярыня.

— Где выдать! Так, ни слова не вымолвивши, под плетью и умер.

— А внучка?

Васька молчал, потупившись.

— Говори, не бойся, не выдам я! — ободрила его боярыня.

Но, видно, не робость мешала шуту отвечать на вопрос боярыни. Он потоптался на месте, потом нахлобучил шапку на голову и, повернувшись к дверям, глухо произнес:

— Идем, что ли, старая?

Федосеевна, трясая головой, двинулась было за ним.

— Постой,— остановила боярыня Ваську.— Я хочу знать, что случилось с девушкой.

— В монастырь дальний она убегла и постриг на себя взяла... За грехи деда и за его безвинную смерть пошла молиться... да за врага своего, вишь, тоже!..

— Как? За Пронского? — отступила в изумлении боярыня.— Что ж, любила она его, что ли?

— Ни-ни! Непорочная она была, а, вишь, жалеет его... говорит чудно так, что не от себя это он зло творит, а крест на него

такой тяжкий положен, за родителей, что ли... Говорю, чудная она! И пошла молиться за него. Большой искус на себя взяла.

— Что ж, может, она верно рассудила!..— с глубоким вздохом проговорила Елена Дмитриевна.— Кто знает, почему иной раз и зло-то творишь?

— А ты обуздай себя в зло-то; вот лукавый и не совладает с твоей душой! — наставительно произнесла Федосеевна.— Ну, да Христос с тобой! Пойду-ка я за иродом-то, авось ты что-либо и сделаешь с ним. Пойдем, Васютка, пойдем-ка.

Шут, касаясь пола рукою, поклонился боярыне и тихо вышел за ковылявшей впереди старухой.

Елена Дмитриевна осталась одна.

Разговоры о польской княжне на время заглушили ее собственное горе и умалили ее тоску, теперь же грустные мысли вновь зароились в ее голове. Страсть к молодому грузину разгоралась в ее сердце огромным пожаром; боярыня изнемогала под гнетом охватившего ее чувства и решительно не умела с ним бороться. В низкой мести думала она утолить свои страдания и жаждала упиться этой местью.

Вошла сенная девушка и доложила, что боярыню хочет видеть Марковна.

Хитрово нетерпеливо повела бровями:

— Как она мне опостылела! Что ей от меня надо?

— Говорит, большущей важности дело.

— Ну, так пусть войдет,— приказала боярыня.

Девушка шмыгнула в прихожую и, отворив дверь, пропустила Марковну, а потом так же тихо затворила за собой двери.

Марковна кинулась было к своей питомице, но та остановила ее мрачным взглядом и отрывисто спросила:

— Узнала или нет?

— Я... ничего не узнала, а ворожея Марфушка рассказывает, что все знает...

— Врешь ты, старая, если бы она знала, она и мне сказала бы.

— Знает она, все знает, пыталась я ее... чую, что знает... только добром не скажет...

— Издевки колдунья надо мною творит? — гневно прошептала боярыня.— Я ей золото обещала, а она смеет смеяться! Ну, посмеюсь же и я над нею! Дай фату потемнее да шугай девкин, сама к ней пойду. Ну а потом! — Боярыня сжала кулак.— А если ты, старая, наврала мне,— обернулась она к своей преданной наперснице,— сгною я тебя в холодной!

ХІ

ГОРЕ ВОРОЖЕИ

Ворожея, как всегда, сидела над таганцом в своей лачужке. Она глядела на слабо теплившиеся уголья и так глубоко задумалась, что не слыхала, как отворилась и затворилась дверь; только когда защелкнулся засов, она вздрогнула и подняла наконец голову.

Перед нею в простом жильцовском кафтане стоял князь Пронский. Его суровое лицо похудело и побледнело, глаза ввалились и горели лихорадочным блеском.

Пристально взглянув на гадалку, он холодно усмехнулся и с презрением кинул ей на колени горсть корешков и несколько золотых, глухо проговорил:

— Твое зелье годится разве только псам!

Марфуша глядела на него своими выразительными глазами, в которых вдруг затеплилось какое-то нежное чувство.

— Оставь, князь, зелье: оно и взаправду тебе не поможет,— мягко произнесла она.

— Ты что же, ведьма, играть задумала со мною? — с бешенством сказал князь, трясая ее за плечи.

— Ты это говоришь мне? — грустно произнесла она, высвобождаясь из его рук и вставая.— Разве я для тебя пощадила свою девичью жизнь когда-то? Не из-за тебя я своей клятвы не исполнила?..

— Ах, да что мне до жизни твоей и до клятвы? Пойми, что здесь,— указал Пронский на грудь,— здесь горит! Сердце словно когтями коршун разрывает, и нет моей душе покоя, нет места на этом свете без голубки, без любви моей. Придумай, как сломить мне красавицу; силой взять, если ласка не берет, или как?

— Оставь ее, оставь! — раскачиваясь, сказала ворожея.— Вижу одну беду тебе, неминуемую беду.

— Молчи, ведьма! Хоть миг, да мой... понимаешь? — крикнул ей князь.

— Я не властна помочь тебе! — спокойно произнесла цыганка, подымаясь с пола.

— Врешь, дьяволово семя! — завопил Пронский.

— Когда-то не так обзывал.

— Молчи! Не вспоминай! А то убью!

— Убей,— холодно произнесла Марфуша, пристально глядя князю в глаза,— убей, пожалуй, от твоей руки легче смерть будет, нежели на костре, где мне придется жизнь из-за тебя покончить.

— Что болтаешь? — угрюмо проговорил князь, не поняв ее.

— Не болтаю я! Мало я за тебя грехов на душу взяла? Мало душ людских загубила? И в ответе я же одна буду за тебя... крест смертный понесу... А царевна эта заморская — погибель твоя, и не сносить тебе головы своей буйной, если не забудешь ее...

— Ее забыть? Ума ты лишилась, баба? Мне отступить от затеи своей? Да разве ты меня не знаешь? Скорее Москва-река вспять потечет, чем Борис Пронский от задуманного отступит. Нет, Мара, придумай что-либо другое!

На лице цыганки при последних словах ничего не отразилось. Она, казалось, застыла в своей позе и при всем желании не могла бы ничего сказать князю в утешение. Его угрозы не могли бы подействовать на нее. Слишком хорошо она знала, что ей грозит в будущем, когда ей придется наконец ответить за свое опасное ремесло.

— Поможешь, Мара? — насколько мог, ласково повторил князь свой вопрос.— Дай мне зелья какого-либо посильнее.

Марфуша незаметно покачала головой. Она хорошо знала силу тех зелий, которые давала в те времена как любовные средства; она ничего не возразила князю, а молча порылась у себя на полке и, достав что-то завернутое в тряпицу, молча и сурово подала князю.

— Всыплешь в кубок с вином,— произнесла она,— но сперва пригубь, проведи губами по краю чаши.

— Поможет? — с надеждой спросил князь, пытливо заглядывая гадалке в лицо.

Та отвела от него глаза и нерешительно ответила:

— Если это не поможет, значит, зазноба твоя заколдована.

— Ну, спасибо. Поможет — озолочу,— пообещал князь цыганке.— Я знаю, ты верная мне слуга. Одолею царевну, уеду с нею на правление... в Иверскую землю и тебя с Таней прихватчу; довольно уж тебе ворожить тогда.

— Таню Дубнов, стрелец, все охаживает,— поспешила со словом Марфуша.

— Ну, что ж, он парень неплохой, слышал я.

— Да неужели ж Танюше твоей...

— Молчи,— насупился князь,— Дубнов — молодец, и Таньке лучшего мужа не найти.

— Танюша красоты неописанной, и любой князь ее не постыдился бы, в жены мог бы взять.

— Эка что придумала! Да ты, никак, очумела, баба? Князья-то на дороге не валяются про таких девок. Ну, будет мне с тобой калякать, прощай-ка пока!

— Постой! А свою дочь-то когда замуж выдаешь?

— Скоро: как царь на богомолье уедет.

— Смотри, потарапливайся! Девка — что одуванчик... недосмотришь, в прах разлетится.

Князь нахлобучил на голову шапку и вышел.

Марфуша осталась одна и долго смотрела в крошечное слюдовое оконце на князя, быстро шагавшего по рытвинам и кочкам узенькой тропы.

Когда он скрылся за высоким бурьяном, она нехотя подошла к таганцу, подкинула под него угольев и погрузилась в глубокое раздумье. Но долго размышлять ей не удалось: в дверь сердито постучались, и она пошла отворять.

Вошли две закутанные женщины, и одна из них тотчас же скинула платок с головы. Это была боярыня Хитрово.

Цыганка нисколько не удивилась и только почтительно поклонилась ей в пояс.

— Ты что ж, шутки шутить надо мною вздумала? — глухо спросила ее Елена Дмитриевна.— Издеваться надо мною хочешь?

— Богом клянусь, боярыня, не понимаю я тебя! — Марфуша глядела на боярыню, действительно не понимая ее волнения.— Скажи толком, за что укоряешь?

— Ты еще не узнала, кто моя разлучница?

Цыганка вздрогнула и потупилась.

— Не узнала,— ответила она нерешительно.

— Ты лжешь, змея ядовитая! — сжимая ей руку, прошептала боярыня.— Ты знаешь! Но если не скажешь, то пеняй на себя... Завтра же царю доложу о твоём колдовстве, и тебя на срубе сожгут!

— Что ж, и приму свою смерть,— холодно возразила цыганка, складывая на груди руки,— да, может, не одна я на сруб пойду. Ты, боярыня, как бы на плахе головы своей не сложила.

— Не смеешь ты грозить мне! — надменно крикнула боярыня. — Кто твоим словам веру даст?

— Князь Пронский ведает... — заикнулась было цыганка, но боярыня злобно рассмеялась:

— Князь Пронский?! Вот какого языка нашла. Да ведомо ль тебе, что князь Пронский против меня никогда не пойдет? Ну, да я не за тем к тебе шла, чтобы с тобой перекоряться. Скажешь ты мне, кто разлучница моя?

— Не ведаю я, боярыня!

Но с боярыней после этих слов Марфуши случилось нечто необыкновенное и неожиданное. Убедившись, что силой и злобой ничего не добьешься от ворожеи, она впала вдруг в отчаяние. Одна мысль, что она никогда без помощи Марфуши не узнает имени своей соперницы, взбудоражила ее душу. Тогда Елена Дмитриевна подошла к цыганке, ласково положила ей руку на плечо и со слезами в голосе умоляюще проговорила:

— Марфуша, родимая моя, голубушка! Не сердись на меня, ради Господа, за мой крутой нрав!.. Скажи, скажи, ты знаешь, ты все знаешь. Вызволи, родимая! Сердце мое грызет тоска лютая, моченьки моей больше нет, головушку мою бесталанную пожалей! Марфуша, сестрицей своей богоданной назову, в золото тебя, парчу одену, только дай ты мне глянуть на мою злую змею-разлучницу, дай мне над нею понатешиться!.. Марфуша, Марфуша!

Но цыганка с торжествующей улыбкой, без сожаления смотрела на унижение своей красавицы сестры.

— Вот как, боярыня? — проговорила она. — Ты, гордая да властная, чуть не в ногах моих смердых валяешься, милости у меня молишь! И могла бы я милость тебе сделать, и разлучницу указать, и со света ее, злую змею, изжить, и мила дружка тебе к сердцу вернуть... да не сделаю я всего этого! Потому не сделаю, что сама ты мне горше змеи всякой; потому что не забыть мне, как батюшка твой мою мать, почти мертвую, из дома гнал ради жены молодой, твоей матери. Не забыть мне, как велел отец наш ради тебя тело моей матери без покаяния и христианского обряда у дороги бросить; не забыть мне проклятий матушки, никогда не забыть! Заклятье она мне такое дала, чтобы всему роду вашему, пока я жива буду, мстить. И кажется, свою клятву я сдержала: лютее того, что ты моей милости вымаливаешь, а я тебе не даю ее — трудно придумать. Ступай от меня,

боярское отродье! — и она оттолкнула от себя огорошенную боярыню.

Та, наверное, упала бы на земляной пол избушки, если бы ее вовремя не подхватила под руки Марковна.

— Сомлела, никак? — тревожно зашептала последняя, чувствуя, как в ее руках дрожало тело питомицы.

Цыганка молчала, наслаждаясь своим торжеством.

Но Елена Дмитриевна скоро оправилась, отвела руки мамушки от своих плеч, натянула на бледное, как у покойницы, лицо платок и, задыхаясь, проговорила:

— Ну, злодейка! Попомнишь же ты меня, боярыню Хитрово! Прощай!.. Свижусь с тобою у сруба!

С этими словами она быстро вышла, а Марковна, плюнув три раза в сторону цыганки, кинулась за нею.

Марфуша долго стояла, не трогаясь с места. Улыбка торжествующей мести уже давно сбежала с ее лица, глаза смотрели вдаль тускло и бессмысленно. Но вдруг глухой стон вырвался из ее груди, она покачнулась и упала на пол.

— Матушка, матушка! Я отомстила, я исполнила волю твою; я себя и Танюшу свою загубила! — зарыдала несчастная.

ХII

ДВЕ СОПЕРНИЦЫ

Елена Дмитриевна только что вернулась от царицы. На ней был дорогой парчовый сарафан, а на голове красовался великолепный кокошник, из-под которого ниспадали по вискам до самых плеч рясы из жемчуга и камней; на лоб свешивалась поднизь — золотая сетка, низанная жемчугом, совершенно скрывавшая ее белокурые волосы и лоб.

Боярыня подошла к зеркалу и долго смотрелась в него.

— Неужели же есть краше меня кто на свете? — прошептали ее побелевшие губы. — Я с тела спала, и кровь у меня с лица ушла, а все же еще хороша! Да нет, не красой она взяла его, не красою! Причаровала, приколдовала! А, Марфушка, Марфушка!.. И какую казнь придумать мне для нее.

Она опустилась на скамью и положила голову на стол, охватив ее руками.

Вошла сенная девушка и в нерешительности остановилась на пороге. Боярыня подняла голову и сурово сдвинула брови.

— Там... в светелке княжна... княжна Пронская. Очень просится боярыню повидать.

— Что ей от меня надо? Скажи, что я устала, что мне немо-
жется.

— Очень уж плачет! Индо жалко смотреть.

— А жалко, так не смотри. Ступай себе! А впрочем, стой! — что-то вдруг поразмыслив, проговорила Хитрово.— Проведи, пожалуй, княжну.

Девушка поспешно юркнула за дверь и через минуту верну-
лась, ведя за собою княжну Ольгу.

Та шла трепетная, взволнованная, с красными от слез века-
ми. Она от смущения опустила свои лучистые глаза перед гроз-
ным взглядом боярыни.

Елена Дмитриена встретила ее довольно холодно и привет-
ствовала одним наклонением головы.

— Садись, гостьей будешь,— указала она на другой конец
скамейки.— Угощать чем прикажешь?

— Спасибо,— робко ответила княжна,— я не за угощением
пришла к тебе.

— Что же, батюшка прислал или, может, княгиня? — усмех-
нулась боярыня, зная, что княгиня Пронская всегда прези-
рала ее и не любила.

— Матушка... матушка,— прерывающимся голосом прогово-
рила девушка,— почитай, умирает... не сегодня завтра ее не ста-
нет. Матушка не пустила бы меня к тебе, она гордая.

— Да, я знаю ее гордыню,— глумясь, подтвердила боярыня.

— Не вини моей матушки, боярыня! — сказала Ольга, и бо-
ярыня увидела в ее чудных глазах всю ее чистую и невинную
душу.— У матушки только и было сладкого в жизни, что гор-
дость. Ее гордость отнять никто у нее не смог.

— Отчего умирает княгиня? — спросила Хитрово.— Князь о
ее болести никому не сказывал. Ходит ли к вам лекарь?

Нежное личико княжны покрылось слабым румянцем, но
она ничего не ответила на этот вопрос. Боярыня поняла ее и,
невольно замолчав, тоже поникла головой.

Наступило продолжительное молчание. Елена Дмитриевна
первая нарушила его.

— Так, значит, ты без ведома матери пришла ко мне? —
спросила она.— Какое ж такое у тебя ко мне дело?

— Ты из большой беды меня вызволить можешь,— едва
слышно проговорила княжна.

— Из беды... тебя? Что же с тобой приключилось?

— Тебе ведомо, что меня за князя Черкасского сватают? — спросила княжна.

— Слыхивала. Не люб он тебе, что ли?

— Лучше смерть, чем за него идти!

— Сговор-то был?

— Был,— пролепетала княжна.— А теперь батюшка свадьбой торопит — боится, что матушка не доживет... Обещали меня к царю свести, вот он и торопит. Боярыня, попроси царя за меня, сироту горькую, бесталанную, вступиться! — опускаясь перед Еленой Дмитриевной на колени, взмолилась Ольга.

— Встань, встань, что это ты! — поднимая ее с пола, проговорила растроганная боярыня.— Я сделаю, что могу.

Княжна с трудом поднялась с пола и, продолжая неутешно рыдать, села на скамью возле боярыни.

— Так очень не люб тебе князь Черкасский? — спросила Хитрово.— А разве ты знаешь кого иного слаще?

Ольга с испугом отшатнулась от нее.

— Да ты не бойся! Ведь я наверно не знаю его,— пошутила Елена Дмитриевна.— Так ты любишь, плутовка! Вот почему тебе и Черкасский-то не люб?

— Нет, нет, что ты, что ты, боярыня!.. Никто мне не люб! — испуганно залепетала княжна.— Я в монастырь, в монастырь хочу пойти.

— Полно, не пугайся, дитя! — грустно улыбнулась Елена Дмитриевна.— Я не отниму от тебя твоего любого; мне он не нужен, у меня свой есть, и его я не отдам никому, ни во веки веков! Ах, да разве ты знаешь, что значит взаправду любить? — страстно зашептала боярыня, заламывая свои руки.— Что значат ночи безумные, когда подушка пуховая жжет твои плечи и щеки румяные, когда губы ищут поцелуев горячих, когда объятия крепкие ищут таких же объятий, когда жизнь тебе без милого — не в жизнь! Ревность разве ведома тебе? Злая тоска-разлучница разве грызет твою грудь? Разве гложет сердце твое месть-ехидница? Ах, девушка, девушка, ничего-то этого тебе не ведомо!

Ольга молчала, пораженная; слушала она речь боярыни и любовалась ею, безотчетно завидуя ее красоте.

«И он чуть было не полюбил ее! — подумала она.— По нем она, значит, тоскует, его любит, а как узнает, что он-то и есть мой суженый...»

При этой мысли дрожь пробежала по телу Ольги, и она невольно закрыла глаза.

Но боярыня уже успокоилась, улыбнулась и проговорила:

— Не тревожься же, милая, ты такой любви не познаешь; другая ты... Ну а от Черкасского я тебя вызволю. Пойдем ко мне в опочивальню: хочется мне чем тебя одарить.— И боярыня повела княжну в свою опочивальню.

Ольга, привыкшая дома к суровой простоте, с восхищением осматривала затейливую и нарядную спальню боярыни, как вдруг ее глаза почти с ужасом остановились на чем-то, висевшем на стене, против большой и высокой кровати. А Елена Дмитриевна в это время доставала из маленького кованого ларца нитку дорогого жемчуга, а потом, подойдя к девушке, стоявшей точно в столбняке, проговорила:

— Вот тебе мой свадебный подарок, носи на память обо мне!..

Княжна молчала.

Боярыня остановилась, заметив странное выражение лица княжны, и, проследив за ее глазами, увидела, что они были устремлены на джианури.

— Что с тобой, девушка? — спросила Елена Дмитриевна, и ее голос заметно дрогнул.

Ольга мгновенно пришла в себя, провела рукой по лицу, но отвести взор от инструмента уже не могла.

— Что с тобою? — уже суровее повторила боярыня, у которой вдруг мелькнула какая-то тайная мысль.

— Ни-ничего! Прощай, боярыня! — обрывающимся голосом пролепетала княжна и кинулась к дверям.

— Стой! — властно схватив ее за руку, остановила Хитрово и пристально впилась взором в лицо девушки.— Говори, зачем хотела бежать отсюда?

— Пусти меня! — простонала княжна, вырываясь из ее рук.

— Нет, ты мне скажешь! Ты знаешь, чья это игра?

Девушка молчала, но яркий румянец, вспыхнувший на ее щеках, выдал тайну.

Искушенная опытом, боярыня сразу догадалась обо всем. В ее сознании сверкнула мысль, что перед нею стоит соперница, именно та, которую она так давно и тщетно искала. Но это было только предположение, а она хотела удостовериться в этом без всякой тени сомнения. Поэтому она сорвала с гвоздя

инструмент и, выразив на лице обворожительную улыбку, побежала к девушке.

— Смотри, это его подарок, его, понимаешь? — моего любимого, моего желанного! Сам меня на нем играть учил... А какие песни пел! Какие слова говорил! Век меня одну любить клялся. И, я верю, он любит меня одну, одну меня, и будет любить до могилы! А какие ночи мы с ним проводили, как ласкал, миловал он меня! Еще вчера он так горячо целовал меня и такие ласковые слова говорил...

Она приблизила свое пылающее лицо к побелевшему лицу девушки и ждала, что та на это скажет.

Княжна не вынесла и, сильно оттолкнув от себя свою соперницу, глухо произнесла:

— Ты лжешь, лжешь, боярыня! Не был он у тебя и не любил ты ему, не любил!

Дикий, безумный хохот огласил опочивальню. Княжна, взглянув на боярыню, остолбенела от ужаса: красивое лицо Елены было искажено такой злобой, такой неистовой яростью, что его трудно было теперь узнать.

— Так это он тебя любит? — хрипло проговорила наконец Елена Дмитриевна, перестав вдруг смеяться. — Тебя — такую лядящую, такую мерзкую? Меня променял на тебя! И ты думала, что боярыня Елена Хитрово уступит своего любимого такой лядящей девчонке, как ты?

Княжна взглянула на нее своими скорбными глазами и еле слышно, но твердо ответила:

— Он не твой любимый и никогда им не был!

— И твоим никогда не будет! — яростно крикнула Елена. — Я лучше своими руками задушу его.

— Боярыня! — твердо произнесла девушка. — Отпусти меня! Зазорно мне слушать такие речи твои...

— А не зазорно молодых чужеземцев привораживать? Не зазорно княжне, девушке, на свиданье к чужеземцу бегать?

— Я невеста его, — гордо произнесла Ольга и пошла к двери.

— Не пущу! — рванула ее за рукав Елена Дмитриевна. — Не пущу, пока от Леона не отречешься.

— Ни в жизнь! — страстно ответила княжна.

— А! Ну, так хорошо же: я оклеветашу твоего Леона, и он на плахе сложит свою голову!

Княжна побледнела и зашаталась.

— Не посмеешь ты это сделать! Не допустят тебя до этого совесть твоя да Бог праведный,— торжественно произнесла девушка.

Боярыня ответила ей таким мрачным взглядом, что та затрепетала, как лист в осеннюю бурю.

— Так добром не отдашь? — повторила Елена.

— Разве в моей воле отдать его или нет? Боярыня! — сложила княжна с мольбою руки.— Смени гнев на милость! Ты такая красивая, такая могучая, сам царь... тебя слушается, все в твоей воле, а я... ты сама сказала, я — лядящая, бедная, бессильная девушка. И за что он меня полюбил — про то мне неведомо; видно, за судьбу мою горькую.

Слезы помешали Ольге закончить свою речь, и она закрыла лицо руками, глухо разрыдавшись.

Боярыня тем временем успела уже немного успокоиться; ее гнев утих, и только бешеная, неукротимая ревность все еще бушевала в груди.

— Завтра твоему отцу все поведаю — пусть свадьбой поторопит,— сказала она.— А теперь ступай!

Княжна, как раненая лань, за которою гонятся злые охотники, бросилась к дверям опочивальни и исчезла за ними. А боярыня сорвала с головы кокошник, отшвырнула его от себя и, рыдая, упала на кровать.

ХІІІ

КРЕСТИННЫЙ ПИР

На «верху» только что окрестили новорожденную царевну, назвав ее Софьей в память прабабушки Софьи Палеолог.

Царица чувствовала себя хорошо, только грусть все еще не покидала ее. Она страстно хотела мальчика, а вот родилась опять девочка, хотя и крепкая, сильная девочка, кричавшая громче и голосистее всякого мальчика, но все же это не была надежда, подпора старости; к тому же царевич Алексей становился день ото дня все хилее и хилее, и уже теперь предвиделось, что он будет плохим заместителем отца, плохой опорой для трона. И царица, взглянув на новорожденную, невольно подавила в груди тяжелый, скорбный вздох.

Царь старался по возможности успокоить ее:

— Не печалься, Марьюшка, не кручинься, милая! Мы еще молоды, времени впереди много, сколько еще молодчиков можешь нарожать.

— А куда девок-то девать? Ведь замуж поведать надо, а где женихов найдем? Вон царевны-сестрицы... все ведь еще в девках сидят.

— И на их долю кто-либо найдется,— спокойно возразил царь.

— Сколько заплатил митрополиту за крестины-то? — хозяйственным тоном осведомилась царица.

— Триста золотых; архиепископам — по два ста, а епископам — по ста.

— К чему такую уймищу? — всплеснула руками царица.

— Ну, Марьюшка, не обеднеем мы от этого!

Царь поцеловал супругу и вышел.

В отдельных покоях, так называемых «потешных хоромах», уже ожидала царя компания бояр — самых приближенных, самых любимых. Пир был уже в разгаре, и подгулявшие, подвыпившие бояре поджидали царя, чтобы снова всласть отдаться разгулу.

Человеку для восстановления и уравновешения его сил, конечно, необходимо иногда покидать будничные занятия и переноситься в иной мир, развлекая обычное состояние духа; для человека образованного, которому открыто широкое многообразие Божьего мира и человеческой деятельности, эти переходы легки и естественны, но для человека, постоянно замкнутого среди немногих явлений бедной и унылой жизни, они трудны; таким людям является обыкновенно на помощь стремление искусственными средствами переходить в возбужденное, праздничное и веселое настроение, переноситься в другой, фантастический мир, словом, отрешаться от действительности и забываться в мире несбыточных грез.

Сам благочестивый и высоконравственный царь Алексей Михайлович не был исключением из этого общего человеческого правила; только он всегда выискивал к тому какой-нибудь повод, более или менее торжественный, как, например, именины свои или жены, родины, крестины, приезд иностранных послов и даже панихиды по знатым усопшим. А так, «без случая», не любил он предаваться веселью и вел скромный, тихий, замкнутый образ жизни. Теперь выпал как раз отличный слу-

чай задать боярам веселую пирушку с преизрядной выпивкой, и царь созвал большое число приглашенных, приказав своим кравчим не жалеть ни вина, ни браги, ни яств.

В «потешных хоромах» были накрыты столы, убранные по-праздничному скатертями и подскатертниками. Ножей не клали; вилки встречались редко, и то двузубые; ложки были только серебряные, и то их было «дюже немного». Вилку и нож клали только послам, а их свита обходилась естественной пятерней. Для более почетных гостей ставили «тарели» — оловянные или серебряные, и они не переменялись. Остальные ели из «мис» и блюд — каждое на несколько человек. Были и другие «судки» — каменные и деревянные, блюда гусиные, утиные, лебязьи и другие, рассольницы, солоницы, уксусница, перечницы и всякая другая посуда, наполненная всевозможной снедью.

Чего-чего только не было наставлено на столе! Тут были и разные холодные заливные, и студни, и «горячее», или «ушное»: щи, уха, супы с пряностями, рассолы или солянка, взвары или соусы; в особенности же стол отличался жаркими, а именно: бараниной, свининой, курами и гусями, которых подпекали на «рожнах»¹ и выносили разукрашенными на серебряных и золотых блюдах в столовую служки, высоко держа над головами. Таким же образом разукрашивали и жарили всякую дичь; и ели ее с уксусом, перцем и лимоном; но все это не так «уважали», как лебедя в сметане.

Конечно, больше всего столы ломились от сосудов для питья. Ими наполнялся весь поставец — так назывался буфет в виде пирамидальной этажерки, у которой стоял дворецкий или буфетчик во все время пира, разрезая и отведывая кушанья, отпускаемые ключником из поварни. На этом поставце было немало больших вместилищ — ендовы, ведра с носками, четвертины², кувшины, братины с крышками: из всех них добывали вино черпальцами, «судами» или ковшами. Но в особенном изобилии на поставце красовались «сулеи»³, корцы, кружки в восьмую ведра, чаши, кубки, бокалы, чарки, «достаканы» — обыкновенные и огромные, так называемые «стопы».

Когда царь вошел в столовую, его гости были уже более чем в веселом настроении, позабыв о своем «местничестве».

¹ Вертелах. (Примеч. авт.)

² Сосуд, вмещавший четверть ведра жидкости. (Примеч. авт.)

³ Бутылки. (Примеч. авт.)

В одном конце стола думный дьяк Плещеев обнял князя Хованского, кичливого, гордого боярина, считавшего себя потомком Гедимины, и нашептывал ему что-то очень забавное, что, видимо, очень смешило князя, потому что тот громко хохотал и шлепал боярина по плечу, совершенно забыв, что потомку Гедимины не след брататься с худародным боярином — дьяком. В другом конце Воротынский и Трубецкой старались подпоить чудовского архимандрита и все подливали в его чарку то романей, то мальвазии. Архимандрит пил, но старался внушить своим собеседникам, что не мешало бы родовитым князьям «обогатить нужды смиренной братии». А там юный князь Василий Васильевич Голицын, будущий знаменитый дипломат и возлюбленный царевны Софьи, чьи крестины он теперь справлял, — склонив свою голову на плечо молодого князя Ромодановского, будущего князя-кесаря Петра Великого, несвязно лепетал:

— Послушай, Федор Юрьевич, помоги мне красавицу выкрасть. Неужто такая свинья будешь, что не поможешь?

Черные ястребиные глаза будущего вершителя человеческих жизней, неукротимого в жестокости князя-кесаря блеснули удалью, и, стукнув чаркой по стакану, он сказал:

— А что ж, думаешь, не могу? Покажи только девку!

Двое уже допились до бесчувствия и лежали под лавками; это были толстый князь Черкасский и думный дьяк Василий Семенов; слуги тщетно старались привести их в сознание.

Князь Пронский почти не пил, или, вернее, не пьянел. Сидя с боярином Ртищевым, он молча слушал его, изредка вставляя несколько слов в плавную речь боярина.

— Посмотрю-ка я, как живут за морем, да посравню с нами, таково-то тоскливо мне сделается на сердце! — говорил Ртищев. — Земля наша обширна и могуча, а что толку? Справиться мы с нею не можем, людей у нас нет! Нет, пожалуй, и люди есть, да не о пользе государства они пекутся, а лишь о животе своем!.. А то вот такие еще, как ты, князь: и голова у тебя хорошая, и рода ты знатного, и служить бы тебе да служить царю и государству своему, а ты вот... тучи, тучи мрачнее. Какие недохваты у тебя, князь?

— Жизнь, боярин, опостылела!

— Эка ведь что сказал! — отмахнулся Ртищев. — В твои-то годы да и жизнь опостылела? Это все от безделья, князь! Займись делом — и тоски не будет!

— Каким делом-то? — уныло спросил Пронский.

— В послы просись! Вот мы никак с Яном Казимиром столковаться не можем, а ты в Польше уже бывал, язык, обычаи и свычаи знаешь.

— Так-то оно так, да не по душе мне Польша, — явно смутившись, возразил Пронский. — Мне хотелось бы в Иверскую страну: и страна-то дюже любопытная, да и дело-то по душе.

Ртищев усмехнулся в бороду и, прихлебывая вино, шутя проговорил:

— Сказывают, грузинки больно хороши? Посмотревши на царевну, и впрямь скажешь — красавицы. Только спесивы!

Пронский молчал, потупившись.

— Стало быть, это ты привел тех грузин? — кивнул Ртищев головой на князя Джавахова и Орбелиани, важно сидевших на противоположной стороне стола.

Лицо Леона Вахтанговича было бледно, глаза мрачно сверкали, то и дело останавливаясь на Пронском. Он просил царевну, чтобы она выхлопотала ему доступ на ужин к царскому столу, где, думалось ему, удастся поговорить с Пронским, а в случае чего и просить у самого царя за себя и за княжну. Но Пронский встретил его холодно и надменно и сел далеко от грузин. Некоторые из бояр подходили к грузинам, дружески заговаривали с ними, чокались и отходили; они оставались опять одни вдвоем и терпеливо ожидали выхода царя.

— Нет, не я, — ответил Ртищеву удивленный Пронский и, посмотрев на грузин, встретил злобный взгляд Леона. Но тотчас же он обратился к боярину: — Что ж, устроишь меня послом в Грузию?

— Что же я? Я что ж? Намедни, кажись, говорил я тебе, что не ко времени нам валандаться с иверцами этими, — уклонился от прямого ответа Ртищев.

— То зимой было... зимой туда действительно опасно, а теперь как раз... в самую пору.

— Да я что ж? Как царь, — замялся боярин, но затем тотчас добавил: — А ведомо ли тебе, что царь их, Теймураз, сам на Москву двинулся?

Пронский с изумлением отшатнулся от говорившего:

— Впервые слышу!.. Зачем же он едет?

— Думает, сам лучше переговорит; на царевно сердце, видно, надеется. Дескать, пожалует царь его, старика. Ну вот, обо всем

переговорят и восвояси двинутся... Должно быть, и царевна-красавица с ним поедет,— невинно dokonчил боярин.

Пронский смотрел на него опечаленными глазами, не будучи в силах произнести ни слова.

Их беседу прервали страшный шум и поднявшийся в зале крик. Ртищев повернулся и увидел, что князь Леон, стоя перед пьяным Черкасским, громко требовал вернуть ему его кинжал, который, блестя дорогой оправой, висел на княжеском поясе и о котором Черкасский пьяным языком рассказывал своим собутыльникам.

— Отдай, слышишь ли, князь, отдай кинжал! Он не твой, и ты должен возвратить его мне! — взволнованно говорил Леон.

— А, так это ты мой убийца? — заревел пьяным голосом Черкасский.

— Я тебя не убивал,— загорячился Леон,— я только ответил на твоё оскорбление. Отдай мой кинжал!

— Вот погоди, придет царь, пожалуйюсь я ему, что убийцы у него не только на свободе рыщут, но еще и на вечери зовутся.

— Отдай кинжал! — горячился Леон.

Вокруг них столпились все присутствующие; одни взяли сторону Черкасского, другие — молодого грузина.

— Отдай, что те связываться с чужой вещью! — кричал один голос.

— Кинжал не твой, ну и отдай,— горланил другой.

— Связался черт с младенцем! — шипел по адресу Черкасского чей-то озлобленный голос.— Такого, как тебя, убьешь небось!

Перебранка начинала принимать угрожающие размеры, когда в столовую вбежал рында с криком, что царь сейчас жалует.

XIV

ДРАГОЦЕННЫЙ КИНЖАЛ

Царь Алексей Михайлович вошел в столовую в сопровождении Милославского и с изумлением взглянул на столпившихся в кучку бояр. Те при его появлении смолкли и до земли склонили свои головы. Только Леон и князь Орбелиани, поклонившись царю, тотчас же выпрямились и, гордо закинув свои головы, смотрели ему прямо в глаза.

— Здорово, бояре! Что приутихли? — спросил царь, направляясь к своему креслу.

Бояре поднялись и сбивчиво стали объяснять распрю Черкасского с Джаваховым.

— Ничего не разберу, — отмахнулся царь, — говори кто-либо один!

Но, прежде чем кто-либо из бояр успел сказать слово, князь Леон пробрался через толпу бояр и упал к ногам Тишайшего.

— Дай слово сказать, государь, — громко и внятно произнес он по-русски, с едва заметным акцентом.

— Говори, молодец, говори, — ласково ободрил его царь, любуясь тонкой, стройной фигурой грузина.

В нескольких словах Леон рассказал свое невольное столкновение с князем Черкасским; как тот ударил ни в чем не повинного служилого, как Леон не одобрил этого поступка, как князь дерзко обозвал его за это и в конце концов вызвал его на кулачный бой, от которого Леон отказывался, зная, что бои по праздникам запрещены, и еще потому, что оружие у него и князя было неравное: грузины-де кулачному бою не обучались, а Черкасский оружием отказывался решить их недоразумение.

— Убийца он! — прервал рассказ отрезвевший Черкасский.

— Молчи, дай князю досказать, — остановил его царь.

Леон ясно и коротко dokonчил рассказ: князь хотел ударить его — на это есть свидетель; обозленный этим, он, Джавахов, выхватил из ножен кинжал и ударил им Черкасского, но ударил неопасно, потому что князь жив и даже собирается жениться; теперь он, Джавахов, требует у князя обратно свой кинжал и готов вторично вступить с ним в бой, но лишь при равных условиях.

Леон умолк и вопросительно устремил на царя свои жгучие, прекрасные глаза, горевшие огнем одушевления. Царь сидел в глубокой задумчивости. Наконец, тяжело вздохнув, он прервал молчание.

— Так соблюдаешь ты, Григорий Сенкулеевич, мои указы? — обратился он к Черкасскому. — Вот иноземец чтит мой указ, а ты... к обедне едешь, а что учиняешь?..

— Прости, надежа-государь, — низко кланяясь, сумрачно ответил Черкасский. — Нрав мой крут больно: иной раз и не совладею с ним.

— Мало в церковь ходишь, плоти своей молитвой да постом не обуздываешь, вот Сатана-то и завладевает тобой! — сокру-

шенно произнес царь.— Ну, да на этот раз, по случаю великой нашей радости, я прощу тебя, но помни, Григорий Сенкулеевич, в последний это раз. Буйства твои чрезмерны, и надо положить им предел.

— Вот скоро женится и остепенится,— ввернул за него Милославский.

— Женится — переменится,— засмеялись кругом.

Царь улыбнулся, после чего обратился к Леону:

— А тебя, молодец, тоже на сей раз прощу, ради великой нашей радости. Ведь мирволить убийству негоже! Ну а теперь ступайте оба с миром и выпейте по чарке фряжского вина, и да будет все забыто!

Черкасский повернулся было, чтобы идти к столу, но Леон не двинулся с места и обратился к царю:

— Государь, ведь я сам открылся, что ранил князя, а мог бы этого и не делать. Но сделал это я потому, что считал бесчестным скрываться. Я ходил к князю, просил его отдать мой кинжал, который завещан мне моим дедом; честным боем предлагал я князю рассудить нашу обиду... а он меня, как пса, выгнал из дома. Государь, прикажи вернуть мой кинжал, а там хоть казни меня, если считаешь мою вину столь великой.

Алексей Михайлович с изумлением посмотрел на юношу.

— Что за кинжал такой особый? — спросил он.

— Он никогда из нашего рода не выходил, вот он чем примечателен,— гордо возразил Леон.— Его Баграт, царь грузинский, из Палестины принес, когда пришел в Грузию проповедовать новую веру тотчас после Вознесения Христова, которое он сам видел; и этот кинжал Баграт, придя в Грузию, отдал нам. С тех пор переходит он из рода в род.

— Покажи-ка сюда! — заинтересовался царь.

— Прикажи Черкасскому! — ответил Леон.

Григорий Сенкулеевич сидел уже с несколькими боярами и усиленно тянул вино из золотой чарки. Когда у него потребовали по приказанию царя кинжал, он с сердцем выхватил его из-за пояса и кинул на стол.

— А, да пропадай он пропадом, анафема! Покоя из-за него нет! — прорычал он и, стукнув чаркой по столу, залпом выпил вино.— Что, нет у меня такого меча-кладенца, что ли? Почтище и подороже еще есть!

Кинжал подали царю, и он стал с любопытством разглядывать действительно ценный и редкий кинжал, на котором изум-

руды, сапфиры и бриллианты переливались разноцветными огнями.

— Чай, дорог он? — спросил царь Ртищева, известного ценителя и знатока дорогих иноземных вещей.

Федор Михайлович взял кинжал в руки и, внимательно рассмотрев, ответил, возвращая его царю:

— Два княжества, Казанское и Астраханское, в былые времена отдали бы за него. А кабы наверное знать, что он из Палестины, то и больше можно было бы дать.

Все головы повернулись в сторону дорогого кинжала, и все глаза засверкали вдруг алчностью. Но сильнее всех загорелись глаза царского тестя Милославского. На него эти слова произвели такое действие, что он даже зажмурился.

Царь, полюбовавшись вещицей, отдал ее Леону:

— На, молодец, владей своим сокровищем! И мой тебе совет: не носи ты его за поясом, а спрячь подальше в сундук... Ну, бояре любезные, гости дорогие! — продолжал царь. — Пир мой что-то невесел? Немчин на органе не играет, трубы не трубят и сурны не слышно! Эй, кто там? Позвать скорее немчина да трубачей! Да вина подливай гостям! — приказал он кравчим.

— Без тебя, надежа-государь, не пьется! — раздался звонкий молодой голос Голицына. — За новорожденную царевну Софью Алексеевну, много лет ей... царствовать!

— Эка хватил! Ведь не царевич она, чтобы ей царствовать, а всего девчонка! — пошутил царь.

— Все едино! Может, за царя какого замуж выйдет. Много лет ей здравствовать! — поправился Голицын.

— Ты что заместо глашатая вылез? — заорал Ромодановский.

— Ничего, надежа-государь простит! — зашумел Голицын. — Да и чем я не глашатай?

«Молод больно!», «Молоко на губах не обсохло!», «Голос слаб!» — раздавалось со всех сторон.

— Надежа-государь, не обесславь, за новорожденную дозволь многолетие! — не унимался Голицын.

— Ну, пусть его! — махнул рукой Алексей Михайлович. — Вишь, ему моя дочурка по душе пришлась, — засмеялся царь. — Ну, подожди годков пятнадцать, а там и поженем, будешь моим зятем!

Все кругом засмеялись царевой шутке, и никому не пришло, конечно, в голову, что эти слова были почти пророчеством.

Если Голицын много лет спустя и не стал настоящим зятем царя Алексея Михайловича, то стал очень близким человеком для его дочери и его государства.

— Что же, государь! — попросил Голицын. — Дозволь многолетие!

— Ин будь по-твоему, валяй! — разрешил царь.

Тогда Голицын вышел на середину комнаты с полной чаркой вина в руках; осушив ее до дна, он произнес громким голосом полный титул новорожденной царевны. Остальные подхватили многолетие и осушили все чаши до дна.

— Добро, спасибо, князь; спасибо, друга! — ласково улыбаясь, проговорил царь. — Спасибо на добром слове!

Царь Алексей Михайлович в такие дни веселых торжеств тоже не любил отставать от других и выпивал изрядное количество вина и браги. Его ласковые глаза понемногу стали терять свое обычное приветливое, всегда несколько смущенное выражение и становились тусклыми; на губах заблуждала хмельная улыбка; но его голос был все так же тих, когда он обращался с шутками к своим ближним боярам.

Пир был в самом разгаре, когда князь Джавахов подошел к Пронскому, сидевшему недалеко от царя, и попросил его на минутку отойти в сторону, так как у него к нему было дело.

— Какое такое дело? — с неудовольствием спросил Пронский, но, взглянув на грузина, вспомнил, что, может быть, тот принес ему весть от царевны Елены Леонтьевны, а потому, вставая со скамьи, проговорил: — Пойдем, что ли!

Они отошли немного в сторону, и Леон, слегка путаясь от смущения, стал объяснять князю, что любит его дочь, княжну Ольгу, что она тоже любит его и что они просят разрешения обвенчаться.

Пронский насупился и мрачно уставил на юношу свои холодные серые глаза. Когда же Леон кончил и стал ждать ответа, князь громко рассмеялся:

— Вот как! Губа-то у тебя не дура: ишь ведь какую кралю высмотрел! Дочь князя Пронского, внука Репниных, невеста Черкасского, чем не пара... захудалому горному князьку...

— Князь! — гордо возразил Леон. — Я тебе прощаю эти слова, потому что ты отец девушки, которую я люблю...

— Нужно мне твое прощение! — надменно возразил Пронский. — А моей дочери тебе не видать как своих ушей.

— За что же, за что, князь, ты хочешь убить нас?

— Она невеста, уже чуть не повенчанная, потому что обручилась с Черкасским.

— Насилием обручили ее! — крикнул Леон.

Пронский сверкнул на него глазами.

— Не твое это дело! — скрипнув зубами, прошептал он и повернулся к Леону спиной.

— Это твое последнее слово? Смотри, потом не раскайся!

— Ты еще грозить?! — презрительно усмехнулся Борис Алексеевич и, не взглянув на грузина, отошел к столу.

Леон судорожно схватился за рукоятку кинжала, но вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку и быстро обернулся. Возле него стоял боярин Милославский.

— Что, князь, от ворот поворот получил? — Он рассмеялся мелким, дробненьким смешком. — Эка хватил! Засватал дочку князя Пронского!..

— Чем же я хуже вашего князя Черкасского, этого старого развратника и разбойника? — спросил Леон.

— А тем хуже, что рода ты бедного да чужого. Что небось у тебя, кроме этого самого кинжала, ничего и за душенькой нет?

— Как нет? Сакля есть, земля есть, виноградник есть, — горячо запротестовал Леон.

— Велика невидаль — твоя сакля! — произнес Милославский с легким презрением. — У Черкасского таких курных изб и счета нет. Виноградников тоже! Эх ты! Вот где у тебя богатство, — указал он на сверкавший у пояса Леона кинжал. — Хочешь, я за него тебе вотчину в Вологде отдам, триста душ, усадьба?

Леон отшатнулся, пугливо схватился за рукоятку и отрицательно покачал головой:

— Нет, нет, я не отдам.

— Или слышал, что он дороже стоит? Ну, что же, я вторую вотчину отдам, под Новым городом... А если у тебя будут таких две вотчины, то и князю Пронскому не стыдно будет отдать за тебя свою дочь. Что же, идет, что ли?

— Ты говоришь... князь Пронский отдаст тогда? — вздрагивающим голосом спросил Леон.

— Непременно отдаст, — уговаривал юношу искуситель, — ты же знатного рода, только беден малость.

— Ольге и мне хватит...

— Так-то оно так, да князю-то Пронскому побольше надо. Жаден он!.. Так как же, князь, отдаешь, что ли? Мне тебе услу-

жить охота, а вещь эта самая на что она мне? Так, безделица. По рукам, что ли?

В душе молодого грузина происходила мучительная борьба. Он знал жадность русских бояр и не сомневался, что Милославский вовсе не из дружеской услуги покупает у него кинжал, а значит, он действительно ценный, если он дает за него целых две вотчины. Но отдать родовую вещь, которую ему завещал отец, а отцу — целое поколение, на это Леон не решался, хотя ценой такой мены и получил бы руку любимой девушки.

Милославский заметил его колебания и старался поскорее окончить выгодную сделку:

— Ну что же? Согласен? Давай кинжал, и пойдем выпьем на радостях.

— А вотчины? — спросил Леон.

— Гм... вотчины? Ну, купчую на них мы завтра сделаем!

— Если завтра, — решительно произнес Леон, — тогда и кинжал завтра отдам. Вишь, думаю сперва с отцом посоветоваться.

— Ин будь по-твоему, советуйся! — проговорил Милославский и как-то загадочно усмехнулся. — А после того приходи ко мне.

Милославский и Леон разошлись.

Пир продолжался, и гости все больше и больше пьянели; бубны и барабаны неистово звенели, а скоморохи и плясуны выбивались из сил, притоптывая ногами и выворачивая руки. Кравчие появлялись с новыми братинами, слуги вносили все новые и новые блюда с самыми причудливыми яствами.

Князь Орбелиани и Леон, пошептавшись друг с другом, первые ушли с пира, никем не замеченные.

XV

ДВА ПРИЗНАНИЯ

Царевна Елена Леонтьевна недавно встала, открыла окно и задумалась, глядя на ясное голубое небо. Думала ли она о своей родине, вздыхала ли о знойном солнце или ее сердце заняло при воспоминании о безвестно пропавшем в Персии муже? Она и сама не сумела бы ответить на эти вопросы. По всей вероятности, все это входило элементами в ее тоскливое настроение, в ее грусть, овладевшую ею на далекой чужбине.

Долго стояла царица у окна, устремив задумчивый взор в синюю даль, пока легкое прикосновение к плечу не заставило ее вздрогнуть и быстро обернуться.

— А, это ты, Нина? — ласково проговорила она, узнав княжну Каркашвилли. — Что, дитя? Ты так бледна, так печально глядят твои глазки! Что с тобою?

— Я не о себе пришла с тобою говорить! — тихо ответила девушка.

— А о ком же? — изумленно спросила царица. — Ну, говори же! Да подыми же свою голову, посмотри на меня! — И она, взяв девушку за подбородок, насильно подняла ее лицо, вспыхнувшее под пытливым взглядом.

— Пусти, — высвободилась из ее рук княжна, — я пришла спросить, скоро ли мы уедем домой из этой холодной, страшной страны к себе, под чудное синее небо, под тени наших развесистых платанов, в наши лиловые горы? Скоро ли мы уедем? — с тоски произнесла молоденькая княжна и заломила руки.

— Дитя! — грустно возразила царица. — Разве мы с тобою птицы, чтобы лететь, когда захотим и куда захотим?

— Мы не птицы, но ты — царица...

— Царица без царства, без крова, без почестей, — с горькой улыбкой проговорила Елена Леонтьевна. — Печальная царица, что и говорить!

— Оставь этих русских! — страстно заговорила Нина. — От них мы никогда ничего не получим. Лучше же просить помощи у персов! Подожди... Ты думаешь, я не знаю, что наше посольство обнищало, все время давая этим жадным людям пешехи? Разве я не знаю, что лучшие жемчуга ты заложила у еврея и послала этому ненасытному боярину?.. И что же? Ничего не выходит! Они нас исправно обирают и над нами же глумятся... Чего же еще ждать?

Царица слушала ее молча, немного отвернув от нее лицо, по которому текли слезы.

— Но ты знаешь, — наконец произнесла она, — что скоро приезжает сам Теймураз.

— Зачем, зачем он едет сюда? — со стоном вырвалось у девушки.

— А куда ему преклонить свою седую голову? Ведь он всеми покинут... Где ему искать защиты, как не у русского царя? Мы ничего не сделали; может быть, ему посчастливится. Но,

дитя, скажи, зачем ты занимаешься государственными делами? Твоей ли юной головке обсуждать такие вещи? Тебе только надо петь, плясать и веселиться, да еще любить...

На длинных ресницах княжны задрожали слезинки, и, чтобы скрыть их от царевны, она низко опустила голову.

— Вот видишь, дитя, тебя что-то другое гнетет, а не только наши печальные дела. Не за этим ты и ко мне шла. Скажи, Нина, будь со мною откровенна.

— Царевна, ты так внимательна ко всем нам... так заботишься о нас... Но некоторых из нас ты забываешь... Они делают что хотят, их страдания тебя не тревожат...

— Кто же это, Нина, кто? — с изумлением спросила Елена Леонтьевна.

— Леон Вахтангович, например. Посмотри, как он изменился, как исстрадался здесь.

— Дитя! — серьезно произнесла царевна. — А что тебе до страданий князя Джавахова? Да и разве кроме него все у нас счастливы?

— Леон... Леон — мой друг, товарищ моих детских игр, царевна, — не подымая глаз, ответила княжна.

— Друг, товарищ, и только?

Смуглое лицо княжны вспыхнуло, и она в смущении вертела в пальцах янтарные четки.

— Отвечай же, Нина! Ты заботишься о князе только потому, что он твой друг и товарищ детских игр? Ведь ты солгать мне не можешь? Да и не надо, твое смущение и румянец выдали мне твою тайну. Ты любишь его, да, я это вижу! Ну, что же, пусть это тебя не смущает, Нина. Ты молода, а это чувство присуще молодости. Я поговорю с ним...

— О царевна... Я не хотела этого; мне казалось... он грустит о ком-то другом...

— О ком же, как не о тебе? Ты такая скрытная!

— Нет, нет, причина его грусти — не я.

— О маленькая ревнивица! — засмеялась Елена Леонтьевна. — Ты хочешь послать меня на разведки? Ну, хорошо, я берусь за твое дело.

— О, как ты добра! — произнесла растроганная княжна, покрывая руки своей царственной подруги поцелуями.

— А чтобы не откладывать нашего дела, ступай поди позови князя Леона! Или пошли кого-нибудь за ним... Он дома?

— Дома,— тихо прошептала девушка.— Вчера он был во дворце, на пирушке у царя, и вернулся оттуда мрачнее черной тучи. Потом он опять вскоре вышел и... вернулся, чуть заалела на востоке заря. Я видела, какая страшная печаль светилась в его глазах, хотела утешить его, пошла ему навстречу, думала — он меня заметит и, как бывало прежде, ласково заговорит со мною. Но он прошел мимо, даже не взглянув на меня! — закончила княжна и заплакала.

— Полно, Нина, не плачь, он тебя просто не видел; дай же я поговорю с ним. Я уверена, что его глаза снова загорятся лаской и счастьем, а на твоих щеках снова вспыхнет румянец радости. А теперь ступай пошли кого-нибудь за князем, я же пока оденусь.

Девушка поспешно вышла, а царевна начала совершать свой туалет. Она была почти уже одета, когда в дверь постучали.

— Войдите,— ответила Елена Леонтьевна.

Леон вошел и поклонился, скрестив по тогдашнему обычаю на груди руки.

— Садись, князь,— указывая на тахту, проговорила царевна.— Я рада видеть тебя. Ты так редко стал бывать дома и показываться на мои глаза.

— Дела, царевна! — уклончиво ответил князь.

— Какие же — государственные или личные? — попробовала пошутить с ним Елена.

— И те и другие.

— Ну, хорошо. А кинжал свой нашел?

— Нашел. Вот он.

— Старый князь видел его?

— Нет еще! — смутившись, ответил юноша.

— Леон... могу я еще так звать тебя? — задумчивым голосом спросила царевна.

— О царевна,— ответил растроганный молодой человек,— я всегда твой покорный раб!

— Ты стал грустен в последнее время, тебя что-то гнетет. Доверься же мне! Может быть, я помогу тебе, несмотря на всю свою слабость и незначительность при здешнем дворе!

— О, ты, конечно, можешь, если бы только захотела! — со вспыхнувшей надеждой в груди горячо произнес юноша.— Одно твоё слово — и мою тоску как рукой снимет!

— Ну, так говори же скорей! Я произнесу это слово, от которого зависит превратить твою тоску в радость!

— О, как ты добра! — вскрикнул князь Леон и горячо поцеловал руки царевны. — Видишь ли, царевна, я полюбил одну девушку...

— Ну, в этом еще небольшое горе... Разве ты полагаешь, что она тебя не любит?

— Нет, в ее любви я уверен, но ее отец отказал мне, потому что я беден.

— Но и они небогаты, — ответила изумленная царевна, — едва хватит на выкуп за невесту. Но ты, значит, давно любишь ее? И еще до отъезда из Грузии говорил о том с князем?

— Не понимаю, царевна, о чем ты говоришь? Люблю я ее, правда, давно, зимой еще полюбил, а с князем говорил только вчера...

— Вчера? Но этого не может быть! — воскликнула царевна Елена. — Вчера ты не мог видеть князя.

— Я видел его на пиру у царя и говорил с ним. Он резко и обидно отказал мне. И нам осталось одно — умереть! — проговорил Леон, до боли закусывая губы.

— Постой, постой, — остановила его царевна. — Скажи мне, кто эта девушка? Наша она или...

— Она русская...

— Имя, имя ее?

— Но ты знаешь, — изумился Леон, — ты назвала ее отца князем. Это Ольга, княжна Пронская.

— Пронская? — широко раскрытыми глазами посмотрела на юношу царевна. — Пронская... ты любишь русскую... княжну Пронскую? — бессвязно повторила она.

— Тебя это огорчило, царевна? — грустно спросил Леон. — Да, вижу я, что над моей любовью нависло что-то роковое, как грозовая туча. Единственная надежда у нас осталась — ты, и вот эта надежда рушится.

— Бедная, бедная Нина! — тихо прошептала царевна Елена. Джавахов с изумлением посмотрел на нее, но долго не останавливался на мысли, мелькнувшей в его голове и так мало имевшей отношения к его чувству. Он тихо и безнадежно проговорил:

— Ты, значит, отказываешь мне и своего слова не произнесешь перед князем?

— Что я могу? — печально спросила царевна.

— Но ты... тебя так почитает князь Борис Алексеевич; одно твое ласковое слово — и он все, все для тебя сделает.

— Ты хочешь, чтобы я просила князя? — гордо произнесла Елена Леонтьевна.

— Просила — нет, — робко возразил Леон, — но сказать ты ему могла бы: он для тебя все, все сделает, чтобы только увидеть на твоём лице улыбку, услышать из твоих уст ласковое слово... Он на все согласится.

— Ты забываешься, князь! Горе отняло у тебя разум, и ты не понимаешь того, что говоришь и кому говоришь.

— Прости, прости! — опускаясь на колени, прошептал Леон. — Но я так несчастен, так одинок! Ты, одна ты, на которую я ещё надеялся, которой осмелился открыть свою душу... О, прости, прости меня, царевна! Я потерял разум.

Безграничное горе юноши тронуло доброе и отзывчивое сердце царевны.

— Встань, и обсудим вместе, что мы можем сделать. Княжна любит тебя, но она уже невеста, и Пронский никогда не откажется от своего слова.

— Попробуй, — робко попросил Леон.

— Хорошо, ради... Впрочем, я ничего тебе не обещаю. А если я предложу тебе... отказаться от этой девушки?

— Царевна! — твердо произнес Леон. — Мы с нею решили этой ночью... вместе умереть!

Царевна чуть слышно вскрикнула и схватила Леона за руку.

— Безумцы! Умереть в такие молодые годы, — задумчиво проговорила царевна, точно рассуждая сама с собою, и ее взоры стали глубоко печальны. — Сколько нужно было страдать, чтобы созрело такое решение!

— Лучше умереть, чем жить с такими страданиями в сердце, — тихо проговорил Леон.

— Но вы можете бежать!

— Куда, царевна? Люди князя нас всюду сыщут. Вчера боярин Милославский предложил мне за этот кинжал... две вотчины.

— И ты? — с жадным нетерпением спросила царевна.

— Я... боролся, — бессильно ответил юноша, — но отказал. Этот кинжал...

— Я знаю... ты хорошо сделал, — страстно проговорила царевна Елена. — Ты настоящий грузин, настоящий честный воин. Я сделаю, что позволят мне мой сан и мое положение: я поговорю с Пронским и от твоего имени попрошу у него руки дочери.

— Как ты добра! — восторженно вскрикнул Леон.



— Он, вероятно, сегодня зайдет ко мне, — стыдливо опуская глаза, сказала Елена Леонтьевна, — потому что за ним посылали наши старики. Надо просить у царя людей для встречи царя Теймураза... Я поговорю с князем...

— Благодарю, благодарю! — И Леон, еще раз почтительно поцеловав руку царевны и неслышно ступая в своих мягких чувяках, вышел из комнаты.

XVI

ОТВЕРГНУТАЯ ЛЮБОВЬ

Несколько часов спустя после разговора с Джаваховым царевна Елена Леонтьевна сказала княжне Каркашвили:

— Нина, забудь своего Леона!

Девушка слушала царевну молча; по ее смуглым, чуть впалым щекам текли слезы; бледные губы нервно трепетали, и грудь нервно вздымалась. Казалось, она вот-вот не выдержит и упадет на мутки и тахты в безумных рыданиях.

Царевна говорила тихо, ласково, пытливо поглядывая на девушку и в душе гордясь ее стойкостью.

— Полно, не волнуйся! Не порти своих прекрасных глаз!.. Они еще не одному будут кружить голову. Мало разве у нас юношей во много раз лучше твоего Леона? Ты забудешь его и полюбишь другого... Это судьба всех девушек, которые неудачно любят впервые.

Нина отрицательно покачала головой.

— Вот приедет царь Теймураз, и мы все скоро вернемся в наши милые горы, увидим наше прекрасное небо. И ты забудешь Леона, как все мы забудем здешние снега и людей, которые еще холоднее снега.

— Я никогда не забуду Леона, — упрямо сказала Нина. — Разве ты не дочь наших же гор и не знаешь, что мы любим только раз в жизни — и на всю жизнь? Скажи лучше, кого любит Леон?

— Не все ли тебе равно? — грустно спросила царевна.

— Я хочу взглянуть на нее, — ответила Нина сквозь зубы, сумрачно сдвинув свои брови. — Скажи!

— Княжну Пронскую.

Нина закусил губу и на мгновение закрыла рукой глаза, но потом, справившись с собой, тихо проговорила:

— Княжну Пронскую? Эту бледную девушку, что живет против нас? Что он нашел в ней?

— Она очень несчастна, Нина,— с участием сказала царевна.

— Так для того, чтобы Леон любил, надо быть несчастной? А я разве счастлива? Впрочем, правда, в этой русской есть что-то жалкое, душу надрывающее. Но разве за это любят? — грустно усмехнулась Нина.— Ну, хорошо...

— Что ты задумала, дитя? — с тревогой спросила Елена.

— Ах, не знаю, ничего не знаю! — сжимая руками виски, ответила Нина.— Мне так больно, так больно!..

— Бедная, бедная! — ласково заговорила царевна, глядя черные волосы девушки.

В это время дверь отворилась. Вошел нукер и доложил, что князя Орбелиани и Пронский желают говорить с царевной.

— Пусть войдут,— ответила Елена Леонтьевна.— А ты, дитя, ступай,— обратилась она к Нине, когда нукер вышел,— иди к себе и помолись Пречистой Деве: Она утишит твои страдания! — И, поцеловав княжну, отпустила ее.

В комнату вошли Орбелиани и Пронский.

— Царевна,— заговорил Орбелиани, низко кланяясь, в то время как Пронский снял шапку и рукой коснулся пола.— Вот князь желает с тобой иметь беседу.

— Я очень рада князю,— приветливо ответила царевна и пригласила гостя сесть.

Орбелиани, поклонившись, вышел.

Пронский пристально взглянул на молодую женщину и молча сел на указанное место; необычайная приветливость царевны смутила и взволновала его.

— Говори, князь,— сказала Елена Леонтьевна и, сложив руки на коленях, приготовилась его слушать.

— Царевна, я пришел сказать,— начал Пронский, исподлобья глядя на молодую женщину,— что наш великий государь Алексей Михайлович ждет приезда твоего свекра, царя Теймураза, и тогда решит, что ему сделать с Грузией.

— Это решают уже пятый год,— с горечью возразила царевна,— единовверная вам Грузия истекает кровью, а ваш царь все еще что-то решает.

— Что делать! Мы сами воюем то со шведами, то с литовцами, то с казаками. У нас у самих много народу полегло на ратном поле,— оправдывался Пронский.

— Зачем же тогда сразу было не сказать, а обнадеживать? Мы не жили бы здесь столь напрасно, царь Теймураз не ехал бы за помощью, в которой ему все равно откажут. Мы давно обратились бы за помощью к другим, пусть то будут даже нехристиане!

— Царевна! — сказал ей князь. — Потерпи еще малое время, приедет царь Теймураз, и, может быть, все повернется еще в вашу сторону.

Елена Леонтьевна с сомнением покачала головой и грустно усмехнулась, после чего спросила Пронского:

— Еще что имеешь ты мне сказать?

— Хотел просить твою милость... Не откажи, царевна, посети мой убогий домишко!

Елена Леонтьевна с изумлением взглянула на него:

— К тебе? Я? Зачем?

— Со свитой, с царевичем, — все больше смущаясь под ее взглядом, заговорил князь. — Свадьба, вишь, у меня затевается...

— Ах да, да! — вспомнила вдруг царевна. — Ты выдаешь свою дочь замуж. Ты говорил, да. За старого князя Черкасского?.. И тебе не жаль отдавать свою юную дочку старику?

— Что ж, царевна, у нас это в обычае.

— Станный у вас обычай. А если она не любит твоего старика?

— Стерпится — слюбится.

— Ну... а если она другого кого-нибудь любит?

Князь сурово сдвинул свои брови:

— Никогда этого быть не может! Не смеет девка без разрешения родителей никого любить.

— Ты думаешь? — насмешливо спросила царевна.

— Конечно, всякое бывает, царевна, а только в нашем роду этого еще не бывало, — надменно ответил Пронский. — Кого отец прикажет, того дочка и любит.

— Станные же у вас дочери, князь! Видно, у них сердца нет, что ли?

— Нашим бабам сердца и не нужно.

— Это ты так думаешь, князь, а они, уверена я, по-иному судят, и я вот знаю, что твоя дочь любит, да только не того, кого ты ей назначил, и не по твоему указу!

— А по чьему? — угрюмо спросил князь.

— По указу своего сердца. Кого сердце ей указало.

— Да что она, жаловаться к тебе, что ли, приходила, царевна? — И холодные как сталь глаза князя подозрительно оглядели царевну.

Царевна чувствовала, как ее покидала решимость говорить перед этим мрачным, влюбленным в нее человеком, но, вспомнив убитое горем лицо Леона, стряхнула с себя робость и даже коснулась кончиками пальцев руки князя.

— Послушай, боярин, — мягко начала она, — твоя дочь не любит князя Черкасского. Не мешай ее счастью, согласишься на ее брак с моим родственником, князем Леоном Джаваховым. Он не так богат, как Черкасский, но молод, силен и умен, может быть хорошим слугою твоему царю, тебя же он вечно будет благословлять за это доброе дело.

— Царевна, ты просишь? — начиная смягчаться, спросил Пронский.

— Я умоляю тебя, князь, откажи Черкасскому и дай согласие моему Леону.

— Царевна, ты хочешь от меня многого! Я должен изменить своему слову; должен потворствовать дурости моей девки: мне, князю Пронскому, должно назвать своим зятем бедного юношу. За что же я должен сделать все это?

— Леон — не простой юноша, — гордо ответила Елена. — Он такой же князь, как и ты, даже древнее тебя родом.

— Может статься! Да ведь он — иноземец, а это у нас не в счету. Слушай меня, царевна! Не думал не гадал я, идучи сюда, что ты услуги у меня просить будешь. Давно решил я свою дочь за князя Черкасского отдать, ну а если ты просишь — будь потвоему. Даю свое согласие. Но не даром даю его тебе, царевна, и выкуп потребую.

— Выкуп? Какой выкуп?

— А вот какой: если дорог тебе князь Джавахов и заботишься ты о благе его, то, значит, себя ради него не пожалеешь. Вдовеешь ты давно, потому что муж твой без вести пропал, а я... я тоже скоро вдовый буду...

— Разве княгиня очень больна?

— Почти померла, можно сказать.

— Как же свадьбу ты хотел справлять?

— Вот потому свадьбой и торопился, — усмехнулся Пронский, и по спине царевны от этой улыбки пробежала дрожь. — А после свадьбы непременно она помрет...

— Ты так спокойно говоришь о смерти своей жены?

— Постыла она мне,— мрачно ответил Борис Алексеевич.

— Все же она жена твоя.

— Ведь нас обвенчали тоже не спросясь, хотим ли мы того, любви ли мы друг другу или нет. Но ты, царевна, все перебиваешь меня... А мне речь свою надобно кончить; так вот, когда моя жена умрет, дай слово, что ты войдешь в мой дом желанной хозяйкой.

Елена Леонтьевна встала, пораженная, с тахты.

— Опомнись, князь! Какие речи ты повел? — гордо окидывая его взглядом, проговорила она.

Пронский тоже поднялся, и его серые глаза мрачно устремились на вспыхнувшее гневом лицо женщины.

— Что ж, иль не люб я тебе? — глухо произнес он, и недобрая улыбка скривила его побледневшие губы.

— Князь, нам с тобою не следует говорить о любви! Где бы ни был мой муж, пока своими глазами не увижу его брэнного тела — я жена его! А твоя жена тоже еще жива, и ты не вдовец, а муж. Что же говорить об этом? Истинно дивлюсь я тебе, князь!

— А если я тело твоего мужа добуду,— задыхаясь, проговорил Пронский, не зная, что придумать в свое оправдание,— да жена моя Богу душу отдаст, согласишься ли быть моей женой?

— Безумные речи ведешь ты, князь!..— с ледяной холодно-стью ответила царевна Елена.— Тела моего мужа ты не добудешь; может быть, горные орлы давно исклевали его или волны размыли его царские кости! А я все-таки останусь его женой, пока мы с ним не встретимся — здесь ли, на земле, или там, на небе! — подняла она руку.— И твоей женой я никогда не буду!

Пронский, не владея собой, сделал к ней шаг и, опустившись на колени, старался поймать ее руки. Его красивое лицо побледнело, и нервная судорога искривила его правильные, тонкие черты; глаза горели такой любовью и мукой, что гордое, холодное сердце грузинки невольно дрогнуло при виде такой безумной страсти.

— Красавица дивная, прости! — задыхаясь и весь дрожа, заговорил измученный Пронский.— Вели казнить, убей сама — я, умираючи, благословлю твое имя, но не гони меня от себя! Если бы ты знала, какая мука в моей душе, какая лютая тоска сосет мое сердце, когда не вижу тебя, не слышу голоса твоего ласкового, речей твоих величавых и гордых! Лучше бы света мне не видать, лучше живым в могилу улечься, нежели без тебя,

лебеди моей белой, жизнь постылую маячить! Скажи, чтобы головой в Москву-реку кинуться мне с моста — слова не вымолвлю: сложу я свою головушку буйную, бесталанную, погибну смертью бесславною. Но жить без тебя, касатки моей, мне не вмоготу... Смилуйся!

Царевна точно замороженная слушала эту страстную речь; она видела у своих ног богатырскую фигуру русского витязя, молва о которых еще в детстве и юности туманила ее голову и заставляла волноваться девичье сердце.

Елена Леонтьевна давно почувствовала, что князь любит ее, и старалась избегать всякой встречи с ним. Но слухи о его необычайно порочной жизни, даже о преступлениях, помимо ее желаний доходили до нее и волновали и томили ее. Чем реже она видалась с Пронским, тем больше думала о нем, и чем преступнее он казался окружающим, тем более ныло ее сердце и тем несчастнее он казался ей. Она жалела его и объясняла свое участие к нему этой жалостью.

Соглашаясь по просьбе Леона говорить с князем, она никак не могла предвидеть такой исход, и, одевшись в броню холодности и надменности, думала, что их разговор не примет нежелательного для нее направления. И вдруг эта страстная речь, эти нежные слова, эти горячие поцелуи и эта слабость человека, которого она считала олицетворением силы, надменной гордости и даже жестокости!

И все, что еще было мягкого в ее душе по отношению к этому человеку, вдруг зачерствело; жалость сменилась ледяной холодностью, участие — жестокостью. На ее лице появилась презрительная улыбка.

Однако, прежде чем она успела принять какое-нибудь решение и согнать с лица эту предательскую улыбку, Пронский уже заметил ее, но, конечно, не понял. В одно мгновение он уже был на ногах, схватил гибкий стан царевны и, прижав его к своей груди, стал покрывать ее лицо поцелуями, прерываемыми страстными словами:

— Любишь, любишь, царевна! Умчу я тебя на край света, буду лелеять пуще глаза, пуще сердца, родная, желанная, жизнь, жизнь моя, моя любушка!

Он целовал закрытые глаза, похолодевшие губы, растрепавшиеся волосы царевны, а она, без движения, застывшая в своей оскорбленной гордости, даже не делала попыток освободиться из его рук.

Наконец князь оторвал свои губы от ее лица и пристально вгляделся в него; только тут он увидел ее неестественную неподвижность, понял ее презрительную улыбку и, испуганный своим безумным порывом, осторожно опустил ее на тахту.

Царевна не шелохнулась; ее косы разметались по ковру тахты. Заметив серебряный кувшин, Пронский налил вина в чашу и поднес к плотно сжатым губам царевны. Она отшатнулась, обвела взором вокруг себя и, увидев встревоженное лицо князя, со слабым криком ненависти закрыла глаза руками.

— Уйди! — сурово произнесла она, закрывая глаза и хватаясь за голову.

— Скажи, тогда уйду и голову свою в Литве сложу. Любишь?

— Уйди! Уйди! — молила царевна. — Непристойно мне речи твои слушать.

— Я все сделаю, как сказал, — уже мрачно проговорил Пронский, — одно слово у меня, не два. Сегодня же твоего Леона повенчаю с Ольгой, всю дворню распущу, всем вольную раздам. Только скажи... ну, не сейчас, а когда-либо дальше — выйдешь ли за меня?

— А дочь выдашь за Джавахова?

— Богом клянусь! — искренне произнес Пронский.

— Смотри же, ты поклялся Богом! — проговорила наконец царевна, наслаждаясь своею властью над этим мрачным, свирепым и сильным человеком. Пронский опять было придвинулся к ней, но царевна оттолкнула его от себя и, гордо выпрямившись, произнесла дрожащим от гнева голосом: — Уйди, или я кликну людей!

Пронский схватил свою шапку и как шальной выбежал из комнаты. А царевна долго безмолвно смотрела ему вслед, потом заломила руки и, упав на колени пред киотом с образами, дала волю своим слезам.

XVII

СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТЫ

Вернувшись к себе, Пронский стал ходить быстрыми шагами по своему большому саду. На его лице играла теперь хмурая, загадочная улыбка; его глаза горели, и в них была какая-то затаенная мысль. Наконец он пошел в терем, где жили его жена и

дочь; все вокруг него было погружено в ту удручающую тишину, под которой чувствуется нечто ужасное, но он ничего не видел, обуреваемый мрачными думами.

Княжна Ольга сидела в высоком деревянном кресле за пальцами у широко раскрытого окошка, в которое еще врывались багрово-красные полосы заката, придававшего комнате таинственное освещение. Узкая кровать под кисейным пологом, небольшой дубовый стол, крытый камчатной скатертью, а перед ним — скамья-диван, покрытая по сиденью ковром; такой же ковер по стене, над диваном; в углу образ с теплившейся лампадой, украшенный полотенцем ручной работы, — вот и все убранство покоя княжеской дочери, одной из богатейших невест всей Москвы.

Ольга вышивала лениво, то и дело поглядывая в окошко на небо, начинавшее уже медленно темнеть. Всегда бледное лицо девушки казалось теперь мертвенным; ее прекрасные лучистые глаза, единственное украшение всего лица, глядели тускло, безжизненно, и княжна равнодушно слушала назойливую и неинтересную болтовню мамушки.

— Сказывают, — тянула та, — у князя-то, женишка твоего, зерен бурмицких видимо-невидимо, будто он его в ступе толчет и свиньям в корм дает. Богатейший князь! И ты, дитятко, у него как у Христа за пазухой будешь жить; ублажит он женку свою, что и говорить! Только ты, дитятко, — вдруг перешла она на шепот, — сразу же власть над старым возьми, чтобы он не вздумал куражиться над молодостью-то твоей. И вот тебе еще мой совет, дитятко: как только переступишь порог княжого дома, сейчас же вон из хором эту ведьму Матренку-то, домоправительницу-то... На что она тебе? Ты только волю сперва мужу не больно давай, дело-то и пойдет ладком да мирком. Ты слышишь меня, Олюша?

— Слышу, мамушка, слышу! — рассеянно ответила княжна, видимо уловившая ухом только самые последние слова.

— Ну, ин ладно, если слышишь. А вот еще сказывают, царь скоро колдунов на огне палить будет; сильно он, батюшка, ворожей да волшебников не любит!

— Мама, оставь, помолчи малость, — остановила женщину княжна, болезненно поморщившись. — Голову чего-то ломит, — и она дотронулась пальцами до висков.

— Ну, помолчу, если велишь, — проговорила мамушка и, покорно сложив руки и закрыв глаза, вскоре задремала.

Ольга бросила работу, охватила голову руками и вдруг беспомощно заплакала, спрятав лицо в пальцы. Но долго предаваться горю ей не удалось; в сенях раздались шаги князя Пронского, и, едва девушка успела торопливо вытереть глаза платочком, а мамушка — пугливо открыть глаза, дверь распахнулась, и в комнату вошел Борис Алексеевич.

— Здорово, дочка! — приветствовал он вставшую Ольгу, чуть вздрагивавшую от обычного страха, всегда нападавшего на нее в присутствии отца. — Что невесело глядишь?

Ольга ничего не ответила, а лишь с ужасом прислушивалась к необычайно веселым звукам в голосе отца.

— Посмотри, девица, ласково на отца, я, чай, желанный гость тебе? — продолжал он шутливо, а затем, сев в кресло и поглаживая черную бороду, обратился к мамушке: — Ты выдь, старая! Мне есть о чем поведать дочери.

Мамушка, кланяясь до земли и пятясь к дверям, наконец вышла из комнаты.

Ольга с отцом осталась одна; она едва держалась на ногах, и казалось, вот-вот упадет.

Пронский молча глядел на дочь, и обычный недружелюбный огонек блеснул в его строго глядевших глазах, когда он произнес:

— Ай да княжна Пронская! За отцовской спиной, без ведома, можно сказать, родителей, слюбилася с молодчиком-чужанином!

— Матушка знала, матушка благословила! — в первый раз поднимая на отца взор, проговорила Ольга.

— Хороша и потатчица — твоя матушка! — злобно усмехнулся Пронский. — погоди, ужо всех разберу...

— Не вини матушку, меня одну вини, отец! — падая ему в ноги, взмолилась Ольга. — Вспомни, матушка — не жилица уже на этом свете.

— И то долго зажилась!

Ольга в ужасе отшатнулась от отца и с тяжким укором простонала, закрывая лицо руками:

— Отец!

— Что «отец»? Думаешь, и впрямь зверь — отец-то? А вот хочу я твою и матери твоей доуку рассеять... Так очень люб тебе этот князек-чужанин?

— Отец, вели в монастырь мне уйти, век буду за тебя Бога молить, только не неволь меня за постылого князя замуж выходить!

— Да ты ответь, люб ли тебе грузинский князь?

— Люб, батюшка, сильно люб,— тихо ответила княжна, и ее бледные щеки покрылись ярким румянцем,— больше жизни люб, вот как!..

— Больше чести девичьей?

— Я девичьей чести не позорила. Люб он мне, люб а и я ему, а видались мы в церкви. Очи его в душу мою заглянули, и там его взоры навеки остались. Разве вина моя в том?

— Вина твоя, что от отца утаилась.

— Матушке все поведала,— робко сказала девушка,— пред очи твои грозные явиться не смела.

— Явиться не смела, а за углом с пареньком этим любовь заводить посмела?

— Батюшка родимый! — страстно произнесла княжна, и ее красивые глаза засияли как звезды, а голос зазвучал полно и твердо: — Разве вольны мы в сердце своем? Разве можно сказать ему, кого любить, кого ненавидеть? Сердце заныло, затосковало по нем, и нет мне жизни без него, а на свет-то очи мои не глядели бы!

— А если я тебя за такие слова да в монастырь заточу? — спросил Пронский.

— Воля твоя, батюшка!

— Ну, полно! — вдруг услышала Ольга ласковый голос отца, и его руки коснулись ее плеч.— Вставай! Уж заступница-то у тебя с ним очень хорошая.

— Боярыня! — радостно изумилась Ольга, подымаясь с колен.— Елена Дмитриевна?

— А она тут при чем? — спросил Пронский.

— ...Я, я...— замялась девушка, боясь сознаться, что уже делала попытку помешать отцовским затеям.— Я думала...

— Что ты, несуразная, думала? — пристально глядя на дочь, произнес князь.

— Ни-че-го! Так попритчилось, что, может быть, она подмогла нам...

— Вздор мелешь! — сурово крикнул на нее Пронский.— Однако вот что: ступай, скажи мамушкам своим да матери, что сегодня же повенчаю тебя с грузинским князьком. Пошли-ка за ним да мать преуведомь, что сейчас к ней иду.

— Сейчас, батюшка! Сейчас, милый! — со слезами воскликнула Ольга и, поцеловав отца руку, опрометью кинулась бежать.

Через мгновение Пронский уже услышал, как ее всегда тихий голосок звонко раздавался теперь на весь терем и громко созывал мамушек и нянюшек.

Пронский усмехнулся, погладил бороду и погрузился в размышления. Потом отправился к себе, переодел кафтан и пошел к жене.

Княгиня уже давно слегла в постель, подтачиваемая тайным недугом, и походила скорее на труп, чем на живого человека. Вытянув свое исхудалое тело на постели, она лежала целыми часами, сложив на груди руки, устремив взор и шепча молитвы. Только приход Ольги выводил ее из этого состояния, и она, погладив дочь по голове, усаживала ее за чтение Псалтыри. Так проводили они вдвоем много часов, точно отрешенные от мира.

Когда Ольга вбежала к матери, вся раскрасневшаяся, с радостным сиянием в глазах, с необычайно шумливым смехом и говором, княгиня с испугом посмотрела на нее и начала незаметно креститься.

— Что с тобой, моя Олюшка? — слабо раздался ее голос, когда княжна припала к ее лицу.

— Матушка, матушка! Все пройдет, ты выздоровеешь, и мы все заживем теперь по-хорошему, — захлебываясь от счастья, заговорила девушка. — Отец, батюшка...

Безумный испуг отразился в глазах больной.

— Что, что с Борисом? — дрожа, спросила она.

— Да ты не бойся, матушка! Батюшка здоров, и ничего с ним не случилось.

Больная облегченно вздохнула полной грудью и, откинув голову на подушки, закрыла глаза.

— Батюшка здоров, — повторила Ольга, — и сейчас будет к тебе. Он согласился отдать меня замуж за Леона.

— Будет у меня сейчас? — заволновалась княгиня, видимо не слушая того, что сообщала ей дочь...

— Матушка, слышишь ли ты меня? — тоже волнуясь, прошептала княжна, плотнее прижимаясь к матери. — Он позволил мне за Леона замуж идти!

— Поправь мне волосы, — не слушая ее, распорядилась Анастасия Дмитриевна, — дай чистую рубаху мою, праздничную, кисейную, с шитьем.

Ольга торопливо достала из сундука белую рубашку и стала надевать ее на больную. Но слабое, изможденное тело по-

следней бессильно упало на подушку, и Ольге пришлось позвать себе на помощь сенную девушку.

— Оправь одеяло,— проговорила княгиня, когда ее, причесанную и приодетую, положили на подушки.

Только что все было исполнено, как вбежала девушка с докладом, что князь жалуется. Вскоре вошел и Пронский, истово перекрестился на образа, поцеловал жену в бледный, влажный лоб и сел в пододвинутое ему деревянное кресло. Сенная девушка незаметно юркнула из опочивальни; Ольга стояла перед отцом, как всегда потупившись.

— Слышала, чай? — мотнув на дочь головой, проговорил Пронский, обращаясь к жене.

— Я не успела матушке еще сказать о том,— вмешалась Ольга, поняв по растерянному взгляду матери, что она так и не слышала ее сообщения о неожиданной радости.

Пронский подозрительно окинул обеих взором.

— Выдь-ка поди,— приказал он дочери.

Ольга, поцеловав его руку, скользнула из опочивального покоя, ободрительно кивнув матери головой.

— Я князю Черкасскому отказ ныне послал,— начал Пронский, оставшись с женой вдвоем,— а Ольгу выдам за ее суженого. Ты слышишь ли меня, Анастасия?

— Слышу! — раздался в ответ тихий голос больной.

— Что же ты скажешь?

— Доброте твоей дивлюсь, князь! Откуда такая милость к нам? Я ли в твоих ногах не валялась, дочь пожалуй просила? Ты даже не слушал меня, а теперь вдруг и князю отказ, и за милого Оленьку отдаешь... В толк не возьму, как так твое лютное сердце смягчилось?

Пронский угрюмо встретил ее вопрос.

— А ты, и умираючи, все жалить будешь, ровно голодная оса? — злобно проговорил он.

Две крупные слезы скатились из глаз княгини.

— Правду ты сказал, умираю я, и никакие лекари мне теперь не помогут. И еще скажу я тебе: знаю и причину своей безвременной смерти. Но не бойся, Борис, я не выдам тебя,— ласково шепнула княгиня.

— Что ты плетешь, безумная? — вздрогнув и испуганно взглянув на жену, крикнул Пронский.

— Нагнись-ка ко мне,— позвала его Анастасия Дмитриевна,— мне надо так... кое-что тебе поведать...

— Так говори, что ли!

— О Господи! — простонала несчастная. — Какая гордыня в сердце твоём!.. Или уж я так опостылела тебе, что ты ко мне и пригнуться не можешь?

Пронский нетерпеливо повел плечами и слегка придвинулся к постели больной.

— Слушай, Борис... я сама видела, как однажды ночью... пришел ты ко мне...

— Еще что придумала?!

— И... всыпал в мою кружку... зельице. С той поры и стала я таять, как воск от огня. Подумала было я тогда, что лекарственное было то зелье, и выпила, а вот с той поры...

Пронский в ужасе отшатнулся от жены и был не в силах произнести ни слова.

— Я не виню тебя, — продолжала княгиня, — сладко мне умереть от твоей руки, потому сладко, что моя жизнь слишком горька была. И сама я думала не однажды о смерти, да только на тот смертный грех пойти силушки не хватало! Вот ты помог — спасибо тебе! В монастырь от тебя уйти тоже я не могла, а смерть принять от руки твоей сладко мне! Любила я тебя, а теперь, как ты дитятко наше единственное пожалел, я отсюда совсем с миром ухожу... Только есть у меня просьбица к тебе! Прости мне, что не хотя на твоём пути стала, прости от сердца и... и поцелуй меня, как, бывало, прежде целовал... — Голос княгини пресекся от усталости и волнения, а лихорадочно горевшие глаза со жгучим нетерпением впивались в когда-то любимое лицо мужа. — Пусть я с миром в вечность отойду, пусть будто ничего промежду нами злого и лихого не случилось. С миром предстану я тогда пред ликом Всевышнего, и смело буду молить Его за тебя, и скажу ему: «Отпусти грехи ему, грешному, любовно, дружно расстался он со мной на земле и послал меня к Тебе, отпустив с миром, со прощением, с благоволением». И тебе тогда легко станет жить. Поцелуй же меня, как целовал ты меня ранее, — с любовью сердечной, безо всякой злобы и ненависти!

Князь сидел понурившись, не смея взглянуть на свою безропотную жену, так жестоко принесенную им в жертву своему крутому нраву.

— Что же, или и этой моей последней просьбы не исполнишь? — услышал он. — За все мои муки, за жизнь угрюмую...

И князь почувствовал вдруг, как его застывшее сердце дрогнуло, как что-то теплое пролилось в нем. Это ощущение было таким неожиданным для него, что он испуганно встрепенулся и прислушался к пробуждавшемуся, почти уже вымершему чувству. И он не ошибся! Да, это было новое, светлое, радостное, великое чувство, чувство любви к человеку!

— Прости меня, Настя, прости своего злодея! — стонущим криком вырвалось из его груди, и он, опустившись на колени возле кровати, спрятал голову свою в одеяло.

Лицо больной осветилось счастливой улыбкой; она положила свои слабые руки на голову мужа и разбирала исхудалыми пальцами пряди его волнистых черных волос. Она видела, что в эту минуту его раскаяние горячо и искренне, и это доставило исстрадавшейся душе такое блаженство, что ее сердце колотилось о бессильную грудь, как птица, которая хочет выпорхнуть из неволи.

— Полно, родимый мой, полно! Бог простит! — заговорила она. — А я... я счастлива теперь... Бог грехам терпит... И я ведь виновата: силушки моей не было от тебя уйти — вот ты и покарал; ты — хозяин и над телом, и над душой моей. Что захотел, то и сделал! Дай только умереть мне мирно, благочестиво, покойно... да Олюшку не дай в обиду...

— Я спасу тебя, Настя! Я лекарю скажу, какой извел тебя отравой; он знает все, он и вызволит тебя... И не будет у меня тяжкого греха на душе, — прерывающимся голосом воскликнул князь.

— Нет, родной, конец мой скоро; все выжгло во мне это зелье. Да и не хочу я жить! Опять ты уйдешь от меня, опять будешь суровый, да неласковый, да греховный! Нет, Борис, не мешай мне предстать пред лицом Господа счастливой да покойной... Что сделано, того не воротишь; видно, Ему было так угодно водить твоей рукой. Поцелуй же меня в последний раз!

— Ты святая, Настя, а я... — целуя жену в губы горячим, продолжительным поцелуем, проговорил Пронский, — а мне, видно, и прощенья не будет за мои преступления.

— А ты несчастный, — возразила она. — Не ты виноват, что нрав такой у тебя; от Бога нрав-то нам дается! Кому хороший дается — тот счастливый, кому худой — тот несчастливый.

За дверью слышался шорох.

— Олюша, ты? — тихо крикнул Пронский.

— Я, батюшка,— ответила княжна.— Там приехала боярыня Хитрово, очень, мол, надобно ей тебя повидать.

— Ах, чтоб ей! Ну, скажи, сейчас иду! Прощай, Настюша! — И Пронский еще раз крепко поцеловал жену.

— Послушай меня, Борис,— робко произнесла Анастасия Дмитриевна,— прими мой совет: не водись ты с этой боярыней — сердце у нее жестокое!

— Да я давно с боярыней покончил,— виновато ответил Пронский,— по делу она теперь, поди, какому-либо.

— Ну, ступай, коли так. Спасибо тебе за ласку!

— Прости! — низко поклонился ей Пронский и вышел, позвав к княгине Ольгу.





Часть третья

I

В КРИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ

В обширном покое Пронского, самом нарядном и богатом, сидела Елена Дмитриевна, опершись локтями о стол, и так глубоко задумалась, что даже не слышала, как вошел в покой Пронский.

Ему пришлось окликнуть ее.

— Здорово, боярыня! — приветствовал он ее низким поклоном. — Чем прикажешь потчевать? Вот хозяйка-то лежит у меня больная, некому как подобает гостью почетную встретить...

Холодный, враждебный взгляд остановил его речь.

— Многих ли гостей твоя хозяйка встречала? — насмешливо кинула Елена Дмитриевна.

Пронский с недоумением пожал плечами:

— Не уразумею, что ты сказать хочешь?

— Будто? Что это каким несмысленочком стал? С каких это пор завелось?

— Ты, боярыня, пришла надо мною издевки делать? Что-то храбрости понабралась? Откуда?

— Добро! — закусил губы боярыня. — Я пришла за делом, а не зря говорить с тобою. Тоже сласть невеликая!

— Так говори дело, если оно есть.

Густые сумерки уже давно окутали комнату, так что разговаривавшие с трудом различали лица друг друга. Князь хлопнул в ладоши и приказал явившемуся холопу:

— Огня! Да живо!

Молодой холоп стремительно кинулся в угол, где на особых подставках стояли медные подсвечники, и, высекши огниво,

зажег сальные свечки; они затрещали, мгновенно стали оплывать и пускать чад.

— Покури каким-либо ароматом. Есть ведь у нас, чай? Скорее полей на жаровню и убирайся! — приказал князь, видя, что его гостя в нетерпении встала со скамьи и, открыв окно, вдыхала теплый вечерний воздух.

Когда слуга поставил маленькую жаровенку с «ароматами» на стол в угол возле свечей и бесшумно исчез из покоя, Елена Дмитриевна быстро обернулась и, подойдя в упор к Пронскому, резко спросила его:

— Ты знаешь ли, Борис Алексеевич, что дочь твоя слюбилась с грузинским князем Леоном Джаваховым?

Как ни был князь ошарашен этим вопросом, но хитрой женщине не удалось поймать его врасплох.

— Знаю, — невозмутимо ответил он.

В изумлении она отпрянула от него.

— Да ты в уме ли? — едва слышно проговорила она. — Ведь ты же просватал ее? Что скажет жених? Люба ли будет такая невеста князю Черкасскому?

— Я не знаю, любя или не любя будет такая невеста князю Черкасскому, а князю Джавахову любя она, я... я отдам ее тому, кто ей люб.

— Ты этого не сделаешь! — гневно выкрикнула Хитрово.

— Кто же мне воспротивится отдать дочь тому, кому пожелаю?.. Сегодня же их и обручу.

Елена как подкошенная упала на скамью, закрыв лицо руками.

— Да ты-то чего так убиваешься? — ехидно спросил ее Пронский, отлично понявший, что именно руководило его бывшей возлюбленной. — Или люб тебе князь-чужанин, что ли?

Елена Дмитриевна молчала.

— А давно ли, — продолжал князь, — я целовал твои ланиты да уста твои сахарные, и ты клялась мне, что, кроме меня, никого не любила и не полюбишь?

— Молчи, молчи, постылый! — грозным шепотом, со сверкающими глазами, остановила его боярыня.

— Теперь постылый, а давно ли милым называла? Ну, невестке в отместку, сударушка! Ведь и ты мне постыла хуже старости, речи твои коварные да змеиные сердце мне иссушили, душу из меня вынули.

— Спасибо на добром слове, боярин,— поклонилась ему в пояс Елена Дмитриевна,— теперь, когда мы знаем, кто мы друг для друга, и речь, значит, поведем начистоту. Пререкались мы с тобой вдосталь, и давно почуяла я в тебе своего врага лютого...

— Да и ты, боярыня, поди, не друг мне? — усмехнулся Пронский.

— Ну, так вот что скажу я тебе: всю обиду, всю свою вражду к тебе забуду, если исполнишь то, что попрошу... Требуй от меня всего, чего захочешь, все сделаю, если исполнишь ты мою просьбу.

— Ну, что же это? Говори, в чем дело!

— Откажи князю Леону и выдай дочь за Черкасского.

— Вот оно что! — криво усмехнулся Пронский.— И то я, кажется, из ума выжил, не догадался сразу, чего просить станешь.

— Не издевайся, князь, знаю я сердце твое лютое! Ведь жалости ты не знаешь, так если не меня, то себя пожалей... Я тоже лютою бываю, когда за обиду отместкой плачу.

— Не грозись, боярыня, не страшлив я.

— Я прошу тебя, князь, а не грожу тебе,— упавшим голосом проговорила Хитрово, и слезы обиды и отчаяния невольно полились из ее глаз.

Женские слезы во все времена и века и во всех странах производили на мужчин неотразимое впечатление и делали их слабыми и безвольными.

Так же и Пронский, уже давно возненавидевший красавицу боярыню за ее гордый и надменный нрав, теперь, видя ее беспомощной и униженной, готов был тронуться ее мольбами. Она заметила произведенное ею впечатление и, усиливая поток слез и заглядывая князю в глаза, продолжала:

— Родимый мой, желанный, исполни! Ну, что тебе? Дочка твоя будет счастлива и с Черкасским, она молода, ей все равно... А потом, ведь князь не два века жить будет!

— А ты была счастлива, когда тебя выдали за старого? — спросил ее Пронский.

— Я другого нрава была,— ответила Елена,— а Ольга — тихая, покорливая, богомольная. Стерпится — слюбится, по пословице. Мне же без него, прямо сказать, жизнь не в жизнь.

— Да ведь он Ольгу любит, а не тебя, что же ты так распинаешься? — удивился Пронский.

Бешеная ревность сверкнула в мгновенно высохших глазах.

— Любит! — прошипела она. — Много он смыслит в любви! Приглянулась ему смазливая рожица, ну и пожалел... Вот и вся его любовь... Как будет для него Ольга потеряна навеки, так и забудет... Ты только повенчай ее! Об остальном не заботься.

— Не могу, боярыня, — твердо произнес князь, — слово дал, да и девку жаль... Чего ради старик ее молодость заедать будет? Нет, своей дочери я, тебе в угодую, не дам на горькую жизнь.

— Так и решишь, стало быть? Не одумаешься?

— Не одумаюсь.

— Ну, так слушай же, князь Борис Алексеевич, — торжественно произнесла Хитрово, — добром мне не уступишь — силой тебя заставлю.

— Говорю, не пуглив я, — рассмеялся Пронский.

Этот смех окончательно вывел из себя Елену Дмитриевну; устремив на князя свои сухие, злобно сверкавшие глаза, она отчетливо проговорила:

— Ты не пуглив потому, что не знаешь того, что скажу я тебе, чем пригрожу. Ты не знаешь того, что тело польской княжны схоронено по моему указу и я одна знаю то место, где лежит оно.

Рука Пронского, гладившая бороду, чуть дрогнула, но он не произнес ни слова, не тронулся с места.

— По одному моему слову ее тело выроют из земли и лекарь Симон скажет царю, отчего она померла.

— Что мне до польской княжны? — спросил Пронский.

— А что скажешь ты, когда узнаешь, что цыганка Марфуша по моему наговору в тюрьму ныне заточена?

Пронский вздрогнул и с ужасом уставился на говорившую.

— Ее поймали по дороге в чужие земли; при ней нашли вещи и твое письмо, князь. Скоро ее начнут пытаться, и она все откроет, что знает о тебе!

— А также и о боярыне Елене Дмитриевне Хитрово, — проговорил оправившийся князь.

Раскатистый смех боярыни был ему ответом:

— Ой, уморил, боярин! Неужели ты думаешь, что я, такая несмышленная да непутевая, не догадалась, что цыганка, твоя пособница, выдаст и меня, если что знает обо мне. Не на дуру напал! Цыганка в надежных руках и, если мне понадобится, только одного тебя и оговорит...

— Змея подлая, задушить тебя мало! — кинулся к ней со сжатыми кулаками князь.

Хитрово спокойно встретила его бешенство.

— Задуши,— проговорила она,— мне все едино жизнь без него опостылела.

— А, провались ты с любовью своей! — крикнул князь и злобно хлопнул кулаком по столу.

— Что, небось не пужлив ты? — ядовито спросила боярыня.

— Известно, нет, а мало ли что взбредет бабе на язык, если пытаться ее клещами да дыбой начнут.

— Покорись лучше мне! Отдай дочь за Черкасского, а я отдам тебе цыганку и тело княжны польской, и делу конец.

Пронский провел рукой по глазам. Ужас пытки и позорной казни ясно предстал перед ним; он знал, что за отраву да за сношения с ворожеей царь неумолимо накажет его; а тут еще скорая смерть жены, которая, конечно, возбудит у всех подозрения... И кто знает, чем все это кончится? Но вместе с тем перед ним как живой стоял чудный образ грузинской царевны и манил к себе своей чарующей красотой. Не исполнить ее просьбы, отказать ей — значит отказать самому от всех надежд на нее, а он все еще смутно надеялся.

Да и вообще в его душе было смятение, и он не мог разобраться в своих ощущениях. Образ за образом всплывал в этой душе, вызывая в ней то добрые, то злые чувства, которые боролись друг с другом. Вспомнились ему и последнее свидание с умирающей женой, и высокое чувство, нежданно-негаданно осенившее и просветившее его. Отвергнуть предложение этой коварной змеи Хитрово, подвергнуть свою жизнь опасности и боярскую честь — позору... все равно ведь придется тогда отказаться от мечты обрести любовь царевны. И потом, Ольга?

Тяжелое, гнетущее чувство заползло в душу Пронского. Он сознавал, что его преступная жизнь требовала теперь искупления. Настал этот суровый для него час. Зачем же искупительной жертвой будет его несчастная дочка? Бедная девочка, на миг было мелькнул в ее мечтах отрадный луч счастья и сейчас же должен будет угаснуть? Но иначе нельзя, все равно, если бы он, Пронский, пожертвовал собой, то позор упал бы и на нее и ее счастье было бы отравлено.

Так рассуждал князь и не знал, на что ему решиться.

— Ну, что же, княже? Придумал что? — спросила Хитрово.

— А если ты солгала и никого-то у тебя в руках нет?

— Пойдем в тюрьму, я покажу тебе ее,— спокойно возразила Хитрово.

Пронский опустил голову.

— Ну, хорошо,— проговорил он,— ты пересилила меня, проклятая, но я раз навсегда хочу избавиться от тебя. Если я дочь отдам тебе на съедение, а ты меня обманешь?

— Богом клянусь! В тот час, как Ольга будет стоять под венцом с Черкасским, я приведу тебе цыганку и сделаю, что повелишь!

— Добро! — утвердительно кивнул князь.— Грамотку пропускную ей от царя добудь...

— Когда повенчаешь дочь?

— Завтра, после всенощной.

— Помни же, князь: цыганку получишь из рук в руки, когда я своими глазами увижу княжну под венцом с Черкасским...

А пока прощай!

— Прощай!

II

ПОХИЩЕНИЕ

Леон Джавахов шагал большими шагами по просторной кунацкой, а на тахте, подвернув ноги, в задумчивой позе сидел юный царевич Николай.

Наставник и ученик изредка перекидывались незначительными словами. Один был видимо чем-то сильно взволнован, а другой мечтательно глядел в открытое окно на синевшее вдали небо, медленно заволакивавшееся тучами.

— Должно быть, гроза будет,— проговорил царевич.— Тихо так стало; смотри, и деревья не шелохнутся, птички уже спрятались в свои гнездышки. Но здешняя гроза похожа на девичьи слезы, не правда ли, друг? Такая же слабая, нежная, не такая, как наша? Леон, ты помнишь еще нашу грозу в горах, когда раскаты грома потрясают вершины гор, когда молния ослепляет зрение и кажется, что небо разверзается над твоей головой, когда ветер бушует с таким неистовством, что гнутся и ломаются вековые деревья, а дождь пронизывает тебя до костей? Леон, слышишь ли ты меня?

— Мечтай, мечтай, мой мальчик, пока у тебя нет еще никакого горя на сердце.

— А что есть у тебя, Леон? И почему ты не поделишься своим горем со мною? Я, правда, юн еще, но уже далеко не мальчик и мог бы тебе быть хорошим товарищем.

— Спасибо, царевич, спасибо,— произнес растроганный Леон,— но сейчас твоя помощь не нужна мне.

— А ты заметил, как стала печальна и бледна моя мать? — продолжал мальчик.— Ее тоже грызет какое-то тайное горе.

— Ее беспокоят государственные дела. Скоро приезжает твой дед и потребует у нее и у всех нас отчета, что мы сделали,— рассеянно ответил Леон.

— Я скажу, что мы обеднели, подкупая здешних бояр,— пылко возразил юноша.

— Не говори этого,— остановил его Леон,— это может когда-нибудь дойти до них и испортить все наше дело.

— Скорей бы уехать! — мечтательно и грустно произнес царевич.

— Теперь это уже недолго,— ответил Леон.— Что это, никак дождь пошел? — заглянул он в открытое окно.— И то идет,— озабоченно прибавил Джавахов.

— Да что тревожит тебя так, Леон? Ведь я вижу,— улыбнулся Николай.— Зачем ты хочешь скрыть от меня свою тревогу? Скажи мне, поведай все! Ведь и я могу тебе на что-нибудь пригодиться!

В эту минуту в дверь постучались, и, когда царевич приветливо откликнулся, в комнату вошел стрелец Дубнов. Он снял шапку и, истово перекрестившись на образа, поклонился в пояс царевичу.

— Здоров буде, царевич,— проговорил он,— князю низайший! — отвесил он поклон Джавахову.

— Ну что, ну что, готово? — торопливо спросил его Леон, не обращая внимания на царевича, глаза которого загорелись как два угля от любопытства.

— Готово, все готово,— весело ответил Дубнов.— И оборудуем же мы с тобой, князь, это дельце — черти и те обрадуются!

— А дождь-то, дождь не помешает?

— Какое мешает, нам на руку гроза! Чем темнее, тем нам и сподручнее. А что, княжна-то согласилась? — понизив голос, спросил стрелец.

Грузин молча опустил на грудь голову.

— Эх, дела-то! — почесав за ухом, проговорил Дубнов. — Ну, да это ничего! Не кручинься, князь; пожалуй, оно и лучше, а то в последний час заартачилась бы и всему делу помеху сотворила бы. Теперь, значит, как выйдет она к тебе к частоколу-то, я с Еремкой и хватать-похватать ее! Эх, жаль, не захватил еще молодца! Справимся ли втроем?..

— Возьмите меня! — вытянулся во весь свой тонкий, гибкий стан юный царевич.

Леон и стрелец испуганно переглянулись; они совсем забыли о присутствии молодого человека, жаждавшего приключений и понявшего, что они отправляются на рискованное предприятие — похищение девушки.

— Что ты, что ты, царевич! — остановил его Леон. — Забудь о том, что ты сейчас здесь слышал.

— Возьмите меня! — уже упрямо и настойчиво повторил мальчик, стискивая свой кинжал и сверкая глазами.

— А и впрямь, возьмем молодца, — заступился за юношу Дубнов, — чем он нам несподручен? Чем не товарищ? Смел он и ловок, да и годами уже вышел...

— Нельзя, нельзя этого, — решительно произнес Леон.

— Если ты не возьмешь меня, то не выйдешь отсюда! — еще решительнее проговорил царевич и выхватил кинжал из ножен.

— Ты с ума сошел, что ли? — крикнул Леон.

— Стой! — остановил его Дубнов. — Аль ты сам ума решился? Спор затеяли, а время идет; княжна подождет, подождет да и уйдет! Такого другого вечера и не отыщешь: все готово, а ты спор затеял! Идем, царевич, бери свою шапку — и гайда!

— Да не может он, не смею я его в такое дело с собой взять! — в отчаянии воскликнул Леон.

— Я сам за себя отвечу, — гордо произнес царственный юноша, — тебе нечего будет бояться.

— А царевна, твоя мать?

— Да не слушай ты его, — прикрикнул на Леона стрелец, — малый скоро вернется, и никто в доме знать не будет, что он нам подсоблял... Ну, ребята, в дорогу!

Все трое вышли наконец из комнаты. Леон успел по дороге накинуть на плечи себе и царевичу черные бурки, за что Дубнов похвалил его.

— Все не так видно будет, — заметил он.

На улице была темень; гроза разыгрывалась все сильнее, свинцовые тучи нависли над городом, и только молния освещала дорогу заговорщикам и давала им возможность не сбиться с пути.

— Должно быть, никого не встретим у изгороди,— проговорил Дубнов,— ишь, как дождь хлещет!

— Что ж тогда делать? — взволнованно спросил Леон.

— Возьмем! Гикнем по-соловьиному... знаешь, как у нас на Руси Соловей-разбойник гикал?

— Слышал что-то,— рассеянно ответил Леон, внимательно всматриваясь в дорогу, чтобы не свалиться в овраг.— Боюсь, как бы гиканьем таким не испугать всего терема.

Трое молодых людей прошли до дома князя Пронского и завернули за угол, пробираясь к запущенному углу сада, где у тына часто встречались Леон с Ольгой.

Дом Пронского был ярко освещен, и в нем были заметны какое-то необычайное оживление и суeta. Слуги бегали взад и вперед, слышались крик и сдержанный смех; к воротам подъезжали то в рыдванах, то в розвальнях, то на конях.

— Смотри-ка,— указал Дубнов на женскую половину терема,— что-то бабы будто всколыхнулись — словно пчелы в пчельнике... Неспроста, поди! Уж не скончалась ли, грехом, княгиня? Надо узнать. Постой-ка, пойду посмотрю, ждет ли с рыдваном Еремка наш,— озабоченно проговорил стрелец,— я сбегая за угол, а вы спрячьтесь пока под липой. Княжна, поди, не ждет тебя? — кинул он Леону.

— Если бы ничего не приключилось, может, вышла бы,— печально ответил Леон.

— погоди, все узнаем,— проговорил Дубнов и, юркнув в сторону, исчез во мраке.

Леон и царевич встали под густую липу, куда дождь совершенно не проникал через листву, так что они могли простоять некоторое время под этой надежной защитой.

Стрелец скоро вернулся с известием, что рыдван с Еремкой стоит в укромном месте.

— Теперь ты, князь, сходи к тому месту, где встречался с княжной,— проговорил Дубнов,— может, она девку какую-нибудь выслала к тебе, если сама не смогла выйти.

Леон послушно прошел к заветному тыну, где с княжной коротал душистые весенние ночи, и взглянул на высокую,

стройную яблоню, молчаливую свидетельницу их минувшего счастья. Под ее ветвями теперь никого не было видно, возле ее ствола не белело ничье светлое платье, и кругом было неуютно и уныло в эту ненастную ночь. Леон грустно поник головой.

Вдруг в кустах что-то зашуршало, и Леон уловил ухом чьи-то крадущиеся, робкие шаги. Он встрепенулся и стал вглядываться в темноту.

Кто-то тихо-тихо кашлянул. Молодой грузин чуть слышно ответил таким же кашлем и осторожно прошептал:

— Княжна!

Тогда возле него словно из-под земли вынырнула закутанная женская фигура и схватила его за руку. Не видя в темноте ее лица, спрятанного под суконный охабень, накинутый на голову, Джавахов охватил женщину руками и прижал к своей груди.

— Пусти, пусти! — раздался из-под охабня заглушенный, незнакомый ему голос, полуиспуганный, полусмеющийся. — Вот скажу княжне, что девок обнимаешь.

— Кто ты? — отшатнувшись, произнес Леон.

— Не бойся! Меня княжна прислала...

— А она!.. Что с нею? Она здорова? Почему не пришла, не погода помешала?

— Здорова она, да... беда у нас, князь, беда!

— Что же приключилось? — заторопил девушку Леон.

— Вишь, князь Борис Алексеевич спервоначалу дал княжне согласие с тобой обвенчаться... Ну, наша княжна малиновкой запела, да, видно, горе уж ее такое, судьба ее злосчастная — приехала боярыня Хитрово, о чем-то покалякала с князем, и вышел приказ...

Девушка остановилась, видимо, будучи не в силах нанести удар, который, она знала, разобьет сердце юноши.

— Говори же, говори, не томи ты меня! — простонал Леон.

— Княжну сейчас обвенчают с Черкасским, — быстро выговорила девушка и вздрогнула от страшного крика, вырвавшегося из груди несчастного. — Тише, или ты очумел? Смерти моей хочешь? — остановила она его.

Но дождь и ветер относили звуки их голосов в противоположную сторону от дома, и никто не слышал безумного крика отчаяния и разбитых надежд, кроме терпеливо ожидавших под липой стрельца и молодого царевича, и они с быстротою молнии кинулись на этот крик.

— Княжна прислала меня сказать тебе, князь, чтобы ты забыл ее; видно, такова воля Божья. Прости ее, князь! — И девушка, низко поклонившись Леону, двинулась было идти.

Леон стоял как заколдованный, не шевелясь и не произнося ни одного слова; казалось, он не слышал последних слов посланной и бессмысленно смотрел ей в лицо, едва белевшее в ночной темноте.

— Или ничего и не скажешь? — спросила девушка, не поняв его молчания. — Осерчал, что ли? Что ж, княжна не виновата! Ай! — вдруг взвизгнула девушка и от перепуга присела на землю, прикрывшись охабнем.

Возле Леона появились Дубнов и царевич Николай.

— Что случилось, князь, ты не своим голосом крикнул? — спросил Дубнов.

— Да он один! Леон, да отвечай же! — тронул грузина царевич.

Леон очнулся и схватился за голову.

— Кончено, все кончено! — глухо, прерывающимся голосом произнес он.

— Кто тут ворошится? — спросил Дубнов, поднимая охабень. — Никак, по голосу Машутка?

— А хотя бы и Машутка, тебе-то что за дело? — задорно ответила девушка. — Пусти! Не время мне с тобой бобы разводить.

— Куда так спешишь? — Дубнов крепко держал ее за рукав охабня. — Подождешь!

— Пусти ее, Пров! — грустно произнес Леон. — Зачем она нам? Все кончено. Княжна сегодня венчается с Черкасским.

— Не может того быть! — проговорил пораженный стрелец и выпустил рукав девушки.

Она быстро шмыгнула от него в сторону и исчезла в кустах.

— Так я скажу боярышне, — раздался из-за кустов ее шепот, — что ты ей счастья желаешь...

— Скажи, — ответил Леон, — скажи, чтобы завтра она выглянула из оконца терема.

— Что ж она увидит? — с любопытством спросила девушка.

— Мы клялись вместе умереть... Если она свою клятву нарушила, я ее не нарушу! — страстно произнес Леон.

— Царевич, — тихо шепнул стрелец Николаю, с любопытством следившему за всей этой сценой, — теперь нам пора и за дело браться, потому что наш молодец совсем голову потерял...

Эй, слушай, Машутка, погоди маленько!.. Стрекача-то всегда успеешь задать.

— Сам знаешь, свадебное дело спешное... Да что надо-то?

— А вот что! Скажи ты княжне: если она сей же час не выйдет сюда, беда приключится!

— Да ты никак ума лишился? — взволнованно проговорила девушка. — Невесту к венцу обряжают, а она к милому дружку выбежит... да в такую непогодь!

— Твое дело пойти сказать. Если княжна не выйдет в чем есть, мы в терем сами придем и срам всему дому княжескому учиним. Беги-ка, девка, да скажи, что велят.

Девушка юркнула в кусты и мгновенно исчезла во тьме.

Молодые люди остались одни; ветер крепчал, дождь лил бесконечно, и эта ночь показалась удрученному горем князю последней ночью его жизни.

Между тем на женской половине княжеского дома шла невообразимая суетня. Девушки, женщины, мамушки и нянюшки метались по горницам, сновали взад и вперед без нужды и толка, видимо совершенно потеряв голову.

В высокой светелке сидела княжна Ольга, покорно позволив двум почтенным боярыням обряжать себя к венцу. Белый атласный сарафан, унизанный жемчугом, еще сильнее оттенял ужасающую бледность ее худенького личика; глаза потускнели и, окруженные теперь синими кругами, глядели перед собой бессмысленно, тупо, как бы не различая предметов.

— Что же, девушки, песен не поете? Сейчас косу девичью убирать будем, — обратилась одна из боярынь к молча толпившимся у притолоки сенным девушкам.

— Какие тут песни? — ворчливо произнесла мамушка, горячо любившая княжну. — Небось не по воле под венец-то голубонька наша идет. До песен ли тут!

— Что ж, матушка, — глубоко вздохнув, произнесла вторая боярыня, ловко пряча густые косы княжны под дорогой кокошник. — И все мы неволей под венец-то шли, а песни все же девки всем нам пели. Затягивайте-ка, девушки! Таков уж наш обычай. Нельзя без обычая, никак нельзя.

Девушки вяло и нерешительно затянули:

Не сырой дуб к земле клонится,
Не листочки расстилаются,
Расстилается дочка пред батюшкой...

— Эка, что затеяли! — остановила певиц боярыня. — Разве это свадебная песня? Веселое спойте, залихватское!

— Ой, боярыня, на душе-то у нас невесело, ну и песни веселые на ум не идут, — проговорила одна из девушек.

— Невеста-то, невеста... краше в гроб кладут! — жалостно произнесла другая.

— Ну, вот и готова красавица наша! — радостно перебила первая боярыня, охорашивая Ольгу. — Давайте фату-то!

Ей подали тонкую, прозрачную индийскую кисею, боярыня накинула ее на невесту поверх кокошника, и фата, закрыв ей лицо, спустилась до пола мягкими складками.

— Ну, встань-ка, Олюша! Помогите, девки!

Две девушки подняли под локти княжну со скамьи, на которой она все время безмолвно просидела, и поставили на пол, словно куклу. Но Ольга ничего не слышала и не видела.

— Олюша, надо бы пред образом помолиться! — предложила мамушка, у которой из глаз неудержимо текли слезы. — Помолись, дитятко, авось полегчает тебе, на душеньке твоей покойнее станет.

Но Ольга и этого увещания не слыхала; ее пришлось насильно опустить на колени и прочесть над ней молитву.

Когда ее подняли с колен, в светелку прибежала Машутка и стала что-то шептать девушкам. С ее темного охабня ручьями текла вода; волосы были мокрые, и она что-то торопливо и озабоченно говорила.

— Да нельзя, слышь ты, непутевая! — сказала ей нянюшка Панкратьевна. — Что за разговоры с боярышней? Смотри, ты мокрая совсем, неравно замараешь венчальный-то наряд...

— Не замараю, Панкратьевна, ей-богу, не замараю! — молила Машутка. — Не замараю... Дело до княжны!..

— Да нельзя тебе говорить, вишь, она молится. Откуда тебя черти принесли?

— Боярышня! — вдруг отчаянно выкрикнула Машутка. — Дозволь Машутке слово молвить.

Ольга вздрогнула, откинула вуаль, широко открыла глаза и, слабо вскрикнув, рванулась к пришедшей девушке.

— Что, что? Жив? Говори! — хватая Машутку за мокрый рукав, задыхаясь, шептала княжна.

— Постой, нельзя, услышат! — пугливо шепнула Машутка и, отведя немного в сторону Ольгу, проговорила: — Велел ска-

затъ, если ты не выйдешь тот же час проститься, войдет он в терем и позор учинит князю-батюшке твоему, а жениха убьет. «Пусть,— говорит,— потом меня лютой казнью казнят, а то исполню, что сказал».

Ольга, слабо простонав, закрыла лицо руками. Все сейчас же обступили их с любопытными вопросами. Но Ольга, собрав все свои силы, постаралась улыбнуться.

— Ничего, боярыни-голубушки, ничего, мамушка,— едва слышно проговорила она,— Машутка ходила по моему указу... Ну и... и весть мне одну принесла.

Ольга видимо путалась, не зная, что сказать.

Ее невольно выручила одна из боярынь. Лукаво улыбнувшись и погрозив девушке пальцем, она спросила:

— Небось к ворожее посылала узнать-проведать про судьбу-то свою?

Ольга радостно схватилась за эту мысль:

— Да, да... к ворожее посылала!

— Ну и что ж, что ж она сказала? — спросили все со жгучим любопытством.

В это время вбежала еще одна девушка с вестью, что приехала боярыня Хитрово с подарками от царя и что князь торопит княжну выйти: жених, мол, уже в церкви и с нетерпением ждет свою невесту.

Все засуетились и заметались из стороны в сторону. Пользуясь суматохой и тем, что на минуту все забыли о княжне, Машутка шепнула ей на ухо:

— Вышли всех, скажи, что хочешь одна помолиться; потом вон той дверью выбеги в сени, я ждать тебя там буду с кафтаном... Поди простись, а то, не ровен час, он свою угрозу исполнит! На минутку выбеги, что ли!

Ольга жадно слушала ее; на ее бледных щеках чуть вспыхнул слабый румянец, но тотчас же потух.

Когда Машутка исчезла, княжна подняла голову и вдруг решительно и твердо произнесла:

— Я хотела бы на минутку одна остаться... помолиться Пресвятой Богородице, Заступнице всех скорбящих... Потом я к матушке пройду за благословением. Скажите батюшке, что скоро выйду.

Боярыня и все женщины низко поклонились ей, не найдя, что возразить, и пошли из комнаты.

Когда дверь за последней женщиной затворилась, Ольга упала на колени пред образом и страстно начала молиться; потом она вскочила и заметалась по горнице, несвязно бормоча:

— Господи, прости!.. Грешница я, великая грешница! Одним глазком взгляну, и всего... и всего только! И назад обернусь на муки вечные... Матушка, прости меня, грешницу!

— Скоро ли? — шепнула Машутка, просовывая голову в дверь, выходящую в узенькие, темные сени.— Выходи скорее, накинь платок, а вот тебе и кафтан, и матушкины коты для грязи.

Ольга машинально накинула поверх кокошника платок, завернулась в темный кафтан, надела на ноги коты, шмыгнула в сени, а затем не оглядываясь, словно опасаясь погони, обе убежали в темный сад.

Дождь перестал, но ветер с невероятной силой гнул деревья и нагонял новые и новые страшные тучи, так что небо ни на мгновение не прояснялось; обеим девушкам пришлось бежать по мокрым тропинкам, не разбирая огромных луж.

Вот они уже и у заветного тына.

Тихий, сдержанный шепот, слабый вскрик нарушил вдруг ночную тишину. Через мгновение все смолкло под большой развесистой яблоней.

III ПЕРЕПОЛОХ

В домово́й церкв́и кня́зя Пронско́го собра́лось небольшо́е общество́ пригла́шенных к венча́нию княжны́ — только́ родственники́ Пронско́го да Черкасско́го.

Сам жених, в дорогом кафтане с сердоликовыми и изумрудными пуговицами, унизанном жемчугами и обшитом золотыми кружевами и такой же бахромой с кистями, стоял, усиленно пыхтя и тяжело отдуваясь от волнения, одышки и грузного наряда.

Парчовые сапожки, шитые драгоценными камнями, жали ему ноги, тяжелая «горлатка», или «душчатая» шапка, стесняла ему голову, но до венчания снять ее не полагалось. Этот странный головной убор, который иностранцы называли «башней», был знаком отличия: он считался принадлежностью од-

них царей и думцев. Лишь при особом торжестве, каковым считалась свадьба, дозволялось являться в этом уборе именитым дворянам и князьям. В горлатке стояли в церквях и сидели на званых обедах. Дома же она красовалась на виду, напыленная на расписной «болванец».

Князь Черкасский особенно гордился своей горлаткой, потому что она указывала на его большой чин и была очень дорогой благодаря огромному яхонту чистейшей воды, вделанному в «запону», красовавшуюся посреди шапки и переливавшуюся множеством багровых огней. Григорий Сенкулеевич знал, что его яхонт «почитай что» единственный на всей Руси, если не считать такового на царевом скипетре, а потому очень гордился и хвастался своей горлаткой.

Пронский, тоже разодетый богато, мрачно шагал по церкви, переходя от будущего своего зятя к боярыне Хитрово, которая была посаженной матерью.

Елена Дмитриевна, вопреки своему обыкновению, была одета не по-свадебному, в простом парчовом сарафане своего излюбленного небесно-голубого цвета; она нетерпеливо поводи-ла плечами и хмурила брови от гнева, что не все идет с такой быстротой, какой она желала. Ее лицо было чрезвычайно бледно, а выхоленные руки мяли парадную шелковую ширинку, украшенную узорами и дорогими кистями на уголках.

— Да скоро ли княжна выйдет? — нетерпеливо спросила она подошедшего к ней Пронского, который, видимо, и сам был очень встревожен.

— Сам не знаю, что приключилось, — ответил он, — вот и боярыни, что снаряжали ее, собрались, а ее все нет. Богу, вишь, молится.

— Что-то долго как? — насмешливо протянула Хитрово. — Чудится мне, хитришь ты со мною.

Пронского и самого начали одолевать сомнения. Долгое отсутствие дочери было странно и необъяснимо. Он сам видел ее почти готовой; после этого прошло уже много времени, а ее все нет как нет.

Все с великим недоумением переглядывались и начали бес-покойно перешептываться.

Черкасский снял наконец свою горлатку и, вытирая вспо-тевший лоб, морщась от боли в ногах и висках, подошел к Пронскому.

— Что ж это, издевку чинит надо мною твоя дочь али как? Чай, истомились мы все, ее дожидаясь. Пошли-ка проведать...

— Посылал, сказали — сейчас будет, — неуверенно ответил Пронский.

— Что-то виляешь, князь, ровно пес хвостом? — подозрительно проговорил жених.

Пронский нахмурился — Черкасский никогда еще не говорил с ним в таком непозволительном тоне.

К ним подошла Елена Дмитриевна и подлила еще масла в огонь.

— Будто свадьбе-то и не бывать? — насмешливо проговорила она, усмехаясь одним ртом, в то время как ее глаза, злобно сверкая, устремились на злополучного отца невесты.

— Вздор брешешь! — вздрогнув, ответил Пронский.

— Мне сказывала о том гадалка Марфуша! — многозначительно проговорила Елена Дмитриевна.

— Чего ты хочешь, чего ты хочешь от меня, сказывай? — схватив ее за кашемировый рукав дорогого опашня, спросил выведенный из терпения Пронский.

— Невесту посмотреть хочу, — решительно сказала Хитрово. Черкасский, ничего не понимая, смотрел на обоих.

— А если обманешь? Если я напрасно девичий век загублю и ты мне колдунью не отдашь? — приближая свое лицо к уху Елены Дмитриевны, тихо спросил Пронский.

— Отлыниваешь? — ответила она. — Обвенчай дочь — и возьми себе колдунью.

— А если Ольга... — теряясь, шепнул князь.

— Сбежала? — помогла ему боярыня.

— Нет, не сбежала она.

— А что же тогда? — встревоженно спросила Хитрово.

— Руки на себя наложит, вот что! Тогда как?

— Ну, князь, меня на это не подденешь! — злобно рассмеялась боярыня. — Посылай-ка за невестой... Виданное ли это дело, чтобы девка перед венцом руки на себя наложила...

— Пора, князь! — вдруг раздалось несколько голосов приглашенных родственников, потерявших терпение...

Пронский вышел из церкви и послал одну из мамушек за Ольгой.

Мамушка заковыляла на женскую половину, где уже в свою очередь сильно волновалась вся дворня, изумленная, что боярышня так долго не выходит из своей опочивальни.



— Войти бы! — проговорила одна девушка.
— Да дверь, вишь, заперта, — возразила другая.
— Ой, не к добру это, не к добру это! — покачала головой старая нянюшка. — Недаром сегодня собака на дворе выла.
— Да будет тебе, ворона! — огрызались девушки. — Что не к добру-то?

— Постучись-ка, девоньки! — распорядилась нянюшка.
Девушки кинулись к дверям и сперва робко, потом все смелее стали стучать в них. Скоро они пугливо начали жаться одна к другой, в самом деле предчувствуя приближение беды.

— Горох-от я сегодня просыпала, — зашамкала мамушка Анфиса, — вот оно к слезам и вышло.

— А я во сне малину чистила, — проговорила одна из девушек, — сидим мы это будто, девоньки, у себя за столом, в девичьей, стол накрыт белой-белой скатертью, а в лукошках поставлено малины видимо-невидимо! Скатерть-то белая беспрменно к покойнику!..

— А малина — к порке, — смеясь, проговорила девушка и спряталась за спину подруги, когда костыль старухи погрозил ей.

— А и впрямь, девоньки, плохо нам будет, если что с боярышней приключится.

— Чему приключиться-то? Понаприте-ка лучше на дверь, — предложила степенного вида женщина, ключница князя Пронского, Анна Маркеловна.

В стороне от суетящихся девушек, встревоженных мамушек и нянюшек стояла высокая женщина в шугае и в платке на голове. Ее пытливые глаза встревоженно перебегали с лица на лицо и еще тревожнее останавливались на дверях, ведущих в горницу княжны.

В это время прибежала запыхавшаяся мамушка и, расталкивая толпу, кинулась к дверям.

— Боярышня, открой! — крикнула она. — Князь-батюшка дюже сердчает, жених в церкви сердцем изныл.

— Кричи, кричи, а ответа-то и нет!

— У княгини-матушки были ли? — спросила мамушка.

— Спроведывали, княгиня спит... а княжна давеча у нее была.

Мамушка и Анна Маркеловна начали неистово барабанить в дверь, но за нею ничего не было слышно.

— Что ж делать-то будем? — заволновались все, с недоумением и жестоким испугом переглядываясь.

Тогда выступила вперед женщина в платке.

Это была ключница Черкасского, Матрена Архиповна.

— Двери надо выломать, вот и весь сказ,— проговорила она.— Может, с княжною-то плохо.

Все молчали, не зная, следует ли предпринять то, что им советовали.

Дворня прибывала: гости один за другим уходили из церкви и наполняли сени перед горницей княжны. Мамушка выла, не смея вернуться без Ольги в церковь.

А между тем время все шло и шло. Гроза стихла, дождь перестал, небо прояснилось, и сквозь разорванные тучи пробивалась луна. Кое-где встрепенулись птички и, высывая из-под листочков свои головки, отряхивались, намереваясь улететь. Вот раздалась нежная трель соловья; ему откуда-то издалека завторил другой.

В церкви окончательно все смутились, когда трепещущая мамушка, заикаясь, передала Пронскому, что дверь горницы княжны твердо заложена, а сама невеста вовсе не откликается.

Борис Алексеевич стал белее снега, и его глаза сверкнули как два раскаленных угля. Он молча последовал за мамушкой.

В дверях его остановили Черкасский и Елена Дмитриевна.

— Что, моя правда? Свадьбе не бывать? Невеста с милым дружкой, поди, уже где-либо окрутилась... вокруг ракитова куста? — прошипела Хитрово на ухо Пронскому.

— Уйди, подлая, не то убью! — резко отстранил он ее от себя.

— А и впрямь, князь, кажись, мне не видать твоей Ольги Борисовны, сдается мне так,— остановил князя Черкасский.

— Живою или мертвой, а будет она твоей!.. Брешут старые... сомлела она, поди, в горнице, вот и весь сказ,— торопливо кинул ему Пронский и пошел вон из церкви.

Все, кто был в церкви, повалили вон; причт стал расходиться, священник снимал рясу. Всем стало очевидно, что свадьбе не бывать и что произошло нечто необыкновенное.

Боярыня Хитрово мяла свою дорогую ширинку в руках, сдерживая себя, чтобы не дать воли слезам. У нее все еще была слабая надежда, что невеста действительно не выдержит и наложит на себя руки. Она все время ждала, что кто-нибудь придет и принесет хотя и печальную, но для нее отрадную весть о том, что ее соперницы уже нет на свете.

— Пойдем, боярыня, и мы,— обратился к ней Черкасский.— Удружил князь старому товарищу!.. На смех всей стране выдал...

— Может, княжна-то и вправду сомлела,— неуверенно произнесла Хитрово, боясь выдать свое заветное желание.

— Что ж, пойдем всячески взглянем.

Они торопливо прошли ряд покоев и наконец очутились у опочивальни княжны, двери в которую уже были открыты; суета, крики и вопли стояли невообразимые. Пронский шагнул по комнате, неистово ругаясь и проклиная дочь.

Черкасский и Елена Дмитриевна поняли, что Ольгу в комнате не нашли, а из отрывочных речей можно было разобрать, что вместе с нею исчезла и сенная девушка Машутка.

— Бежали, бежали садом! Сторож Митюха видел! — говорила одна из мам.

— В самую что ни на есть грозу. Он их за оборотней принял, дурак!

— Как была, сердешная, в подвенечном наряде, так и бежала. Кафтан только накинула.

— И прямехонько к прудкам.

— Ан врешь, к частоколу, что у темной дыры.

— Ее тут нечистый, надо быть, и сцапал, наше место свято!

— И крикнуть, родименькая, поди, не успела...

— А врешь, крикнула! Федор, стремянный, баит, слышал: кричала, и таково жалобно.

— Слышал, слышал,— подтвердил рыжий детина.

В то время как дворня предавалась ненужным разговорам и пересудам, Черкасский и Елена Дмитриевна приставали к Пронскому, чтобы он принял энергичные меры к отысканию беглянки.

— Если она в прудках — пусть вытащат тело,— сказала Хитрово, не желавшая расстаться со своей надеждой, что ее соперница навсегда устранена с пути.

— Пошли во все стороны погоню, не успела она далеко убежать,— советовал Черкасский.

— Убью, убью я ее! — скрежеща зубами, отвечал на все эти советы Пронский.

Вдруг вся толпа заволновалась, разговоры смолкли, и все с изумлением дали дорогу трем рослым стрельцам, пробиравшимся прямо к хозяину.

— Что вам надо? — вскинулся на них Пронский. — Куда без доклада лезете?

— Времени нету, княже! — ответил ему, низко кланяясь, один из стрельцов, который был не кто иной, как сам Дубнов. — Принес тебе весть о... о дочери твоей.

— Говори, говори! — кинулись к нему Хитрово и оба князя.

— Это княгиня будет? — невинно спросил Дубнов, снимая шапку перед Хитрово и кланяясь ей в пояс, хотя отлично знал красавицу боярыню.

— Ты знаешь, где княжна? — трясся его за рукав кафтана, спросил Пронский.

— Я весть тебе принес о ней... только ты дай мне слово, что не причинишь ни мне, ни товарищам никакой обиды, — тогда скажу.

— Даю слово свое княжеское! — крикнул Пронский.

— И он пусть даст! — кивнул стрелец на Черкасского.

— Чего еще задумал! Нешто я хозяин? — хмуро ответил Черкасский, пристально вглядываясь в стрельца. — Кабы я был хозяином, давно бы тебя велел собаками затравить. Что-то мне твое обличье знакомо.

— Вспомни, князь! — засмеялся стрелец.

— Будет зря болтать! — раздалось со всех сторон. — Говори, что знаешь о боярышне?

— Ты вытащил княжну из... Москвы-реки? — глухим голосом, мрачно глядя на стрельца, спросила Елена Дмитриевна. — Что ж, жива она?

— Эка чего вздумала! — рассмеялся Дубнов. — Вестимо, жива княгиня!

— Я не княгиня! — сверкнув глазами, крикнула Хитрово. — Иль не знаешь меня?

— Не о тебе и речь идет, боярыня.

— Кого ж княгиней ты назвал? Ведь княжна Ольга с князем Черкасским еще не повенчаны?

— Говори, что знаешь ты о княжне? — угрожливо спросил Пронский.

— Княжны нет более...

Невольный крик торжества вырвался из груди боярыни, но она, желая скрыть смущение, закрыла лицо руками.

— Не торопись, боярыня... печалиться, — насмешливо произнес Дубнов, — нет более княжны Ольги Борисовны Пронской,

а зато есть княгиня Джавахова, час тому назад повенчанная с князем Леоном Джаваховым.

Елена Дмитриевна с широко раскрытыми глазами кинулась к Дубнову и, схватив его за ворот рубахи, неистово начала трясти его.

— Ты лжешь, ты лжешь! — хрипло вылетало из ее перекошенного рта. — Вор, разбойник!

— Пусти, боярыня! — отбивался от рассвирепевшей женщины Дубнов. — Ворот весь изорвешь.

Пронский стоял словно громом пораженный, не будучи в силах произнести ни слова. Это известие сразило его и утишило тот гнев, который до сих пор бушевал в его груди. Он знал, что оскорбленная и взбешенная боярыня Хитрово не пощадит его и что он уже погиб. К чему же было дольше волноваться или возмущаться? Час расплаты за все сделанное им настал, неизбежно настал, и дольше бороться было бесполезно и глупо.

Дубнову удалось вырваться из цепких рук боярыни; он подошел к Черкасскому и проговорил:

— Что, князь, иль вправду не признал? Давно это было: лошадь твою я по морде звезданул, помнишь? Да вот тот самый князь Джавахов, твой противник, что невесту твою у тебя из-под носа слизнул, он-то тебя славным боем тогда попотчевал...

— Так это вы вдвоем опять?.. — прохрипел Черкасский, и его безобразное лицо налилось кровью.

— Да, это мы опять маленьчко пощекотали твою княжью гордыню.

— Я убью твоего князя, заморыша! — прорычал Черкасский.

— Руки коротки! И то твоего дворового одного сцапали... Отраву на князя Леопа, по наущению твоей домоправительницы, подсыпать хотел.

Пока Дубнов с Черкасским спорили, Елена Дмитриевна уже пришла в себя. Злоба и бешенство неудержимой волной kloкoтали в ней, но теперь она уже владела собой и, подойдя к Пронскому, почти спокойно проговорила:

— Ну, князь, удружил! А я-то, дура, и поверила тебе, будто ты и впрямь ничего не знал.

— Богом клянусь! — апатично возразил Пронский.

— Не клянись, князь, все равно тебе не поверю! — улыбнулась страшная женщина. — Ну а теперь жди расплаты за все прошлое да и настоящее.

— Сколько в тебе злобы-то! — грустно произнес Пронский. Елена Дмитриевна с изумлением окинула его взглядом.

— Поди, ты незлобен? — усмехнулась она.

— Был, боярыня, был, до сей самой минуты была полна душа моя всякой мерзостью злобы, а теперь просветлел.

— Посмотрю-ка я, как на дыбе ты заговоришь! — насмешливо сказала Елена и повернулась, чтобы выйти из комнаты, но вдруг, пораженная, отступила.

Совсем близко возле нее стояла до невероятия худая, изможденная фигура женщины в строгом черном, почти монашеском одеянии. Желтое, как воск, лицо с большими впалыми глазами было похоже на лицо мертвеца, и каждый чувствовал жуть, глядя на него.

— Что, погубила-таки Олюшу? — еле слышным голосом спросила она Елену Дмитриевну. — Мало было тебе, что мужа отняла и погубила, дочь моя тебе понадобилась? Что ты с ней сделала? На какой грех толкнула его? — кивнула она головой на Пронского. — У, блудница лукавая, доколе будет носить тебя земля?

— Что тебе надо? — прошептала Елена Дмитриевна, теряясь под ее мутным взглядом. — Пусти, пусти меня!

— С Олюшей что сделала? — остановила ее за плечо костлявой рукой княгиня.

— Ничего, замуж вышла твоя Олюша! — злобно ответила Елена Дмитриевна.

— Выдала-таки! — грустно покачала головой больная. — Где же горемычная невеста? А я ее на другое благословляла. Обманули меня... Князь сказывал, что Черкасскому отказал, а теперь я узнала, что тайком от меня с этим извергом мою голубку обвенчали... Все ты, все ты, боярыня! Умру я скоро, но и ты умрешь когда-нибудь, и дашь ты мне на том свете, пред Господом, ответ за загубленную душу Олюшки. Боже мой, худо мне! — произнесла больная, шатаясь. — Дайте на Олюшу взглянуть... благословить ее, родную, на ее тяжелую жизнь...

— Ольга убежала! — кинула Елена Дмитриевна в лицо больной. — Со своим любовником!

— Лжешь ты, лжешь! — падая на руки приближенных, прохрипела княгиня. — Ой, плохо мне... умираю!

Она задыхалась, на ее губах показалась алая пена, глаза становились все мутнее, руки судорожно хватали воздух.

— Облыжно все! Все облыжно боярыня на Ольгу Борисовну сказала,— выступил вперед Дубнов.— Не с полюбовником она сбежала, а с суженым и честно с ним повенчалася, а на это сам князь дал вчера свое отчее согласие, да неведомо, почему сегодня венчать с другим ее похотели. А тебе, боярыня, не стыдно облыжно нести на честную девицу?..— обернулся он к Хитрово.

— Молчи, холоп! — сверкая глазами, проговорила Елена Дмитриевна.— Попомните вы меня все! Прощай, князь! — кивнула она понуро сидевшему Пронскому.— В застенке навещу тебя!

Она вышла из дома, оставив за собой всеобщий ужас и смятение.

Княгиня Пронская умирала. Услыхав, что ее дочь повенчана с любимым человеком, она заочно благословила ее и простила ей ее бегство.

— Не хотела княжна против воли родителей идти,— сказал Дубнов,— мы силком ее увезли и почти насильно повенчали: слезами горючими заливалася, сердечная.

— Скажи... скажи, что я простила и благословила ее; пусть живет... живет с миром, с Господом! Борис, поди сюда! — подзывала княгиня Пронская мужа.

Тот поднялся и подошел к жене. Вид у него был беспомощный, вялый, равнодушный.

В первый раз в жизни супруги поменялись ролями, и эта слабая, вечно покорная жена теперь властно, как равная с равным, говорила со своим когда-то грозным мужем. Теперь, стоя пред лицом смерти, она не боялась своего властелина и хотела только одного — полного примирения с ним.

— Князь,— начала она коснеющим языком,— князь, прости Ольгу, непременно прости! Перемени жизнь, брось разгул... Кинься царю в ноги, покайся в своих грехах: он милостив, простит! Иди в ратники — на поле битвы искупи свои прегрешения, кровью своей искупи свою жизнь буйную, нечестивую... и Бог тебе простит! Покайся, князь... и Ольгу, Ольгу благослови, прости ее, как я тебе все простила! Любила я тебя! За все муки, за все издевательства твои любила тебя, а теперь вот умираю, Бог авось и меня простит, грешную... прощай, молись за меня! Ольги... Ольги не оставь!

Ее потухающие глаза с надеждой и мольбой остановились на лице Пронского; она через силу положила свою руку на его

склоненную голову; ее губы что-то еще пытались прошептать, но вдруг сильная судорога пробежала по всему телу, раза два оно скорчилось, дрогнуло — глаза сомкнулись навеки, и княгини Пронской не стало.

IV

ПРИЕЗД ЦАРЯ ТЕЙМУРАЗА

В первых числах июля 1658 года у царя Алексея Михайловича был назначен прием шведских послов и грузинского царя Теймураза. Последний приехал в Москву недавно и с нетерпением ожидал аудиенции у царя.

После встречи с внуком, невесткой и другими грузинами, познакомившись с их печальными рассказами о неуспехе их посольства, старик созвал совет, состоявший из царевны Елены, Джавахова-старшего, Орбелиани и других более знатных представителей Грузии, оказавшихся здесь налицо. Старый царь, много переживший и много перестрадавший, но все еще бодро несший на плечах свои шестьдесят пять лет, с грустью присматривался к своим подданным.

— Переменились, переменились, дети мои! — говорил старик, покачивая головой с седыми выющимися волосами, обрамлявшими его сухощавое, желтое, как старый пергамент, лицо. — Я-то много постарел в эти годы, но я много и пережил, много переиспытал горестного. Сколько раз мое сердце чуть не переставало биться от нестерпимых страданий при виде гибели моего народа... Сколько рушилось надежд на возвышение моей дорогой Грузии! А вы отчего поседели, товарищи? Отчего ваши взгляды потуплены, отчего не горят глаза удалью? Что сокрушило вашу отвагу? Не узнаю я неукротимых сынов моей родины! А ты, Елена, отчего так бледна и все вздрагиваешь и пугливо озираешься? Николай вырос, возмужал, но та же тревога светится в его глазах... Подойди ко мне, дитя! — Царевич, потупившись, подошел к деду. — Я не вижу здорового румянца на твоих щеках, — озабоченно произнес Теймураз, — нет достаточной силы и в твоих мышцах.

— Где же ему было практиковаться в силе и отваге? — заговорил Орбелиани. — Здесь нет ему сверстников, а русские юноши только на кулачках дерутся.

— Вы должны были с ним заниматься; молодых грузин немало в свите царевны. А что же Леон Джавахов смотрел?

Царевич заметно вздрогнул в сильных руках деда и пугливо посмотрел на мать. Елена Леонтьевна стояла не шевелясь, и только вздрагивание ее ресниц говорило о скрытом волнении.

— Мальчик вздрагивает, как девушка,— сердито произнес Теймураз,— что вы из него сделали?

— Пусти меня, дедушка! — нетерпеливо проговорил царевич Николай.— Ты очень ошибаешься; я вовсе не девушка и кинжалом умею владеть не хуже любого воина-грузина.

Старик одобрительно закивал головой:

— Вижу, вижу, не все еще потерял мой мальчик под этим тяжелым небом; кровь — горячая, наша кровь, говорит еще в нем! Ну а теперь поговорим и о делах государственных. Что сделали вы в эти четыре года, проведенные в Москве? Подвинули ли наше родное дело?

Все молчали, сидя на тахтах с опущенными глазами.

Теймураз насупил свои седые брови:

— Неужели я напрасно послал сюда самых храбрых и самых умных своих грузин? Неужели и они оказались недостойными моего к ним доверия? Я слышал, будто здесь больше пьют и едят, чем делами занимаются, но думал, что мои товарищи по славным битвам не дадут себя опоить и окормить, что все они до последнего вздоха будут ратовать за свою дорогую Грузию.

Старик, охваченный волнением, замолк, и слезы сверкнули в его глазах.

— Постой, царь, не кори нас! — вставая, произнес Джавахов.— Ты сам нашел, что мы поседели и глаза наши потухли; это правда; мы не привыкли сидеть без дела, как здешние бояре, ходить только друг к другу в гости да бражничать; но мы должны были завести с ними сношения и волей-неволей вести их образ жизни. Ты не знаешь здешних людей, здешних бояр: множество из них — алчные, разгульные люди. Они тебе все наобещают и ничего не исполняют... Большое терпение нужно наблюдать с ними. Вот мы все и ждали исполнения их обещаний. Мы долго крепились, не верили, что только подкупам можно подвинуть наше дело, но наконец решились. Дали дар самому близкому к царю человеку, боярину Милославскому, да кое-кому из стряпчих и бояр, которые могли бы походатайствовать у царя, и вот теперь... Взгляни на царевну, она давно продала все свои украшения; у всех нас ничего, кроме кинжалов, не

осталось: все ценное продали или заложили жидовинам здешним, а дело наше все стоит в том же самом положении, как было тогда, когда мы сюда приехали. Теперь суди нас!

Теймураз уныло повесил голову.

— Так зачем же я приехал сюда? — спросил он. — А я ехал в надежде... радужные мечты толпились в моей старой голове.

— Может быть, тебе скорее удастся склонить царя на нашу сторону, — проговорил Орбелиани. — Очень добрый, благожелательный и мудрый здесь царь. Бояре вот только плохи. Пользуются его безмерной добротой, его широким сердцем, но для себя, а не для дел государственных.

— Где уж мне!.. Стар я, не речист, — вздохнул Теймураз. — А ты, Елена, — обратился он к невестке, — неужели ты не могла поратовать за свою родину, не могла войти в доверие к царице, повлиять на нее? Ты так умна, так приветлива! Посылая тебя сюда во главе своего посольства, я сильно рассчитывал на тебя. Женщины часто более могущественны, нежели самые умные мужчины.

— Царевна горда, — осторожно заметил старый грузин с ястребиным носом и длинными усами. — А здесь любят покладистых да повадливых.

Теймураз нахмурил свои седые брови:

— Будущей грузинской царице не следует быть покладистой и повадливой, да еще с чужими людьми. Я не на снисходительность ее намекал, а думал, что она своим умом и обходительностью царице понравится.

На губах Елены Леонтьевны мелькнула горькая усмешка, когда она тихо возразила Теймуразу:

— Не очень-то часто я видала царицу. Всего один раз перекинулась с нею двумя словами да в другой раз видела ее в церкви, издали. Вот и все мое общение с царицей. Какое же тут могло быть влияние?

— Отчего же ты так редко виделась с нею?

— Не допускали меня до свидания с нею.

— Отчего же, отчего? Разве ты ниже ее по крови? Она, говорят, не царского рода, а ведь ты из рода Багратидов.

— Здесь женщины живут очень замкнуто, и доступ к ним труден, а к царице особенно.

— Царевна могла бы сойтись с царской любимицей, боярыней Хитрово, — опять вмешался грузин с ястребиным носом, — но царевна явно относилась к ней враждебно и этим закрыла себе ход к царице.

Бледные щеки Елены Леонтьевны вспыхнули, и она кинула на старика сверкающий взгляд, но ничего не возразила ему, вдруг удержавшись.

— Так же и к Пронскому,— продолжал поощренный этим молчанием старик.— Князь видимо заискивал в царевне, а она относилась к нему презрительно. Слишком горда царевна, в гордости своей и о родине забыла...

— Я попрошу князя Яшвили не осуждать моих действий,— надменно перебила старика царевна Елена,— я не была послана в Московию чрезвычайным послом и была свободна поступать, как мне хотелось.

— Она права, князь,— вмешался Теймураз,— мы могли бы быть ей благодарны, если бы она сумела нам посодействовать, но требовать от нее или обвинять ее мы не можем. Она женщина! Ну а относительно брака царевича Николая с одной из русских царевен говорили вы с царем?

— Царевны все вдвое старше царевича Николая! — ответила Елена Леонтьевна.— Какой же он им жених? Да, впрочем, никто об этом и не говорил... видно, это сватовство им не очень по вкусу.

— Чего же им еще надо? Кажется, Николай по крови знатней их будет!

Все промолчали на это замечание.

Сам царевич рассеянno слушал планы, касавшиеся его судьбы; он стоял у окна и, очевидно, нетерпеливо ожидал кого-то. Улучив минуту, когда дед заговорил с кем-то из старых грузин и оставил в покое Елену Леонтьевну, он тихонько подошел к матери и шепнул ей:

— Мама, мне надо сказать тебе кое-что, выйдем в ту комнату.

Царевна с изумлением посмотрела на сына, но ничего не возразила и покорно пошла за ним. Она удивлялась перемене, совершившейся с сыном в последний год. Он сильно возмужал, как физически, так и умственно, походил на вполне зрелого юношу, и она, царевна, уже давно стала прислушиваться к его речам и мнениям.

— Мама, знаешь ли, что случилось сегодня ночью? — проговорил царевич Николай, когда они вошли в небольшую комнату.— Тебя не удивляет, что все утро не видать Леона?

— Боже мой, что с ним случилось? — тревожно спросила царевна.

— Не пугайся, пока ничего худого. Он женился сегодня ночью, и я был свидетелем и дружкой его брака! — с гордостью прибавил юноша.

— Женился сегодня ночью? Но зачем же ночью?

— Да разве ты не знаешь, что он похитил свою невесту? — со сверкающими глазами проговорил Николай.

— Похитил невесту? Зачем?

— Совсем как делается у нас, — с восхищением рассказывал царевич. — Она вышла к нам... а стрелец хватить ее себе на седло; ее служанку взял другой, и мы помчались. Наши лошади стояли в стороне. Сперва княжна рвалась, плакала, потом затихла и так равнодушно, так безучастно стояла под венцом... я даже удивился.

— Постой, постой, ничего не пойму, — растерянно проговорила царевна, жестом останавливая сына, — какое похищение, какая свадьба, к чему?

— Ах, мама, да ведь Леону не позволяли жениться на его невесте; сперва ее князь-отец согласился, а потом все передумал и в эту ночь задумал тайно повенчать ее с другим... Ну а мы выкрали ее и с Леоном повенчали. Теперь меня только тревожит то, что он сюда не идет и жену с собой не ведет. Это меня тревожит, мама, очень тревожит. Как только я ушел из церкви, мне вдруг вспомнилась старая колдунья.

— Какая колдунья? Что ты говоришь, мой мальчик? — пугливо спросила его Елена Леонтьевна.

— Ну да! Мы были раз с Леоном у ворожеи; она сказала ему, что он счастья не узнает и рано умрет. Вот это предсказание вдруг вспомнилось мне, и так заныло у меня в душе! Что, мама, если исполнится это предсказание? Здесь, в Москве, люди такие коварные, и у Леона так много врагов! Оттого я и тревожусь, что он не идет долго.

— Это все пустяки: колдунья, предсказание, — проговорила царевна Елена. — А скажи мне, зачем ты всюду ходил с Леоном? Разве посещение колдуний и тайных свадеб приличествует твоему сану? Ты забываешь, Николай, что ты царевич и, может быть, скоро станешь управлять целой страной...

— Ах, мама, — перебил ее Николай, — ведь эта странная женщина сказала и мне, что я царем никогда не буду: это она прочла на моей руке.

— Замолчи, Николай, я больше не хочу слушать твою болтовню! Что скажу я дедушке Теймуразу, когда он спросит меня, как ты проводил здесь время?

— Право, мама, лучше займись Леоном, выгороди его перед отцом. Но что это за шум в кунацкой? Мне кажется, это Леон пришел... Пойдем скорее туда!

Когда они вернулись в кунацкую, там был страшный переполох. Все повскакивали с тахт и, перебивая друг друга и жестикулируя, толпились вокруг кого-то.

Елена Леонтьевна и царевич растолкали толпу и очутились лицом к лицу с Дубновым и Ольгой Пронской. Последняя сидела неподвижная, бледная как изваяние, с устремленным вдаль, ничего не выражавшим взором. Дубнов же волновался, кричал, используя жесты и мимику, стараясь толково объяснить грузинам происшедшее. Однако грузины плохо понимали его возбужденную речь.

Когда подошел царевич Николай, стрелец радостно вскрикнул и кинулся к нему:

— Царевич, вызволи хоть ты, приюти сироту!

— Что, что случилось? — спросил его юноша.

— Беда! Вороги скрутили твоего князя и неведомо куда сволокли. Нападение сделали ночью, после того как молодые спрятались в домишке, который я указал им.

— Как же так, за что же? Царские люди?

— Нет, не царские люди, а злые вороги. Я так думаю, это людишки боярыни Хитрово.

— Хитрово? Почему боярыни Хитрово? — с любопытством спросил царевич.

— Беспременно она это; да только от того не легче. Плохо молодцу, а еще хуже молодухе. Вот и привел я ее сюда, больше некуда мне ее спрятать: дома отец со света сгонит. Да и мать ее умерла этой ночью... Эх, дела, дела!

— Как ты узнал об этом? — допытывался царевич.

— Чуть свет Машутка, дворовая девка княгини, прибежала ко мне, ревмя ревет. «Смертушка наша,— говорит,— пришла, вызволяй, как знаешь... Молодого увезли, а молодуха словно ума с горя лишилась».

— Да как же они посмели? В городе-то, почти на глазах у всех? — рассердился царевич.

— А так и посмели. Пришло народу человек двадцать, скрутили князя и уволокли; до княгини не дотронулись, так, малость, кое-что уворовали. Вот к твоей милости мы и пришли, значит: спрячь до поры до времени молодую княгиню и девку ее Машутку.

— Конечно, она у нас останется, — вмешалась царевна и сказала все в нескольких словах Теймуразу и другим грузинам.

— Ну и дела вы тут делаете! — покачал головой старый царь.

— Я давно заметил, что Леон из бравого джигита в женщину превратился, — сердито махнул рукой Вахтанг Джавахов.

— Леона вы потом рассудите, а теперь позвольте мне увести ее, — проговорила Елена Леонтьевна и, осторожно взяв Ольгу за плечи, повела вон из комнаты.

Ольга послушно давала делать с собой что захотят; она не проявляла ни протеста, ни согласия; ее глаза все так же безжизненно были устремлены вдаль.

Придя в свои покои, царевна позвала к себе княжну Каркашвили и приказала ей:

— Приготовь постель и теплое питье! Жена Леона Джавахова нуждается в нашем внимании и участии.

Нина на минуту смутилась. Ее смуглые щеки покрылись ярким румянцем, но она скоро овладела своим волнением и, подойдя к Ольге, с жаром поцеловала ее холодный лоб.

— Права гостеприимства — священные права, — сказала вскользь якобы для царевны княжна Каркашвили, — в особенности в такие минуты и в таких обстоятельствах.

Молодая княгиня вздрогнула, пугливо оглянулась вокруг, и ее глаза наполнились слезами.

— Она заплакала, это хороший знак, — проговорила царевна, — я боялась ее безмолвного отчаяния.

— Что с нею случилось, царевна? — тихо спросила Нина.

— Она сегодня потеряла мужа.

— С князем Леоном несчастье? — порывисто спросила княжна, выпуская Ольгу из своих объятий.

— Этою ночью его увезли неизвестно куда, — продолжала царевна, — его жена — почти вдова, не бывши и женой его; пожалей же ее!

Нина проговорила проникновенно:

— Я буду ее другом! Ее печаль будет моей печалью, ее радость — моей радостью.

— Хорошо!.. Ты говоришь как грузинка. Теперь уложи ее спать, дай успокаивающего питья и сама посиди возле нее. А мне, верно, скоро придется дать отчет в безумном поступке Леона и позаботиться о разыскании его.

Елена Леонтьевна вернулась в кунацкую, где старый царь Теймураз, узнав, что один из его подданных неведомо куда ис-

чез, страшно взволновался и рассердился. Он сейчас же хотел ехать к царю с жалобой, но ему сказали, что царь пошел на богомолье в Троице-Сергиевский монастырь и что его в Москве теперь нет.

— Ну, так я поеду в монастырь,— кипятился Теймураз.

— Все равно тебя до царя не допустят,— урезонивали его старики.— Ведь ты царь без царства, даже без крова, и просишь у русского царя защиты, помощи и прибежища. А он могуществен и богат: тебе с ним никак теперь не равняться.

— Так,— понутив голову, возразил Теймураз,— но должен же он мне ответить за подданных моих, которых в его государстве, в его столице изменнически убивают?

— В такие дела здешний царь не вмешивается. Бояре грабят и убивают среди бела дня, но царь этого не ведает. Леон сам виноват, что не остерегся.

— Значит, здесь, по-вашему, не найти мне ни суда, ни справедливости? — грустно спросил Теймураз.

— Государь узнает — рассудит по справедливости, потому что он справедливый и богобоязненный царь. Но надо ждать случая, когда можно будет лично тебе переговорить с ним, да и то он сперва горячо примется за исследование, а потом остынет, боярам дело передаст, а позже и совсем забудет. Ну а бояре по своему усмотрению окончат, да с пристрастием за дерзость, что, мол, смели к самому царю обратиться и его покой потревожить. Так вот и наше дело!.. Не следовало нам с верхов начинать; может быть, чего-либо и добились бы, а теперь только попусту разорились вконец.

— Будешь с царем на приеме говорить, скажи ему и о нашем бедственном положении.

— Когда прием, неизвестно,— угрюмо промолвил Теймураз.— Словно я какой бесславный нищий, что меня и принять-то нельзя не в очередь!

V

ВЕСТИ МАРКОВНЫ

По всей Москве шли неумолчные толки.

Над домом боярина Пронского стряслась грозная, великая беда. В самый день свадьбы молодой княжны с князем Черкасским ее выкрали из-под самого венца, и она точно в воду кану-

ла. Княгиня Пронская от такого горя в ту же ночь скончалась, а самого князя под утро свезли в тюрьму по чьему-то извету.

И вдруг сразу опустел и осиротел большой, богатый и всей Москве известный дом князей Пронских. Дворовые притихли, приуныли. Хотя и при самом князе им не бог весть как жилось, но страх, что вот-вот они могут перейти в еще худшие руки, подавлял их окончательно.

Княгиню наскоро похоронили без обычных пышных обрядностей, и во всем доме остались только две жилые комнаты, которые занимал непритязательный, скромный князь Иван Петрович, дядя Бориса Алексеевича Пронского. Но и он находился в эту минуту с царской семьей на богомолье и ничего не знал о беде, обрушившейся так внезапно на его славный род.

В доме боярыни Хитрово тоже не все обстояло благополучно. Боярыня целыми днями лежала на кровати с «выкаченными бельмами», как выражались сенные девушки, ни с кем не говорила ни слова и почти не ела.

Время от времени к ней заходила только Марковна, сокрушенно вздыхала, крутила головой, поправляла атласные подушки и безмолвно выходила из опочивальни.

Потом приходили еще какие-то личности, после визита которых Елена Дмитриевна становилась еще мрачнее и ее глаза еще чаще затуманивались слезами; в бессильной злобе грызла она тогда тонкие наволочки своей подушки, словно порченная.

В один из таких приступов злобы в опочивальню вошла Марковна и, вздохнув, заговорила:

— Боярыня, а боярыня? Алена Митревна!.. Послушай-ка, что я тебе скажу. Важнее дело!

Елена Дмитриевна повернулась лицом к старухе и сурово взглянула на нее.

— Надоела ты мне, старая, смерть надоела! Что тебе от меня надо? — глухим, хриплым голосом проговорила Хитрово.

Никто не узнал бы недавней красавицы в этой женщине с растрепанными волосами, с блуждающими глазами на побледневшем, осунувшемся лице, с пересохшими губами, из которых вылетали тяжкие стоны и страшные проклятия.

— Говори, что надо! Или царь приехал? Скорее бы, скорее! — простонала она, заломив руки.

— Царь, сказывают, завтра будет, — поведала Марковна. — Да я не о нем, боярыня, тебе что сказать хочу, а о самой тебе, радость моя. Пожалей ты себя, дитятко мое!

— Говори прямо, к чему ведешь, без подвохов! Я ведь тебя насквозь вижу, тайшь в себе что-то.

— В народе гуторят,— начала Марковна тихо,— что будто ежели князя Пронского судить будут, так и тебя нельзя в стороне оставить; что будто ты его дела ведала, мирволила ему... из-за тебя все ему и дозволялось.

— Кто, кто смеет так говорить? — поднялась с постели, сверкая глазами, боярыня.

Старуха совсем перепугалась и невнятно продолжала:

— В корчме тут... у Ропкиной говорили, а кто, того доподлинно не упомяну.

— Не упомнишь? Должно быть, сама Ропкина?

— Ой, у нее самой беда приключилась! — оправившись, начала повествовать старуха.— Неведомо куда скрылась приемная дочка Танюшка. Сама-то Степанида Тимофеевна ревмя ревет, все мышинные норки обыскали, словно в воду девка канула...

— Ну, мне горе твоей мещанки разбирать не приходится. Сказывай, что у тебя там еще, коли начала уж говорить.

— Степаниду Тимофеевну в розыск требуют... цыганка, знать, что-либо наплела на нее. Весь дом перетормошили, да, известно, ничего не нашли. Вот, матушка, какую ты кашу заварила!.. А ежели не расхлебашь, что тогда-то? Все мы к ответу пойдем, и кто ведает, до чего еще докопаются? Марфушка-то много чего знает да все, поди, как на духу выложит. И то сказать, нас жалеть ей не приходится, а против тебя она лю-ю-тую злобу имеет...

— Не посмеет она, не посмеет, испугается! — пробормотала Елена Дмитриевна недостаточно уверенно.— Слыхала ведь, что она себя моей сестрой величала?

— Мало ли что! Бабе всякое сдуру в голову придет; так сбrehнула! Нет, на это ты, боярыня, не рассчитывай: она тебя не пожалеет. А послушайся ты моего старушьяго совета: возьми извет свой на князя Пронского назад и освободи его из тюрьмы...

— Никогда этого не будет! — страстно вскрикнула Елена Дмитриевна.— Врага своего освободить, обидчика лютого! Лучше сама на плаху лягу, но раньше потешусь над ним, погляжу, как он, голубчик мой, на дыбе напляшется. Насмеяться надо мной! Меня, как дуру, провести!..— Она скрипнула в бешенстве зубами.— Нет у меня к нему жалости!

— Да на плаху-то он пойдет не один,— грустно произнесла Марковна,— и тебя с собой возьмет.

Елена Дмитриевна отрицательно покачала головой:

— Спесив он больно, меня в свое дело не запутает.

— Ну, все едино, он ли, она ли, Марфушка, а тебе тюрьмы, видно, не миновать, если ты их не вызволишь. Пока царя нет да бояре еще не накинулись на вотчины князя, вызволить его еще можно. Ну, попугала — и довольно, вовек не забудет!

— Нет, не вступлюсь я за него,— упрямо проговорила Елена Дмитриевна.— Он счастье отнял у меня; что мне и жизнь теперь? — И, зарыдав, она снова упала на кровать.

Теплый летний вечер врывается в открытые окна терема. Комната наполнялась сладким запахом цветущей липы. Летний праздник природы совершался в саду, где все благоухало, все цвело, все тянулось к источнику тепла и света. А в опочивальне боярыни царили уныние и холодная злоба, как в сердце Елены Дмитриевны уже давно наступила студеная, слезливая осень.

Наплакавшись, боярыня встала наконец с постели и, подойдя к окну, старалась захватить в грудь побольше живительного воздуха.

— Ах, душно мне, душно! — простонала она.

В это время в дверь робко постучались; старуха Марковна поспешно кинулась к двери. Сенная девушка докладывала, что пришел человек и желает сейчас же переговорить с боярыней.

— Так зови его! — приказала боярыня, услышав их переговоры.

Старуха юркнула за дверь, а через минуту вернулась, ведя за собою закутанного человека.

— Что тебе надо? — спросила у него Елена Дмитриевна.

— С тобой, боярыня, говорить,— ответил пришедший пониженным голосом.— Вели всем выйти.

Марковна испуганно посмотрела на свою питомицу.

Незнакомец, поймав ее взгляд, проговорил:

— Не бойся, я твоей боярыне худа не сделаю!

— Марковна, выйди,— приказала Хитрово.

— Чай, от меня никаких тайн нет? — сокрушенно проговорила старая пестунья, но под строгим взглядом боярыни покорно вышла из опочивальни.

Оставшись с пришельцем одна, Елена Дмитриевна спросила его, зачем он пришел.

— Я знаю, где схоронился князь Джавахов,— проговорил он, все еще не открывая своего лица.

Елена Дмитриевна заглушила готовый вырваться крик; пошатнувшись, она схватилась рукой за стол и тяжело оперлась на него.

— С... с женой? — едва прошептала она.

— Нет, князь один,— ответил незнакомец.— Я прислан к тебе узнать, что ты дашь за свидание с князем? Он один схоронен в укромном месте,.

— О, что я дам, что я дам! — заволновалась боярыня.— Ничего не пожалею, если ты правду говоришь.

— Ну, так идем же за мной.

— А если это западня? — испугалась Хитрово.

Незнакомец вместо ответа вынул из-под кафтана знакомый боярыне кинжал князя Леона.

— Узнаешь?

— Идем! — ответила она и, не размышляя больше, накинула на себя фату и последовала за незнакомцем.

VI

В ГРАНОВИТОЙ ПАЛАТЕ

Наконец 5 июля царь Теймураз Давыдович собрался представиться русскому царю Алексею Михайловичу. Последний только что накануне приехал с богомолья, и ему сейчас же доложили, что грузинский царь с нетерпением желает предстать пред его светлые очи.

Представление было назначено на другой же день, и уже долго до назначенного часа в грузинском доме было заметно особое движение. Царь Теймураз видимо волновался. Он встал чуть только забрезжило утро, сходил в церковь, отслушал заутреню, усердно молился, клал земные поклоны и вернулся домой несколько успокоенный. За ним должен был приехать боярин Хилков, единственный из приближенных Тишайшего, хорошо говоривший по-грузински, и отвезти его во дворец.

В Кремле, около дворца, уже спозаранку толпился народ. Некоторые по делу, а кто и из любопытства, прослышав, что приехал из Туретчины какой-то диковинный царь, притащи-

лись на площадь, заполнили комнаты и передние, с нетерпением дожидаясь царского выхода.

День обещал быть жарким. Июльское солнце уже давало себя знать, порядком припекая покрытые меховыми шапками головы бояр и стольников. Все с надеждой поглядывали на небо, но на нем не было ни признака облачка.

— Хоть бы дождичка Господь послал! — сказал высокий статный «жилец», вытирая вспотевший лоб красным кумачовым платком.

— Не видать что-то! — возразил ему седенький подьячий. — А расчудесное бы дело; и то невтерпеж жарит.

— Зачем государь из Троиц вернулся? — вполголоса спросил один стольник другого.

— Вернулся, бают, чтобы судить князя Пронского.

— Неужто боярыня-то Елена Митревна даст своего дружка в обиду?

— Чудное что-то гуторят: будто и она в сем деле замешана, — совсем на ухо проговорил стольник.

В другом конце седой боярин тихо рассказывал другому, помоложе:

— Охладел царь к патриарху Никону, видимо охладел. Ум его пресветлый был омрачен, и посему не видел он в нем смуты, а как его очи просветлели, и увидал он, что Никон — еретик, а николи не патриарх. В сороми и раскаянии кончит свои дни сей великий грешник. И поделом и поделом! Захотел вознестись выше святителей: они книги искони писали, а он возымел мнение супротив них бороться, еретик нечестивый!

— Патриарх, вишь, сказывал, — осторожно возразил боярин помоложе, — что он отбирал только латинские иконы, писанные по образцу, какой вывез немец из своей земли.

— Ты, известно, никонианец, — со злобой проговорил старик. — Поди, и дома по Никону молишься.

— Что ж, не я один новые иконы завел. Вон и боярин Ртищев, и Морозов тоже... Да и у самого государя в Кремле образа новые.

— Едет, едет! — пронеслось по площади.

Царь Теймураз Давыдович ехал на великолепном вороном карабахе в своем дорогом живописном костюме. Белая черкеска плотно охватывала его еще статную фигуру. Из-под папахи развевались длинные седые волосы, такие же длинные седые

усы падали ему на грудь, украшенную золотыми газырями с драгоценными камнями.

Сзади царя ехала его свита, все на своих карабахах; шествие замыкал боярин Хилков.

Подъехав к самому крыльцу, все спешили, и Хилков повел грузин в Грановитую палату, где уже царь Алексей Михайлович принимал шведских послов.

Теймуразу указали его место. Он сел и сейчас же с жадным любопытством устремил свои пронизательные черные глаза на лицо своего предполагаемого союзника. Роскошь палаты и всей русской царской свиты не поразила царя без царства. При персидском дворе он уже видел сказочную роскошь Востока, присутствовал при жизни, которую могли бы вести только мифические боги, но все это его мало занимало и прельщало. Все свои ограбленные богатства и богатства Грузии он отдал бы за свободу родины, лишь бы видеть своих подданных счастливыми, лишь бы спокойно дышать воздухом своих гор, мирно любоваться цветущими долинами Грузии, слушать печальные и веселые песни родины... Что ему за дело до всех этих несметных сокровищ русского царя? Он хотел только знать, владеет ли этот красивый властелин одним сокровищем, которое ценнее всех благ на свете, — добрым, отзывчивым сердцем?

Все пристальнее, все мучительнее пытался старый царь разглядеть молодого государя, а думы — все мрачнее, все безнадежнее — толпились в его голове.

Но вот подошел к ним боярин Хилков и шепнул царю Теймуразу:

— Его государево величество велит тебе, царь Теймураз Давыдович, приступить к его царского величества месту.

Старик молча последовал за толмачом.

Царь Алексей Михайлович с любопытством смотрел на приближавшегося к нему старика. Его молодцеватая фигура, бодрая походка, живые глаза, лицо, испещренное сабельными ударами, невольно располагали к себе государя.

Когда Теймураз подошел к царскому креслу, Алексей Михайлович встал, что было большой честью для гостя. Тронутый этим, Теймураз через Хилкова, который вел и всю дальнейшую беседу двух царей, стал бить челом, чтобы великий государь дал ему целовать свою царскую руку. Но царь руку целовать не дал и предложил поцеловаться в уста.

Тогда оба царя облобызались, и Теймураз с великим страхом целовал государя в уста.

Алексей Михайлович поручил Хилкову переговорить с Теймуразом о деле.

— С которым турецким царем были у тебя разратье и бой? Как давно и какое было тебе от него изгнание и земле твоей разоренье? — спросил боярин грузинского царя, севшего на указанное место против государя.

Теймураз ответил:

— Тому лет с тридцать изменил мне боярин Григорий Сиос, и, обасурманясь, поддался турецкому султану Амурату, и поднял на меня рать; я против него ходил со своими ратными людьми, и был у меня бой с изменником и турками, между моей и Картальской землей; турецких людей с изменником было тысяч сорок, а у меня было тысячи с три, но мне Бог пособил: побил я изменника своего и турецких людей не многолюдством, а силою крестною.

— Как ты, царь Теймураз Давыдович, бил челом великому государю о подданстве, в то время персидский шах земли твоей такое разоренье учинил и в котором году? — спросил снова Хилков, когда грузинский царь умолк.

— Тому делу лет одиннадцать, — ответил Теймураз, — как присылал я к великому государю бить челом о подданстве; и нынешний шах Аббас прислал на мое государство ратных людей; я против них бился, и в том бою убили сына моего, а дочь взяли насильством да два города разорили. И при старом шахе Аббасе разоренье было мне многое. Не хотя государству своему разоренья, послал я к шаху мать свою да сына меньшого, Александра-царевича, в аманаты. Когда же моя мать с внуком приехала к старому шаху и била челом, чтобы он взял ее внука в аманаты и брал с государства дань, а разоренья не чинил, то шах сказал моей матери, чтобы она послала и другого внука своего, Леона, а он, шах, которого внука в аманаты взять захочет, того и возьмет, а другого отпустит. Мать моя взяла и другого внука — Леона, но шах мать мою и детей не отпустил и присылал к ней, чтобы она басурманилась, а он ее тогда будет иметь вместо матери. Она отказалась, что отнюдь веры христианской не отбудет. Тогда шах отдал ее под стражу и велел мучить: сперва велел сосцы отрезать, а после закаленными железными острогами исколоть и по суставам резать. От этих разных

мук мать моя пострадала за Христа до смерти, а тело украл и привез ко мне француз. Детей же моих шах обоих извалошил, и теперь они у шаха. После этого шах послал на меня своих ратных людей; я пошел против них и побил, после чего ушел в Имеретию и жил там два года; потом собрался с имеретийскими и дадианскими ратными людьми и шаховых людей из земли своей выбил, и землю очистил. Но в том же году шах прислал опять ратных своих людей, и я в другой раз ушел в Имеретию, а шах велел всю Грузинскую землю пленить и разорить, чтобы христианство вывести. Я и тут персиян выбил и стал владеть своим государством по-прежнему. Но при нынешнем шахе, тому лет одиннадцать, изменили мне два боярина, отвезли дочерей своих к шаху, сами обасурманились и навели на меня шаховых людей. Я с ними бился, и в том бою сына моего Давида убили, а меня выгнали; от этого гонения я и до сих пор живу в Имеретии.

Хилков, передав длинную и взволнованную речь Теймураза государю, спросил вновь грузинского царя:

— Как земля твоя велика, сколько в ней теперь за тобою жилых и разоренных?

Теймураз очень волновался, когда рассказывал о мучениях матери и о своих ужасных злоключениях; теперь он несколько успокоился и на вопрос Хилкова ответил, медленно соображая во время речи все обстоятельства:

— Земля моя в длину десять днищ хода и поперек столько же; городов всех больших семь, а малых много, только разорены и пусты; в двух городах живут изменники мои бояре, и в тех городах люди есть, а иные города все разрушены; в стольном городе Креме живет людей немного, иные живут по деревням. Надо всем государством моим владетель теперь Рустем-хан; был он грузинской породы, да обасурманился.

Хилков не удовольствовался этим обстоятельным ответом и опять спросил:

— Дадьянскую и Гуриальскую земли как давно ты под высокую руку великого государя привел? Присягу они принесли ли? Теперь они у великого государя по-прежнему ли в подданстве и кто ими владеет?

— Как был жив дадьянский царь Леонтий,— ответил старик,— то у нас с ним были беспрестанная вражда и бой. Но как царь Леонтий умер, на место его теперь выбрали сродника мо-

его Вамыка. Гуриальскою землею владеет по совету имеретинский царь Александр, но дани ему не дают, только так с ним в дружбе состоят. Государь великий пожаловал бы, велел землю мою очистить от изменников, а до шаховой земли мне дела нет, и будет ли шах за изменников моих стоять или нет, того я не знаю. Я для того и поддался государю, чтобы он велел землю мою очистить и дать своих ратных людей. Тогда я с государевыми и своими людьми, с имеретинцами, дадьянцами и гуриальцами соберусь и стану свою землю очищать; а если шаховы люди на меня придут, то я буду от них обороняться. Как великий государь изволит меня отпустить, то отписал бы к имеретинам, к дадьянам и гуриалам, чтобы мне давали ратных людей в помощь; а к шаху бы изволил отписать, что я православной христианской веры и в подданстве у него, великого государя: так бы шах в землю мою не вступался, а станет ее разорять — то великий государь будет меня защищать.

Выслушав просьбу грузинского царя, Алексей Михайлович надолго глубоко задумался.

— Что прикажешь сказать царю грузинскому? — вывел государя наконец из задумчивости князь Трубецкой. — Ждут они, царь-надежа, твоего милостивого и великодушного ответа.

— Без бояр что я могу сказать? — проговорил Алексей Михайлович, и его природная нерешительность отразилась в беспомощно блуждавших глазах.

— В таком разе следует нарядить сидение, — предложил Трубецкой.

— Ин будь по-твоему; знамо, сидение вернее: одна голова хороша, а много голов и того лучше, — улыбнулся Тишайший, обрадовавшись найденному выходу и тому, что явилась возможность оттянуть ответ по этому сложному делу. — Скажи царю, — обратился он к Хилкову, — что подумаю-де и ответ ему пришлю с князем Алексеем Никитичем Трубецким, а покамест пусть Теймураз Давыдович пожалует к нам завтра к столу со всем своим семейством и посольскими людьми.

Государь милостиво расстался с Теймуразом и его свитой. Но грузины ушли далеко не удовлетворенные: опять проволочка, опять нет ответа! Как давно они уже привыкли к этой странной политике оттягивания и неопределенных обещаний!.. Однако делать было нечего, оставалось одно — безмолвно покориться и терпеливо ждать.

VII

ЦАРЕВЫ ДУМЫ

Алексей Михайлович ходил мрачный и недовольный по своему большому светлому покою, крайне встревоженный неприятной для него вестью.

Ему только что доложили, что князь Борис Алексеевич Пронский сознался на допросе во многих «изменнических» делах. Приходилось подписать смертный приговор, а Тишайшему это было всегда так тяжело, точно приходилось подписывать приговор самому себе.

Родственники покойной княгини Пронской — Репнины хлопотали о смертной казни Пронского и о передаче всех поместий, угодий и денег им, так как за княгиней-де было большое приданое. Дядя заступился за Бориса Алексеевича, сколько было у него сил и влияния, но его нерешительный и слабый характер мало помогал делу, тем более что у Пронского при дворе было много врагов, которые рады были теперь ему отомстить.

Но самым сильным и опасным врагом Пронского оказался отец загубленной им княжны польской.

Каким образом узнал старый шляхтич о преждевременной мучительной смерти своей единственной дочери и кто был причиной этого, так и осталось навсегда неизвестным. Но отомстил он погубителю своей родовой чести, конечно, с большим удовольствием и как только мог. Он написал царю Алексею Михайловичу письмо, в котором изложил обстоятельства дела во всех подробностях и еще прибавил от себя, будто именитый боярин, князь Пронский, продал за несколько тысяч золотых свою родину.

Горько было читать царю такие дела о своем боярине. Много чудилось ему злобы в письме люблинского воеводы, но если и половина того, что в нем было написано, было правдой, то и тогда Пронский заслуживал позорной казни на Лобном месте.

— Смертоубивец, чернокнижник, изменник своему роду и племени! — с горечью говорил царь присутствовавшим в покоях боярам Ртищеву и Милославскому.

Последний, видимо, чувствовал себя не совсем ладно, и хотя был явным врагом Пронского, но попытался было вступить за него.

— Может, люди много и наплели на князя-то? — неуверенно произнес он.

— Да ежели есть сотая доля правды в том, в чем его обвиняют, и то достоин он лютой казни. Тяжко мне людей на казнь слать, сам бы за них на плаху лег, да если они вороги своей родины — чего другого они достойны? — со слезами в голосе проговорил Алексей Михайлович. — Что скажешь, Федор Михайлович? — обернувшись к Ртищеву, спросил он. — Как мне поступить с этим делом?

— Во всех ли делах князь повинился? — спросил Ртищев.

— Он ни в чем не винулся: тверд духом, дыбу и огонь вынес твердо, словечка не молвил, — ответил Милославский. — Люди его винулись, да ворожея еще сказывала — пытки-то не вынесла ведьма, — что будто дочь от него имела... Многое она, ведьма эта самая, наплела... И на других тоже многих...

Боярин видимо робел перед пытливым взглядом царя.

— Ну, говори дальше, что еще там знаешь, — нахмурился Алексей Михайлович.

— Ведьма и боярыню Хитрово оговорила.

— Боярыню? — испугался царь. — Елену Дмитриевну? Не может того быть! Что она могла сделать? Разве гадала раз-другой по бабьему обычаю! Иных дел у нее с ворожеей не было! — заволновался царь.

— Не одна боярыня гадала, — вмешался Ртищев, видя, что Милославский хочет погубить заодно и Хитрово, из зависти к ее могуществу у царя. — И царевны гадали, да и царица!

— Бабы! — сердито произнес Алексей Михайлович.

— А потому все баловство это, что ворожеям да колдуньям воли опять много дали: давно не жгли, вот их и развелось по-прежнему, — угодливо проговорил Милославский.

Ртищев с презрением посмотрел на этого двуличного, льстивого и лютого боярина. Хотя он и сам был, конечно, сыном своего века, одобрял казни и пытки, но уже настолько был просвещен, что на невинные занятия гадалок и ворожей смотрел именно как на бабье развлечение, самое безвредное, безобидное и ничуть не преступное; поэтому предложение Милославского жечь гадалок весьма покорило его.

— Вот уж я пожурю царицу, — проговорил Алексей Михайлович, — а теперь поди-ка приведи ко мне боярыню Хитрово, — хмуро сказал он своему тестю.

Милославский поспешил выйти.

Ртищев, обрадовавшись, что остался вдвоем с царем, стал говорить ему о государственных делах.

Но Алексея Михайловича, видно, в эту минуту мало занимали дела его государства. Его мысли были полны только что сказанным о боярыне Хитрово и об оговоре ворожеи.

Неужели эта голубоокая красавица якшалась с колдуньями да цыганками? Неужели под ее белым лбом таились нечистые мысли? И он позволял ей водить дружбу с царицей, с царевнами, сам *любил* слушать ее лихие прибаутки да веселые шутки и только дивился ее умению всем нравиться, всем угодить? Теперь это объяснялось весьма просто: она имела, надо быть, приворотный корень. Царь содрогнулся.

«Может, она и зелье нам какое подсыпала?» — с ужасом подумал он.

А Ртищев говорил ему в это время:

— Никак не можем мы обиду учинить против Персии. Они наши исконные друзья. Еще в тысяча шестьсот пятидесятом году, помнишь, приезжал на Москву посол шаха Аббаса, Магмет Кулыбек, и привез в подарок от того шаха четыре тысячи батманов селитры. А царь Теймураз пусть сам свою обиду с шахом разведет: они свойственники. Ссоры у Теймураза с Рустемом, ханом тифлисским, потому, что они между собою свои близкие, одного поколения; пошли они от великого князя грузинского. Рустем-хан теперь — шахов подданный и басурманин, и половина Грузинской земли с ним, а другая половина — за Теймуразом. Так ссора между ними, и шах на Рустема-хана сердится, что он Грузинскую землю разорил и царевича убил. Теперь Теймураз покинул свою землю, к шаху не писал и не бил челом, а ежели бы бил челом, то шах велел бы ему жить по-прежнему в своей вотчинной земле. А грузины — народ хитрый. Они просят у нас ратных людей против персов идти. Мы с шахом поссоримся из-за них, а нам что за корысть, коли в Грузинской земле не будет шаховых людей?

Долго говорил Федор Михайлович, а царь рассеянно, невпопад отвечал ему и все с большим нетерпением поглядывал на дверь.

Наконец вернулся Милославский и встревоженным голосом объявил, что обыскали весь дворец, но боярыни Хитрово не нашли. Она ушла со вчерашнего вечера из дома и до сих пор еще не вернулась. Все люди в ее терему в беспокойстве. Сенные

девушки рассказывали, что за боярыней пришел вечером какой-то неизвестный человек и неведомо куда увел ее, а ночью пришел, вызвал Марковну, долго с нею говорил; потом старая ключница и наперсница боярыни взяла из спальни шкатулку с жемчугами и другими драгоценностями, и они оба ушли, но до сих пор никто из них не ворочался.

— Сбежала, должно! — произнес Милославский.

— Ну, недалеко убежит! — сверкнув глазами, проговорил Алексей Михайлович. — Эй, люди!

Вошли вооруженные стрельцы.

— Скажите своему голове, — распорядился царь, чувствуя, как свойственная ему порой вспыльчивость овладевает им, — чтобы послали к заставам погоню да никого без моего приказа не выпускать. Напиши, боярин, о том приказ, — повелел Алексей Михайлович Ртищеву. — Пойдем, тестюшка, к царице, — предложил он Милославскому.

Оба направились на половину Марьи Ильиничны.

Царица, по обыкновению, ела сласти и слушала длинный рассказ странницы о ее необыкновенном странствии на Афон. Царевны гуляли по саду, потом сновали по терему и все ныли и ныли с тоски.

— Ой, скучно, скучно, матушка-царица! — чуть не плакала Ирина Михайловна.

— Испей винца, и повеселеет! — предложила «верховая боярыня» Стрешнева.

— Ой, опостылело и вино-то! — махнула рукой царевна.

— Ну, сказочниц послушай! — разгрызая семечко, апатично произнесла царица.

— Надоели, все одно и то же гуторят! — лениво потягиваясь, проговорила Татьяна Михайловна. — Разве вот скоморохов созвать да с ними, как намедни, «действия» произвести? — раздумчиво предложила царевна, наслаждаясь ужасом, который отразился при ее словах на лице царицы.

— Что ты, мать моя! — замахала на нее своими пухлыми ручками Мария Ильинична. — Опять в «хари» обряжаться станешь?

— Царевнино ли это дело в «личины» рядиться? — укоризненно проговорила боярыня Стрешнева.

— Еще сама с ними в пляс пусться!

— А и пущусь, — хорохорилась Татьяна Михайловна. — Все лучше, чем с тоски подыхать.

— Как погляжу я на вас, государыни-царевны,— вмешалась странница,— и поразмыслю: выходит так, что все это в вас враг рода человеческого действует, смутные мысли вам внушает.

— Ну, пошла, старая, надоела! — остановила странницу Анна Михайловна.— Матушка-царица, вели игроцам на цимбалах, что ли, сыграть.

— Под праздник-то! — укоризненно напомнила опять странница.— Лучше бы Четьи минеи послушала.

— Царица, где же боярыня Елена Дмитриевна? — спросила царевна Ирина.

— Сама того не знаю,— ответила Марья Ильинична,— целый день она сегодня на «верху» не была. Уж не занеможилось ли ей?

— В городе сказывают, Пронского на допрос взяли,— осторожно доложила одна из «верховых боярынь».

— Пронского... в тюрьму? За что? — с любопытством обступили боярыню царевны.

— Во многих будто воровских делах повинился.

— Вот отчего боярыня и к нам не идет,— догадались царевны,— знать, больно скучает: друг он ей был.

Все «верховые боярыни» поджали губы и многозначительно опустили глаза. Наконец-то можно было позлословить и очернить эту царскую любимицу; но им это не удалось сегодня — отворились двери, и вошел царь с Милославским.

Алексей Михайлович еще не совсем остыл от охватившего его порыва гнева при известии, что Хитрово бежала, но был уже относительно спокойнее и, войдя, даже пошутил с сестрами.

— Ну, что, стрекозы, стрекочете? — спросил он, глядя по голове Ирину, свою любимицу.— А я вас журить пришел. Дошли до меня слухи, что в тереме на «верху» бывала ворожея и что будто царица и вы гадали у нее. Правда ли это?

Царевны, смущенные, молчали. Мария Ильинична побледнела и от испуга выронила на пол все семечки.

— Я вас спрашиваю, правда это? — уже суровее спросил Алексей Михайлович.

— Правда,— ответила одна царевна Ирина.

— А ведомо вам, что я этого не позволял и не позволяю?

— Ведомо было,— чуть слышно ответила Ирина.

— Как же вы мой запрет нарушили? — спросил царь и с укором посмотрел на сестер.— Как дерзнули вы нарушить мой указ? Ну, отвечайте же!

— Скучно нам было, братец! — как стон, вырвалось у всех сестер разом.

И, казалось, царь понял этот крик безысходной тоски; он молча опустил голову.

— Небось боярыня Хитрово привела ворожею? — после минутного молчания спросил он.

Царевны, не желая выдавать свою любимицу, ничего не ответили ему.

— А знаете ли вы, что дружба с ворожеями добром не кончается? Вот эта самая колдунья под пыткой оклепала боярыню.

— Не может быть! — с ужасом вскричали царевны, а царица закрыла лицо руками. — Не могла ворожея на боярыню наклепать, не за что клепать на нее.

— Должно быть, боярыня вину за собой какую-либо знала: только почуяла беду и дала тягу! — мрачно произнес Алексей Михайлович. — Пришел вам это поведать да узнать, в самом ли деле вы якшались с колдуньями. Срам на всю Москву, срам!.. Ну а боярыне несдобровать! От моего суда никуда не сбежать, — важно прибавил он.

Все стояли глубоко подавленные и молча выслушивали суровые слова царя.

Вдруг в сенях послышалось движение. Двери широко распахнулись, и, когда все в изумлении обернулись, их глазам предстала в голубом измятом летнике, с небрежно накинутой на голову фатой, бледная, измученная Елена Дмитриевна Хитрово.

VIII

ЖЕРТВА МЕСТИ

Несколько дней, проведенных в тюрьме, сильно изменили наружность Бориса Алексеевича Пронского. Недавнего красавца трудно было теперь узнать. Худой, изможденный, с полуседой головой, с тусклым взглядом, он страдал не столько от телесных болей, сколько от душевных мук.

Сидя в низком, затхлом каземате, по земляному полу которого бегали крысы, а в крошечное оконце едва пробивался свет дневной, князь знал, что уже погиб окончательно. Его уже пытали, хотя, видимо, еще несколько щадили, но улики, доносы и наветы так и сыпались на него со всех сторон, как из прорван-

ного решета. Все, что было им тщательно скрыто и погребено, как ему казалось, навеки, вдруг с ужасающей ясностью всплыло наружу, и теперь он должен был давать ответы за все им когда-то содеянное.

Теперь, оставаясь целыми мучительными часами один со своими мыслями и со своей совестью, князь не каялся в преступно проведенной жизни, а только проклинал свою неосмотрительность и свою роковую близость к боярыне Хитрово, которая так беспощадно погубила его.

При воспоминании об этой женщине вся кровь отливала от сердца князя и огненные круги появлялись в его глазах. Пронский, рыча от бессильной злобы, в изнеможении падал на солому и на некоторое время забывался в больном тревожном сне. Но и во сне его преследовал коварный образ некогда любимой женщины, и во сне иногда ему удавалось удовлетворить свою неутолимую жажду мщения. Он предавал красавицу нечеловеческим мукам и много раз собственноручно пронзал ей сердце ножом, затем, просыпаясь с улыбкой удовлетворенной мести, блуждающими взорами обводил свою темницу и, удостоверившись, что то был лишь сон, раздражался диким смехом и в иступлении метался из угла в угол, рискуя от бешенства разбить себе голову о стены тюрьмы.

Мысли о грузинской царевне тоже мало успокаивали взволнованную душу князя. Насколько душили его злоба и мщение к Хитрово, настолько же терзала его неудовлетворенная страсть к царевне. При мысли о том, что он навеки потерял ее, что, может быть, никогда больше не увидит ее спокойного бледного лица, Пронский плакал, как ребенок, потерявший свою самую дорогую игрушку.

В маленькое оконце его темницы робко заглянул последний пурпурный луч заходящего июльского солнца, но сейчас же исчез. Князь лежал на соломе, обессиленный, измученный только что перенесенной дыбой. Вправленные руки и ноги неподвижно лежали на земле, голова была откинута, из полуоткрытого рта изредка вырывался мучительный, душу надрывающий стон.

Князь и дыбу вынес, как прежние пытки, без стоны, прокусив губы до крови, но не повинился во взведенных на него преступлениях; а теперь, лежа один в своей сырой темнице, он облегчал страдания стонами.

Все его тело невыносимо ныло; при малейшем движении руки или ноги боль вывихнутых суставов становилась столь мучительной, что у него не хватало уже никаких человеческих сил. И все-таки душевная боль князя была значительно сильнее.

Лежа на соломе с широко открытыми глазами, он вторично переживал только что перенесенную сцену в пыточной камере. Его щадили, и пытки, применявшиеся к нему, несмотря на свою бесчеловечную мучительность, все-таки считались в те времена легко переносимыми.

Зато к несчастной цыганке палачи были беспощадны.

Весь страх, все суеверие, внушаемое гадалками и ворожеями, сказались при суде над Марфушей. Ее знали все, и все боялись ее. И теперь, когда ее вина была несомненно обнаружена, к ней применили самые тяжкие пытки, какие только существовали при тогдашних допросах.

Несчастливая женщина представляла собою уже один бесформенный кусок мяса, в котором жизнь еще чуть-чуть теплилась. Только в ее больших черных глазах можно было видеть признаки жизни. Все суставы у нее давно были вывихнуты и вытянуты, некоторые части тела сожжены; на ней не было ни одного живого места, которое не подверглось бы действию огня и железа.

Марфуша сама не могла уже двигаться: ее перетаскивали на пропитанной кровью рогоже и, подвергая все новым и новым мукам, требовали, чтобы она созналась в том, что она имела злой умысел на царя и царицу. Все ее клятвы и уверения не принимались во внимание. Она с удивлением и ужасом слушала, как судьи с невозмутимым спокойствием называли ей сообщников, имена которых она слышала в первый раз. Тут попадались бояре, князья, холопы, купцы — словом, все, кто чем-нибудь, когда-нибудь не угодил судьям и на кого им необходимо было из мести или из выгоды сделать извет.

Марфуша, насколько могла, старалась выгородить невинных, со жгучим трепетом прислушиваясь, не назовут ли ей имени боярыни Хитрово. Но нет! Этого имени она все еще не слышала: знать, боярыня была все еще сильна, и никто не смел называть соучастницей цыганки царскую любимицу; знать, все думали, что боярыня за семью царскую ратовала и потому выдала цыганку и Пронского, а сама она, дескать, к такому делу и непричастна.

И подымалась тогда в измученной душе гадалки лютая ненависть к боярыне, которая за свои преступления одна не несла кары, и хотелось Марфуше поскорее видеть, как будут рвать калеными щипцами белое тело царской любимицы.

Но молчала еще цыганка, имени боярыни не произносила, решив, что еще успеет, что времени еще много!

Не знала Марфуша, захочет ли Пронский, чтобы она назвала Хитрово; может быть, он сам выдаст ее, может, ему самому любо будет назвать ее, да и веры дадут ему больше, чем ей.

И ждала Марфуша, страстно ждала, когда ее сведут с Пронским, а пока мужественно переносила самые мучительные пытки.

Каким сожалением и участием сверкнули глаза Пронского, когда он увидел истерзанное тело цыганки! Она поймала на себе этот взгляд и благодарно ответила ему слабой улыбкой. На все вопросы о том, виделась ли она с Пронским, давала ли ему зелье, помогала ли ему извести польскую княжну, Марфуша упорно отвечала, что князя знать не знает, ведать его не ведает.

— Может, князь когда и приходил о судьбе своей погадать, да я того не запомню,— говорила она, пристально смотря на Пронского и стараясь взглядом показать ему, что умрет, но не выдаст его.

— А как же князь говорит, что был у тебя намерении? — спросил один из бояр-судей.

Марфуша испуганно глянула на князя.

— Боярыня Хитрово просила меня, нужна ей, вишь, была гадалка, я и ходил, чтобы позвать; видно, ты запомнила? — спросил Пронский и тоже пристально взглянул Марфуше в глаза.

Цыганка вспыхнула, злой огонек сверкнул в ее глазах, когда она радостно ответила:

— Должно быть, запомнила, а вот теперь напомнил! Точно, был посланец от боярыни, но был ли то князь или кто иной — не вспомню... Боярыня часто за мной посылала,— будто вскользь произнесла ворожея,— и во дворец меня водила!

Судьи переполошились, но взять назад показание было нельзя, и Марфуша рассказала, как боярыня отравила мужа и привораживала к себе царя и царевен.

Пронский с наслаждением слушал этот донос: он уже видел свою месть исполненной, забыв о том, что если Хитрово обвинят в колдовстве с целью приворожить царя, то и его непременно

но обвинят в сообщничестве и он подвергнется вместе с нею позорной и лютой казни.

Допрос и пытка наконец кончились. Обвиненных развели по их темницам. Марфуша молча, одними глазами, помутившимися от страданий, простилась с князем. Они знали, что больше уже никогда не увидятся в этой жизни: Марфушу, как колдунью, приговорят к сожжению, а его — бог знает к чему; но, во всяком случае, их казни будут происходить в разные дни. И если князю суждено будет умереть с кем-либо вместе, то, пожалуй, лишь с Еленой Хитрово.

Теперь участь этой боярыни была решена: цыганка оговорила ее, а он, князь, подтвердил этот оговор, и, несмотря на все ее влияние при дворе, Елене Дмитриевне не миновать было плахи.

В первый раз со дня ареста лежал Пронский на своей соломе с удовлетворенной улыбкой на губах. Он отомстил! Да, он сам погибнет, но зато жестоко отомстил за свою гибель. И его усталые глаза стали смыкаться.

Но вдруг он услышал, как ржавый замок в дверях его темницы заскрипел. Кто-то тихо говорил с тюремщиком.

Темница тускло осветилась светом потайного фонаря, поставленного на пол, тюремщик что-то сказал следовавшей за ним закутанной фигуре и пропустил впереди себя двух посетителей.

Пронский открыл глаза, повернул голову в сторону подошедших и успел разглядеть, что неожиданными его посетителями были женщины. Обе были тщательно закутаны в платки, с накинутыми на лицо темными покрывалами.

Когда тюремщик, низко поклонившись, вышел из темницы, одна из посетительниц, повыше ростом, подошла к князю и, откинув с лица покрывало, глянула на него. Князь вскрикнул, хотел подняться и протянуть к пришедшей руки, но с глухим стоном, обессиленный, снова упал на солому. Женщина опустилась на колени и взяла его холодную, истерзанную руку в свою.

— Князь, ты узнал меня? — ласково спросила она.

Но его лихорадочно горящий взор ответил ей вместо слов.

Как мог он не узнать дорогих, любимых черт, из-за которых он готов был вынести злейшие в мире муки и пытки, о, гораздо злейшие, чем те, которые он только что перенес!.. Какое счастье, что он снова увидел взор, с ласкою покоившийся на его лице.

Царевна Елена поняла выражение его глаз и в смущении опустила свои.

— Я недавно узнала,— проговорила она,— что ты взят в тюрьму, что ты оклеветан и тебя пытаются... За что — толком не знаю, но мне стало жаль тебя... И я пришла навестить тебя.

— Спасибо тебе! — произнес наконец Пронский и с усилием поднес ее руку к губам. — Спасибо, что не погнушалась навестить колодника... Но как допустили тебя ко мне? Ведь никого не велено пускать...

Царевна смутилась и кинула нерешительный взгляд на свою спутницу, укрывшуюся в темном углу темницы; ей слышалось, что из угла раздались приглушенные рыдания. Но Пронский ничего не слышал, жадно всматриваясь в лицо царевны.

— Я прошла так... просила,— ответила наконец Елена Леонтьевна. — А ты, князь, разве не хотел бы видеть дочку свою Ольгу? — вдруг спросила она.

Лицо Пронского потемнело, и брови сдвинулись.

— Нет,— решительно ответил он,— нет, дочку видеть я не хочу. Да и нет у меня дочери: была одна, но и та опозорила меня, в могилу мать уложила и меня на плаху послала. Из-за нее я здесь, царевна.

— Из-за нее ли, князь? Подумай! — задушевно проговорила царевна. — Она у тебя несчастная, очень несчастная, а тебя привели сюда злоба людская да нрав твой неукротимый. Не вини ты дочь и прости ей, как простит тебе Тот, пред Кем ты, может статься, скоро предстанешь!

Маленькая закутанная фигурка в темном углу зашевелилась, раздались громкие рыдания, и при последних словах царевны она упала на колени у ног князя. Обнимая их и обливая их слезами, она заговорила:

— Батюшка родимый, прости, прости меня! Отпусти грех мой невольный... Дай слово вымолвить, свет батюшка!.. Ой, тошно мне, сиротинке, все нутро мое выгорело, не жилища я на белом свете! Не дай в могилу уйти со змеей-тоской!..

Пронский с удивлением посмотрел на дочь:

— Откуда выискалась? Из-под венца к милу дружку сбежала, без воли отца и матери обвенчалась, так что ж теперь тебе от меня надо? Гляди, любуйся, на что стал похож твой отец! Радуйся! Колодника-отца благословенье понадобилось? А по чьей вине этот срам на голову мою упал, как не по милости дочки

богоданной? Теперь благословенья пришла просить, чтобы слаще было целоваться да миловаться с милым дружкой? Нет тебе моего благословенья ни во веки веков! Ступай от меня прочь, дочь непокорливая, погубительница отца своего родного, блудница бесстыжая! — и князь оттолкнул от себя дочь.

Ольга в судорожных рыданиях упала на земляной пол.

Царевна, едва сдерживаясь от рыданий, положила свою руку на горячий лоб узника.

— Мне жаль тебя, князь, — тихо проговорила она, видя, как ее слова успокоительно действуют на этого все еще неукротенного человека, — я с добром и лаской пришла к тебе, я хочу пролить мир в твою измученную, истерзанную душу, и если привела к тебе дочь, то для того, чтобы вы примирились пред вечной разлукой. Если Ольга виновата перед тобой, то и ты виноват перед нею. Ты дал мне слово, что повенчаешь ее с Леоном Джаваховым, я поверила тебе. Помнишь, как ты Богом клялся мне? А разве ты сдержал свое слово?

Елена Леонтьевна пристально смотрела в глаза Пронскому, и он смутился от этого взгляда.

— Мне грозили... пыткой, позорной казнью, если не повенчаю Ольгу с Черкасским, — пролепетал князь.

— Ты убоялся пытки и ради своего тела не побоялся погубить душу, не сдержав слова? — упрекнула царевна.

— Не пытки я боялся, и не лютая казнь была страшна мне, — горячо произнес Борис Алексеевич.

— А что же? — с любопытством спросила царевна.

— То, что я тебя навеки лишился.

Царевна вспыхнула, но, сдержавшись, ласково ответила:

— Меня ты напрасно в мыслях имел. Ведь сказывала я тебе, что хотя мой муж и без вести пропал, а все я считаюсь его женой, и пока глаза мои его тела мертвого не увидят, ничьей женою я не буду, и не для чего тебе меня было в мыслях держать.

— На смерть пойду, а все одна ты в моих мыслях будешь, — упорно проговорил Пронский.

— Знать, вы с дочерью одного нрава, — перевела царевна разговор на княгиню Ольгу, — она тоже и слышать не хочет о другом помыслить.

— Чего же ей мыслить о другом? Ведь ты своего дождалась! — криво усмехнулся князь, с ненавистью глядя на все еще распростертую у его ног дочь.

— Вот ты, князь, выслушай до конца,— остановила его царевна,— не своей волей убежала она к Леону... он силой увез ее и обвенчался с нею насильно.

— Это все равно,— угрюмо проговорил Пронский.

— Постой же, говорят тебе,— нетерпеливо остановила его опять грузинка.— Вся вина Ольги в том, что вышла она к нему проститься...

— Матушка дозволила, благословила, сказала: «Поди простишься»,— робко ввернула Ольга.— Я пошла, а там у тына и ждал меня... Леон...

Ее голос пресекся, и она разразилась рыданиями.

— Леон со стрельцом Дубновым,— продолжала ее рассказ царевна,— и еще двумя стрельцами и... с моим сыном, царевичем Николаем,— уже тихим голосом dokonчила Елена Леонтьевна.

— Как? И царевич на такое озорство пошел? — с неудовольствием спросил Пронский.

— Он тоже возмутился, когда узнал, что ты не сдержал своего слова и хочешь насильно обвенчать дочь с другим.

— Юн он еще, чтобы судить поступки старших,— сурово произнес князь.

Елена Леонтьевна снисходительно улыбнулась.

— У нас юноши приучены думать и рассуждать,— произнесла она.— Да дело не в царевиче: он только помогал своему наставнику, которого очень любил. Когда Ольга вышла к ним, они схватили ее, посадили на седло и увезли в церковь, там обвенчали и увезли в дом, раньше приготовленный Дубновым для молодых...

— Ну, совет им да любовь! — злобно остановил рассказчицу Пронский.— Ты что, царевна, смеяться надо мной пришла, что ли? Издевки делать над лежащим человеком? Мало тебе, что люди царские над телом моим надругались, ты мою душу вымутить хочешь? Тебе-то я худого ничего не сделал...

Скорбная нотка зазвучала в его голосе.

Царевна растерялась и несколько минут не знала, что ответить ему, однако потом оправилась и проговорила:

— Не смеяться я над тобой пришла, а с людьми примирить, душу твою облегчить, да и ей облегчение сделать,— указала она на Ольгу.— Отпусти ей невольный грех, прости ее, и она будет за тебя Богу молиться. В монастырь она идет, постригается.

— В монастырь? Постригается? — в изумлении проговорил Пронский, смотря широко раскрытыми глазами на дочь.— По-

чему же в монастырь? Да нет, вы меня обе морочите! Чтобы молодая жена, чуть не на второй день свадьбы, да в монастырь ушла?.. Нет, смеетесь вы надо мною! Или муж-злодей в монастырь гонит? — обернулся он с насмешливой улыбкой к дочери.

— Нет у меня мужа... и не было, почитай! — заливалась слезами Ольга.

— Что-то не уразумею? — спросил царевну Пронский.

— В самую ночь свадьбы ворвались злые люди в дом, где схоронились молодые, связали князя Леона и увезли его, а вчера боярыня Хитрово привезла его, умирающего, неведомо откуда. Сегодня утром он скончался у нее на руках, — кивнула царевна на Ольгу. — Вдова она теперь, и часа женой не была. Так рассуди же ты, князь, как твоя дочка несчастлива. Вот и надумала она в монастырь идти с подругой своей, грузинкой одной, что тоже князя Леона когда-то любила, и пришла благословения у тебя просить и прощения в том, что невольно была причиной твоей гибели.

— Так, значит, враг мой сгинул? — спросил Пронский. — Ну, собаке — собачья смерть, — злобно dokonчил он.

Ольга слабо вскрикнула и закрыла лицо руками.

Царевна сурово нахмурилась.

— Нечестно, князь, тебе так говорить! — промолвила она. — Ведь помер князь Леон и пред Господом искупает вину свою: не тебе быть ему судьей! Вспомни, ты и сам скоро предстанешь пред Высшим Судьей, что ответишь ты Ему за лютость души своей? Ведь ты почти умираешь, а смириться никак не хочешь, неужели не сознаешься в грехах своих? Я и пришла за тем, чтобы видеть твое покаяние...

Пронский вздрогнул. Хотя его истерзанные члены страшно ныли и вывихнутые руки плохо повиновались ему, но он, стиснув губы до крови, схватил Елену Леонтьевну за руку.

— Стало быть, любишь меня? — лихорадочными глазами глядя на нее, спросил он.

Царевна сделала попытку высвободить свою руку и, скрывая нервную дрожь, охватившую ее от прикосновения Пронского, ответила, не желая усиливать его страдания:

— Мне жаль тебя, душевно жаль, и сердце мое ноет от боли при виде тебя.

— Если жаль, стало быть, любишь! — слабо удерживая ее руку в своих искалеченных руках, возбужденно произнес князь.

Печальная улыбка мелькнула на устах царевны, но Пронский не заметил этой улыбки и продолжал говорить, охваченный счастьем и радостью:

— А если любишь, так я все и всем прощу — самому лютому своему врагу, Елене Хитрово, и то прощу все, ни на кого я зла больше не имею. Ольга, — позвал он дочь, — прости и ты меня!.. Много я виноват перед тобой и перед матерью твоею покойной. Прости, если можешь...

Ольга, заливаясь слезами, осторожно поцеловала руку отца.

— Видно, тебе на роду так написано: за грехи мои молиться, — продолжал князь, — молись, Ольга, за меня, молись, авось твоя молитва услышит Господь Бог.

— Царевна выпросит у царя помилование, — сквозь слезы проговорила Ольга.

Пронский с благодарностью взглянул на Елену Леонтьевну.

— Спасибо тебе, царевна, — произнес он, — но милости царской мне не дожидаться. Да и на что она мне? Все равно под клобуком придется свои дни коротать, а мне что умереть, что жить без тебя — все одно!

— А неужели умереть позорной смертью не стыдно тебе, князь? — спросила царевна.

Глаза Пронского как-то загадочно сверкнули.

— Врагам моим тешиться над стыдом моим не придется, — с загадочностью произнес он, — если дядя не вызволит меня, им срамоты моей не увидеть. А клобука монашеского я вместо жизни не приму. Мне — или свобода, или ничего не надо!

— Отец, отец, что ты задумал? — вскрикнула Ольга, но царевна тихо остановила ее:

— Оставь его, он хорошо задумал. Если он — настоящий витязь, о которых у вас сложены песни, то он и умереть должен, как витязь. Свободу он может только тогда взять, когда она ему будет возвращена вполне и вместе с честью. Приговор еще не состоялся? — спросила она князя.

— Не ведаю про то, — ответил Пронский, не отрывая своего взгляда от лица царевны.

— Ну, Ольга, прощайся с отцом! Нам пора идти, — сказала Елена Леонтьевна его дочери.

Ольга с воплем кинулась к отцу и в первый и последний раз в жизни обвила его шею своими худенькими руками.

Глаза Пронского вдруг увлажнились.

Кто знает, что пережил в эту минуту этот черствый, жестокий человек, всю жизнь проводивший в наслаждениях и грехах и

не знавший сладкого родительского поцелуя? Может быть, он пожалел о безумно потраченных днях с чуждыми и враждебными ему людьми, вдали от семейных радостей. Может быть, он пережил в эту минуту всю свою бурную жизнь и только теперь понял, как она была бесцельна и как дорого он теперь расплачивался за нее.

Голова Ольги лежала на его груди, и он ласково проводил искалеченной рукой по ее русым волосам.

— Ольга, пора! — напомнила ей растроганная царевна, сама едва сдерживавшаяся, чтобы не разрыдаться.

— Уже? — с тяжелым вздохом произнес князь. — Только что светло стало на душе... Ну, спасибо тебе, Елена Леонтьевна, спасибо тебе великое!.. В ноги поклонился бы, да силушки моей нет: сама видишь, что из меня сделали... — Он слабо улыбнулся. — Одна еще у меня просьба... не откажи, царевна, дай нищему последнее подаянье?

Его голос оборвался, и он с тоскливой мольбой взглянул на грузинку.

— Говори, князь, я сделаю все, что попросишь, — ответила царевна, до глубины души тронутая этой сценой.

— Слово даешь? — пытливо спросил ее Пронский.

— Даю.

— Ольга, поди сюда, — позвал Пронский дочь, — дай благословлю тебя, может быть, больше и не увидимся... Молись за меня и прости! — Он перекрестил ее и, крепко поцеловав, сказал: — Теперь ступай, мне царевне надо слово молвить.

— Батюшка... — хотела было просить остаться Ольга, но князь остановил ее мягко, но твердо:

— Ступай, Оля, надо мне с царевной слово молвить, ступай, прощай, родная!

Княгиня, глотая слезы, вышла из темницы.

Царевна с недоумением посмотрела на Пронского.

— Царевна, — начал Пронский, — ведомо тебе, что самые лютые звери от ласкового слова кроткими да податливыми делаются? Ведомо тебе, что ради красоты женской человек на все пойдет, а ради слова ласкового да приветливого жизни не пожалеет? И сказала ты мне это слово ласковое, и это слово всю мою душу перевернуло. Другим я стал теперь человеком — легко и светло так на душе моей. Знаю я, что не люб я тебе. Где уж, заблуждался я! Разве может быть люб стервятник-орел чистой голубице? И хотя просветлела моя душа, а все же не забыть ни

тебе, ни мне жизни моей темной, паскудной. Не хотел я при Ольге говорить — она и так, бедная, много приняла горя. Дала мне, давно еще, цыганка Марфуша зелья... я в ладанку его зашил и на груди ношу... Ты поняла меня, царевна?

Грузинка безмолвно кивнула головой.

— Муки терпел я и жить хотел,— продолжал Пронский,— ради тебя, ради красоты твоей. Думал — вызволят от смерти, я из ссылки убегу и как-никак, злом, насилием, добуду тебя.

Последние слова князь проговорил упавшим, тихим голосом, но царевна слышала их и, сурово сдвинув брови, гордо выпрямилась.

— Не гневайся,— заметив ее движение, сказал Пронский,— я ведь каюсь! Теперь таких мыслей во мне нет; об одном молю, прости меня... Простишь ли, царевна? — тоскливо прозвучал голос несчастного узника.— Дай мне спокойно умереть!

Царевна подошла близко к нему, положила свою мягкую, теплую руку на его влажный лоб и ласково-трогательно проговорила:

— Я прощаю тебя от души, бедный, бедный мой князь!

Пронский осторожно взял ее руку и прикоснулся к ней губами.

— Царевна... а подаянье нищему? — произнес он молящим голосом.

Елена Леонтьевна не поняла его:

— Подаянье? О каком подаянье ты говоришь?

— Царевна, я к вечеру умру... Исполни мою последнюю, предсмертную просьбу...

— О чем же ты просишь? — недоумевала Елена Леонтьевна.

— Поцелуй меня!..— прошептал князь.— Умру ведь я... Неужели перед смертью откажешь мне в этом?

Елена Леонтьевна резко отшатнулась от него.

— Безумец, чего ты просишь! — пролепетала она.

— Умру ведь, умру,— повторял точно в бреду Пронский.— А ты слово дала, царское слово, что мольбу мою последнюю исполнишь...

— Боже, что он просит!..— шептала царевна, закрыв лицо руками.

Пронский снял с груди ладанку, быстро вскрыл ее, застонав от боли, которую причинили рукам вывихи и раны при его резких движениях, и, высыпав какой-то белый порошок в кружку с водой, залпом выпил ее до дна.

— Видишь! — показал он царевне пустую ладанку. — Конеч, значит, теперь все равно что покойника поцелуешь. Ни греха, ни бесчестия в этом нет.

Елена Леонтьевна поняла и содрогнулась от ужаса; невыразимая жалость охватила все ее существо, и, не имея сил сопротивляться мольбам умирающего, она нагнулась к нему, и ее губы коснулись его горячих уст.

На мгновение князь слабо сжал ее в своих объятиях, потом его руки упали, как плети, и он нечеловеческим усилием воли сдержал стон, готовый вырваться из груди. Он лежал теперь неподвижно на своем сбитом соломенном ложе.

Царевна в течение нескольких минут смотрела на его бледное, сразу успокоившееся лицо, на которое уже надвигалась печать смерти, потом перекрестила его и бесшумно вышла из кельи.

Дверь с жалобным визгом повернулась на своих ржавых петлях, и все опять стало тихо и безмолвно вокруг Пронского, как в глубокой могиле. В туманной грезе мерещилось ему, что его действительно опустили в могилу. Безмолвие наползало в эту темницу из всех четырех углов, ощущение тяжелой, мрачной тишины причиняло князю странную боль. Ни звука, ни света... уж не умер ли он? Но его мозг еще работал, и сердце, хотя слабо, но билось. Где он? Что с ним? Когда, зачем и куда его опустили? Сознание мешалось в его голове. Сон это или греза? Кто был тут, кто говорил мгновение тому назад? И почему на его душе стало так спокойно, так тихо, так сладко? И откуда вдруг этот мягкий свет в его глазах, блестящая точка, которая спускается к нему все ниже, все ближе и вот уже озаряет его своим лучезарным, радостным блеском? Ах, да ведь это царевна с его дочкой Ольгой явилась к нему в последнее мгновение жизни в этом светлом сиянии, чтобы принять его последний вздох. Как хорошо умирать, какое счастье покинуть эту унылую темницу — жизнь!

IX

НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА

В Кремле опять было движение. На площадях толпился народ, всюду сновали «жильцы», на «стойке» стройно вытянулись стрельцы.

К Красному крыльцу то и дело подъезжали кареты, из которых медленно вылезали старики, именитые бояре да князья;

подъезжали и бояре помоложе на ретивых арабских или персидских конях, богато разукрашенных и увешанных золотыми и серебряными бляхами и колокольцами, перьями и звериными хвостами; позади седла были литавры, в которые ударяли палками, чтобы лошадь шарахалась, играла и звенела всей своей сбруей; не доходя до крыльца, все слезали и шли дальше пешком.

Передняя уже была полна боярами, окольными, думными дворянами и другими придворными чинами. Все судачили, толковали шепотком о чем-то, передавали городские новости и с нетерпением ожидали царского выхода.

— Что-то царь не выходит долго? — спросил кто-то.

— Мрачен он и смущен душою! — ответил степенного вида боярин.

— С чего бы, кажись? — полюбопытствовал окольный.

— Эвона! Что сбrehнул! — рассмеялся боярин с изрядным брюшком. — Царю-то да не смущаться духом, когда у него в народе измена и всякая что ни на есть гадость?.. Кому же и соболезновать, как не батюшке-царю?

— Да, сказывают, опять мор на Москву идет: известно, царю и мрачно.

— Да и патриарх все смутянит.

— Это из-за его книг. Выдумал святые книги исправлять!.. Видано ли это дело? — И, наклонившись к самому уху боярина с брюшком, боярин степенного вида тайно прошептал: — Помяни мое слово, это — сам антихрист!

— Кто? — вытаращил глаза боярин с брюшком. — Патриарх-ат...

— Шт! Шт! Эк ведь тебя! — испуганно остановил его степенный боярин.

— А что, правда, сказывают, колдунью какую-то жечь скоро будут? — спросил молодой окольный.

— Говорят, а верно ли, кто это знает? — ответили ему.

— Смотрите, смотрите, иверский царь идет.

Все обернулись в ту сторону, откуда показался Теймураз Давыдович, величественно шедший в сопровождении своей свиты и царевича Николая.

В Грановитой палате, куда ввели грузинского царя, стояло у стен до пятисот сановников и длиннобородых седых гостей в богатейших одеяниях. Огромная палата сияла, как сказочный

чертог, богатством и роскошью. Тут все щеголяло парчами, атласами, шелками, соболями, дорогими и редкими вещами, которые выставлялись напоказ гостям и возвращались после службы в дворцовые кладовые вместе с бесценною утварью.

На окне, на золотном бархате, стояло четверо серебряных часов; у того же окна стоял серебряный шандал; на другом окне — большой серебряник с лоханью; по сторонам — высокие рассольники; на третьем окне, на золотном бархате, стояли еще большой серебряный рассольник да бочка серебряная, позолоченная, мерою в ведро.

На рундуке, против государева места, и на ступенях были постланы ковры; около стола стоял поставец, на нем были расставлены сосуды: золотые, серебряные, сердоликовые, хрустальные и яшмовые. Вокруг разукрашенного престола, на котором восседал царь, размещались большие иконы, держава цельного золота, такой же посох царя и вызолоченная лохань с рукомойником и полотенцем. Царь, восседая на престоле во время приема иностранных послов, давал послу целовать свою руку, потом омывал ее и, посидевши молча, приглашал гостя к обеду, а сам величаво удалялся.

Когда Теймураз вошел в Грановитую палату, Алексей Михайлович уже сидел на троне. Он приветливо встретил грузинского царя, дал послам целовать свою руку, потом всех пригласил сесть к столу.

Царь из своих рук посылал гостю яства, и тот, по обычаю, должен был вставать и кланяться. Теймураза утомляла эта церемония, и он с тоской поглядывал на своего высокого хозяина. Его наблюдательный взор заметил, что всегда безмятежное лицо Тишайшего покрыто нынче облаком грусти, а в голубых глазах вспыхивала тревога, когда он обводил взглядом толпу бояр; какая-то горькая улыбка блуждала на его полных губах, и он рассеяннo отвечал на вопросы сидевших близ него Нащокина и Ртищева. Видимо, царь был озабочен и невесел.

Расположение государя действовало и на гостей: они ели и пили, по обыкновению, много, но как-то сумрачно. Более полтора человека стольников разносили яства на раззолоченных блюдах, кравчие то и дело подливали вино в кубки, но гости веселились не от души. Разговоры велись втихомолку, больше отрывочные, и, казалось, все томились этим бесконечно длинным обедом.

Вот стольники уже раз переменили свои дорогие кафтаны, униженные жемчугом и камнями, на еще более роскошные; бояре распустили свои кушаки, лица стали понемногу оживляться. Кубки беспрерывно наполнялись, одна смена блюд — то с огромным, причудливо разукрашенным лебедем, то с диковинным бараном — менялась другими, еще затейливее, еще замысловатее.

Теймураз уже потерял счет выпитым стопам рейнского вина и мальвазии и съеденным им яствам.

— Скоро ли конец? — уныло спросил он сидящего рядом с ним Орбелиани.

Тот пожал плечами и поглядел в окно.

На дворе уже давно зашло солнце, наступали теплые летние сумерки — в палате стало легче дышать, а из цветников, окружавших дворец, повеяло душистым запахом цветов.

— Скоро ли конец обеда? — спросил один из присутствовавших грузин сидевшего рядом с ним толмача.

— Да, пожалуй, еще часа три, а то и все четыре: раньше двенадцатого часа никак не кончится, — ответил толмач.

Грузин передал его ответ царю Теймуразу. Старый царь с ужасом выслушал это печальное для него известие и спросил:

— Когда же я скажу ему о своем деле?

Толмач ответил, что на обеде не принято говорить с царем о делах.

Теймураз заволновался и сказал, что в таком случае он дольше оставаться в Москве не может.

— Время идет, мы живем изо дня в день; там шах Аббас разоряет мою землю, а я здесь пирую. Моих подданных изменой здесь убивают, а я даже сказать о том царю не могу и должен молча пить вино, вместо того чтобы просить у царя суда и наказания убийц Леона! — сильно жестикулируя, сказал старый грузинский царь. — И ты, его отец, — обратился он к Вахтангу Джавахову, — ты спокойно сидишь за столом, за которым, может быть, сидит и убийца твоего родного сына!

Джавахов угрюмо ответил царю:

— Мы в чужой стране и не смеем нарушать их обычаев; завтра я узнаю имя убийцы и паду к ногам царя, а сегодня мы должны помнить, что мы у него в гостях.

Теймураз молча понурился.

В это время Милославский, сидевший недалеко от грузин и уже изрядно подвыпивший, приставал к Черкасскому и издевался над его неудавшейся женитьбой:

— Что же за тестюшку своего богоданного не вступишься у царя? Государь милостив, авось простит!

— Молчи, отстань! Что тебе надо от меня, ирод? — огрызнулся Черкасский, злобно сверкнув глазами.

— Или женушка не по вкусу пришлась? И то сказать: не всякая путевая за тебя и пойдет-то.

— Ты, боярин, смотри говори, да не заговаривайся!

Сказав это, Черкасский откинул полы кафтана; за поясом у него был заткнут кинжал, на который он положил свою огромную мохнатую руку.

Милославский так и впился в кинжал взором, и его глаза засверкали жадностью. Он перестал дразнить боярина и уже другим, дружественным голосом спросил его:

— Откуда у тебя, князь, этот нож?

Черкасский заметно смутился и хотел уже запахнуть кафтан, но Милославский остановил его:

— Нет, князь, постой! Нож-то мне, кажись, знаком. Грузинского князька это нож!

— Так что ж из того? — произнес Григорий Сенкулеевич, закрывая кинжал рукою.

— Я у него нож этот приторговывал, да он мне его даже за две вотчины не уступил.

— А мне даром уступил, — странно засмеялся Черкасский, но его смех тотчас же оборвался.

Возле него стоял, сверкая глазами, князь Джавахов и, протянув руку к кинжалу, что-то говорил на своем гортанном, незнакомом Черкасскому языке. От волнения Джавахов совершенно забыл те немногие слова, которые знал по-русски, и теперь по-грузински требовал у Черкасского кинжал своего сына.

Черкасский послал его к черту и, запахнув кафтан, налил себе огромную стопу рейнского вина и залпом выпил его. Но Джавахов с силой тряхнул его за плечи и, возвысив голос, потребовал показать ему кинжал.

Близ сидевшие бояре повскакивали со своих мест и обступили споривших. Приблизился и Теймураз с некоторыми грузинами, подошел к ним и толмач.

Царь Алексей Михайлович, заметив какое-то движение у стола грузинского царя, послал одного из бояр узнать, что там случилось.

Джавахов упорно требовал кинжал, а князь Черкасский упорно отказывался его показать. Милославский ни на мину-

ту не оставлял Черкасского и спросил толмача, что гуторят грузины.

— Они говорят, что это кинжал убитого изменою князя Леона Джавахова, и спрашивают боярина, как он достался ему, только и всего! — ответил толмач. — А боярин упорствует.

Черкасский сидел мрачнее грозовой тучи, нахмутив свои густые брови и из-под них недобрым взглядом окидывая всех толпившихся вокруг него.

— Царь требует сказать, что здесь делается? — вдруг раздвинув толпу, спросил царский посланец.

— Вот к чему твое упорство привело, — ехидно заметил Черкасскому Милославский, — теперь уж не отвертишься: показывай-ка свой нож! — А так как Черкасский все еще медлил, то Милославский подмигнул двум стольникам, и те в минуту облапили Черкасского и сняли с него кинжал.

Черкасский рванулся и зарычал, как дикий зверь, но сильные руки стольников не позволяли ему кинуться на Милославского.

— Теперь к царю надо идти, — проговорил последний, осмотрев кинжал, — а князя подержите. Как царь рассудит, так и будет. Может, и вправду нож не добром ему достался? Идем к царю, что ли? — предложил он грузинам.

Все двинулись к царскому месту.

Алексей Михайлович с хмурым любопытством посмотрел на подошедших грузин и своего тестя.

— Что у вас там приключилось? — спросил он.

— Да вот, государь, — улыбнулся Милославский, — рассуди иноземцев с боярином нашим Черкасским. Говорят они, будто он изобидел их, а вот и нож, из-за которого та распря учинилась, — и он подал царю кинжал.

— Опять этот диковинный нож? — с изумлением спросил Алексей Михайлович, тотчас же узнав драгоценную вещь. — Чего же они хотят? Помнится, князь Черкасский его у кого-то отнял, и я велел ему тогда возвратить эту вещь хозяину. Как же он опять у Григория Сенкулеевича?

Тут выступил вперед толмач и указал на старика Джавахова:

— Вот он жалуется тебе, царь-государь, что князь Черкасский будто и есть самый убийца его сына!

— Что?! — вскочил как ужаленный Алексей Михайлович. — Да знает ли он, что за такой извет он может дорого поплатиться?

— Знает, я говорил ему о том. Но он сказал, что ничего не боится, и винит князя.

— Хорошо, ступайте! Скажи, что я рассужу,— вдруг упавшим голосом произнес государь и, обращаясь к Милославскому, проговорил: — Вели князя свести по извету в темницу, пусть над ним допрос учинят, а это возьми! — протянул он тестю кинжал.— Спрячь пока...

Милославский радостно схватил кинжал и спрятал его за пазуху.

— Пусть пируют,— устало проговорил Алексей Михайлович, махнув рукой.— Кто хочет, может пир оставить, а я уйду! Печалуется душа моя! Тяжко смотреть мне на бояр моих нечестивых, алчных и злых! — с горечью сказал он Ртищеву, направляясь в свои покои.

— Государь! — попытался Ртищев заступиться за нового опального князя.— Может, вина Черкасского и невелика. Ведь тот нож он мог и купить.

— Знаю, знаю, что именно он сотворил это злодейское дело,— остановил Ртищева царь и, нагнувшись к самому его уху, продолжал: — Боярыня Хитрово намедни прибежала простоволосая, с выкатившимися бельмами, в ноги мне кинулась и в больших злодействах своих повинилась.

Федор Михайлович с изумлением внимал словам царя, изредка опасливо осматриваясь, не подслушивает ли их кто-нибудь.

— Боярыня Хитрово,— продолжал царь,— повинилась, что великую злобу держала против князя Пронского, зачем он будто свою дочь спрятал и этому юному грузину в жены отдал; многое и другое что говорила...

— А Черкасский-то здесь при чем? Не уразумею, государь? — поинтересовался узнать Ртищев.

— Черкасский же держал лютую злобу против этого грузина по причине этого самого ножа, и когда велел я ему этот нож возвратить чужеземцу, то князь злобу свою притаил. Потом он узнал, что грузинский князек соперником ему доводится, и еще пуще того обозлился. Ведомо ему стало через ключницу, что невеста его молодая князька этого любит, а его, старого, пуще смерти боится. И задумал он князя чужеземного со света извести. Сговорил людишек своих, те стали по пятам за грузином ходить, выследили дом, где он хотел с молодою женою схоро-

ниться, пока гнев ее отца, князя Пронского, не минует, а ночью нагрянули людишки Черкасского, схватили князька и уволокли, тяжко ранив.

— Может, это поклев на Черкасского?

— Боярыня Елена Дмитриевна его человека хитростью схватила, он во всем и сознался.

— А как боярыне о том ведомо стало? — спросил Ртищев, относившийся очень осторожно ко всяким изветам и доносам.

— Все из-за денег, жадность людей одолела, — грустно ответил царь. — Люди-то Черкасского на золото боярыни позарились: довелось им, вишь, слышать, что убивается она по князьке-то грузинском. Очень любила она его, — вскользь заметил Алексей Михайлович, — и много денег обещала тому, кто весть о нем ей принесет. Ну, вестимо, не устояли убийцы, объявились к ней и под великой тайной показали князька — умирал уже он от своей раны. Долго убивалась над ним боярыня, потом свезла его к жене молодой, на руках их он и душу свою Богу отдал. А боярыня как полоумная ко мне кинулась, во всем мне покажалась, за Пронского просила, извет с него сняла, а Черкасского молила наказать и тут же в огневицу впала, больно намучилась... Всем ее словам я мало веры дал, только повелел учинить дозор за людьми Черкасского, а тут вот, на пиру, и объявил он сам себя. Какие бояре-то у меня, какие бояре! — печально покачав головой, проговорил царь. — Убийцы, алчники, мздоимцы, лихвенники, изменники своему отечеству... Как править землей с такими боярами? Бояр много — я один. Можно ли одному управиться с государством?

— Не все же, царь-государь, такие, — проговорил Ртищев, — есть ведь и достойные мужи.

— Есть, боярин, есть, — быстро подхватил Алексей Михайлович, — если бы не было, чем земля Русская и держалась бы? А все же одна негодная овца все стадо может испортить, да и молва о худом, как ком снежный, по всему свету катится, а хорошая к земле прирастает. И горько мне, горько, что в царстве моем больше худого, чем хорошего.

— Пустое, государь! Не печалуйся! В семье не без урода, — утешал, как умел, Ртищев.

— Уродов-то этих больно много, — улыбнулся уже Тишайший. — Что ж, поди, грузинский царь в горе? Приехал в неведомую страну защиты и подданства просить, а тут его же людей

убивают. Горько это ему, горько! И мы просьбы его не уважили. Неужели ничего для них не сделали? — с искренним участием спросил Алексей Михайлович.

— Нельзя, государь, никак нельзя его просьбы уважить. У нас война с польским и шведским королями, ратные люди на границе — а царь Теймураз просит ратных людей тридцать тысяч! Немалая это рать, не собрать нам ее теперь. Со своими врагами и то дай бог управиться, а потом уже чужим помогать.

— Да ведь не чужой нам иверский народ! И веры одной, и батюшке моему челом в подданстве били, и в титуле у нас значится: «Государь земли Иверской, Грузинских царей и Кабардинской земли, Черкасских и Горских князей обладатель». Как же нам не печься о народах своих?

— Оно точно... Так ты, государь, дай ответ ему, что народ бил челом царю Михаилу Федоровичу на подданство, — проговорил Ртищев, — да не с руки нам они: далеко к ним ратных людей слать.

— А как же быть-то? — спросил Алексей Михайлович. — Ведь царю-то грузинскому невоготу и здесь сидеть? Изныло, поди, сердце по народе своем?

— Оно точно... Так ты, государь, дай ответ ему, что как уравишься с неприятелями своими, то в утеснении и разорении видеть его не захочешь и своих ратных людей к нему пришлешь. Одари деньгами да соболями! — посоветовал Ртищев.

Царь внимательно выслушал своего умного и дельного советника:

— Ну, пусть будет по-твоему: как только управлюсь с польским и шведским королями, беспременно пошлю ратных людей, сколько царю Теймуразу потребуется. Пошли сказать о сем царю; пусть к нему с соболями и деньгами поедет Алексей Трубецкой. Он боярин дельный и дела умеет вести тонко. А теперь ступай-ка, Федор, — ласково положил царь свою руку на плечо боярина, — если бы побольше таких людей у меня было, как ты да боярин Ордин-Нащокин, хорошо было бы в моем государстве и легко было бы душе моей. А теперь скорбит и ноет душа моя. Прощай пока!

Ртищев благоговейно облобызал руку царя и медленно вышел из покоев.

Тишайший, как только вышел боярин, подошел к отворенному окну и, облокотившись на косяк, задумчиво устремил взор на темно-синее небо, усеянное звездами.

Какие думы роились под его высоким белым лбом в эту тихую летнюю ночь? Глубокие вздохи, вырывавшиеся из его широкой груди, тревожили спальника, стоявшего за дверями и прислушивавшегося к малейшим движениям царя, так необычайно долго не шедшего ко сну.

Х

КАЗНЬ

Жаркий августовский день тяжело повис над Москвой.

Еще с самого раннего утра, когда солнце чуть только поднялось над Белокаменной, народ толпами сходил к Лобному месту. Все были как-то оживленно взволнованы, точно их ждало веселое, невинное зрелище, а не вид страшных человеческих мучений. И ни предстоящий жаркий, удушливый день, ни раскаленная земля со вздымавшимися столбами пыли, залеплявшей глаза, ни долгое ожидание под жгучими лучами солнца не останавливали людей, жаждавших сильных ощущений.

Любопытные, толкаясь и опережая друг друга, торопились занять лучшие места, поближе к страшному зрелищу. Молодые девушки, принаряженные в светлые платья с шелковыми платочками на русых головах, весело бежали то позади степенных родителей, то взявшись за руки, попарно. Парни в праздничных поддевках, с полными мешками орехов и пряников, перекидывались со знакомыми девушками шутками и угощали их сладостями. Матери, кто за собой, кто на руках, тащили грудных ребят смотреть на это назидательное зрелище.

И всем было весело, все, точно торопясь, с нетерпением ожидали казни.

— Слышь, и бояр будут жечь! — сказал молодцеватого вида парень курносенькой девушке в голубом сарафане.

Та с жадным любопытством вытаращила свои светлые глазки на парня.

— Неужели? — захлебываясь, спросила она.

— Сказывал мне один заплечный мастер, — с важностью ответил парень, гордясь столь почетным знакомством, — что много им ныне работы предстоит.

— А кто такие бояре? — вмешался в разговор служилый человек. — Как звать-то их?

— Не знаю... много их. Всех не упомнишь,— с небрежностью возразил парень и отвернулся от служилого.

В это время на помосте палач в красной рубахе, плисовых шароварах и высоких сапогах устраивал костер; сложив в виде колодца несколько больших поленьев дров, он соорудил посредине два высоких столба, к которым привязывали преступников, и наложил вокруг него соломы и хвороста. Время от времени палач поднимал свою лохматую гриву, ладонью заслонял глаза от солнца и смотрел на волновавшуюся толпу народа, окружавшего Лобное место. С высокого помоста он мог видеть далеко и первый заметил вдали приближавшийся поезд с осужденными.

— Везут, везут,— пронесся среди толпы гул, и все головы повернулись в ту сторону.

— Где, где? Пров Степанович, поддержи-ка меня под микитки! — говорила хорошенькая молодуха стрельцу.

— И что тебя, Танюша, тянет, право слово, на мучительство-то людское смотреть? Пойдем лучше на Москву-реку! — предложил Дубнов своей молодой жене.

— Пров Степанович, голубчик мой, дай хоша одним глазком взглянуть, и то матушка под семью замками меня держала,— тараторила молодуха, но при последних словах ее глаза наполнились слезами, и она тихо прошептала: — Где-то матушка теперь, куда она сгинула? Ровно земля ее поглотила! И тетка Ропкина словно сквозь землю провалилася. Чудно, право! Знаешь, Пров Степанович, что-то сердце мое вдруг заныло-заплакало.

— Пойдем отсюда,— предложил Дубнов, сам чувствовавший какое-то смутное беспокойство.— Да нет, теперь, пожалуй, из толпы и не выйдешь,— оглянулся он кругом.— И зачем я только послушался тебя, зачем пришли мы сюда? Вишь, народу сколько!.. Еще сомлеешь, столько времени на этакой-то жарнице дожидаячись.

— Везут, везут колдунью, да, вишь, целых три! — раздавались кругом голоса.

— Поделом вору и мука! Не чародействуй!

— Не корми людей зельем!

— Царицу, слышь, опоить хотела...

— Во дворец пролезла, кошкой оборотилась да царевнам в кубки зелье сыпала! — говорила старуха, потрясая морщинистым кулаком.

— Всех бы их следовало об один камень утопить в Москве-реке.

— Пров Степанович, а взаправду они злые, эти ведьмы? — со страхом спросила Татьяна, прижимаясь к мужу.

— Злые, это-то правда, — усмехнувшись, ответил стрелец, — у этой самой Марфушки я был раз...

— Неужели был? — с любопытством спросила молодая бабенка, слушавшая разговор Дубновых.

— Был, а как же, — ответил Дубнов.

— Ну и что же? — раздалось еще несколько любопытных голосов.

— Да сдается мне, что больше они глупство говорят, и их колдовство — все одни бабьи рассказы. Вот она, эта самая Марфушка, сказала мне, что не видать мне ее, — он любовным жестом указал на свою молодуху, — как своих ушей, и мы назло ей и повенчались на Красной горке. Вот тебе и ворожея!.. Один грош ей цена! — закончил Дубнов.

— Всяко бывало! — глубокомысленно произнес почтенного вида торговый человек. — Сказывала эта самая Марфуша и верно. Бают, она патриарху сказывала, что он в темнице дни свои окончит и власти своей решится. Что ж, разве не ее правда? В опале владыко, и не подняться ему теперь... Велики враги его.

— Что ж, может, и правду когда-либо говорила, — задумчиво произнес Дубнов. — Вот она моему другу, грузинскому князю Леону, сказала, что счастья ему не видать и он в ранней юности помрет. По ее словам и вышло, — грустно dokonчил он.

— Что и говорить!.. Марфуша никогда зря языка не чесала, — заметил кто-то.

— А все же она ведьма, а собаке — собачья и смерть! — крикнул какой-то ражий детина.

В это время к помосту подъехали дровни, на которых со связанными руками сидели приговоренные.

Это были цыганка Марфуша, ее кума и корчмарка мещанка Ропкина и ключница Черкасского Матрена Архиповна. Все они обвинялись: Марфуша — в колдовстве и чародействе, а две другие — в сообщничестве и пособничестве ей. Цыганка была обвинена в том, что будто бы покушалась влить зелье в питье царицы, и была приговорена к сожжению на костре; Ропкина — к сечению кнутом и отрезанию языка, а Матрена Архиповна, как соучастница в убийстве грузинского князя, присуждалась тоже к сожжению.

Марфуша сидела спокойная, и даже что-то величественное было теперь в ее исхудалой, измученной пыткой фигуре. Ее черные, горевшие лихорадочным огнем глаза с тревожным любопытством искали кого-то в многотысячной толпе, окружавшей помост. В худых, истерзанных на дыбе руках она судорожно сжимала ладанку; ее бледные, пересохшие губы нервно вздрагивали и что-то по временам шептали. К виду костра и приготовлениям казни она осталась совершенно равнодушной; только ее взоры устремились на безоблачное синее небо, точно она кого-то призывала оттуда в свидетели своих безвинных страданий.

Ключница Черкасского тоже мужественно вынесла все пытки, ни единым словом не выдав своего боярина. Она шла на смерть, оставшись ему верной рабой и готовясь теперь умереть за него.

Зато мещанка Ропкина голосила и причитала за всех трех. Зная, к чему она приговорена, она словно хотела наверстать возможность в последний раз поболтать языком.

Всех трех женщин ввели на помост. Они повернулись лицом к востоку и стоя слушали чтение приговора, в котором описывались все их вины и преступления и к чему они присуждались.

Прочитав приговор, пристав дал знак палачу, и он схватил первую Ропкину. Нечеловеческий крик раздался по всей площади, когда кнут опустился на обнаженные плечи корчмарки. Однако казнь продолжалась.

Толпа безмолвствовала, невольно охваченная ужасом.

Только недалеко от помоста, в маленькой кучке народа, было заметно движение. Кто-то силился выбраться из толпы.

— Уйдем, уйдем, Пров, голубчик,— трясясь, говорила молодая жена Дубнова,— тетушку Анисью мучают. За что, за что? Безвинна она...

— Молчи, молчи,— останавливал жену побледневший стрелец.— Или и нашей гибели хочешь? — шептал он ей на ухо.— Братцы, пропустите!.. Сомлела молодуха,— выволакивал он жену сквозь толпу.

Вслед им неслись прибауточки и насмешливые замечания. Но задира-стрелец не обращал на них решительно никакого внимания, стараясь скорее убраться с площади; он не замечал, как, толкаемые из стороны в сторону, они приблизились к самому помосту.

Казнь над мещанкой Ропкиной уже совершилась. Она лежала на помосте с вырезанным языком, дико вращая глазами, из которых текли ручьи слез, и мычала что-то своим ужасным разинутым и окровавленным ртом.

Палач продолжал между тем свое дело. Он привязал к одному из столбов цыганку, к другому — Матрену Архиповну.

В ту самую минуту, как хворост загорелся у ног осужденных, Марфуша подняла руки к небу и крикнула громким ясным голосом:

— Прости, народ православный, невиновна я в замыслах на царицу, одна у меня вина была...

Ее перебил пронзительный, душу раздирающий вопль из близстоявшей толпы:

— Матушка, ты ли это?!

Цыганка вздрогнула на своем костре, широко раскрыла глаза и устремила их с невыразимым ужасом туда, откуда раздался этот дорогой, близкий и так хорошо знакомый ей голос. Она увидела свою Танюшу. Но дочь уже не встретила последнего взгляда матери: она лежала в глубоком обмороке на руках мужа, который старался скорее унести ее с площади и спастись от беды.

А огонь между тем быстро делал свое дело. Дым взвивался клубами к небу, огненные языки уже лизали ноги казнимых, и их безумные стоны постепенно утихали. Скоро на столбах остались лишь обугленные трупы, и народ стал медленно расходиться по домам.

ХІ ЭПИЛОГ

Между тем в грузинских хоромах на Неглинной все ходили уныло опустив голову. Царевна снаряжала Ольгу Джавахову и княжну Каркашвили в монастырь; юная княгиня и молодая девушка очень подружились в последнее время и целые дни проводили в грустных воспоминаниях о безвременной гибели Леона Джавахова.

Иногда к ним присоединялась и Елена Леонтьевна, которая стала еще молчаливее, еще бледнее; вокруг ее плотно сжатого рта легла какая-то складка затаенной тоски или горя, отчего ее прекрасное лицо стало еще суровее и как будто еще надменнее.

Царевич Николай очень возмужал: видно было, что пережитое им волнение по случаю смерти любимого воспитателя не осталось без влияния на душу юноши. Он рвался из России и не давал покоя деду, прося его взять с собою.

— Не могу я, не могу! — ответил совсем сраженный неудачей старый царь. — Куда я с тобой пойду? — спросил он внука. — Разве есть у меня свой дом, где голову преклонить? Видишь — русский царь отсылает меня домой, а где же у меня дом?

Грузины понуро слушали Теймураза.

— Ты еще окончательного ответа не получал? — спросил старика Николай.

— Вот жду царских послов, — безнадежно махнув рукой, проговорил Теймураз. — Да что мне послы? Наперед знаю их ответ!

И не ошибся храбрый старый воин.

Послом от Алексея Михайловича явился наконец князь Алексей Никитич Трубецкой.

— У великого государя, — начал князь после обмена обычными приветствиями, — война с польским и шведским королями...

— Слышал уже я это! — угрюмо возразил грузинский царь, но посол не обратил внимания на слова старика, хорошо понимая его горе и отчаяние.

— Так ты бы, царь Теймураз Давыдович, — продолжал Трубецкой, — хотя бы какую нужду и утеснение от неприятелей своих принял, а ехал бы в свою Грузинскую землю и царством своим владел бы по-прежнему.

Горькая усмешка искривила поблекшие губы старого царя при упоминании о его царстве, но он ничего не сказал.

— А как царское величество с неприятелями своими управится, — продолжал посол, — то в утеснении и разорении видеть тебя не захочет и своих ратных людей к тебе пришлет; и теперь велел тебе дать денег шесть тысяч рублей да соболей на три.

— Великого государя воля, — ответил Теймураз, принимая дары, — ожидал я себе государственной милости и обороны, для того сюда и приехал, а теперь царское величество отпускает меня ни с чем. Приехал я сюда по указу царского величества, и в то время ко мне не было писано, что все государевы ратные люди на службе, если бы я знал, что царское величество ратных людей мне на оборону не пожалует, то я бы из своей земли не ездил.

— Ты говоришь, будто тебя государь отпускает в свою землю ни с чем,— возразил Трубецкой,— но тебе дают шесть тысяч денег и соболей на три; можно тебе с этим жалованьем до своей земли проехать, и ты бы этим великого государя не гневил.

— Дорог мне великого государя и один соболь,— сдерживаясь, проговорил Теймураз,— но при отце его, государе, и заочно присылаемо было ко мне двадцать тысяч ефимков, а соболей без счета; теперь мне лучше раздать государево жалованье по своей душе, нежели в свою землю ехать да в басурманские руки впасть. Услыхав, что я еду к великому государю, турки, персияне и горские черкесы испугались: черкесы дороги залегли, в горах на меня наступали и ратных людей моих побили — я едва ушел. Потеряв своих ратных людей, ехал я к царскому величеству украдкою, днем и ночью, приехал, и голову свою принес в подножие его царского величества, и челом ударил ему внуком своим. Как увидел государевы очи, думал, что из мертвых воскрес, чего желал, то себе и получил. А теперь приезд мой и челобитье стали ни во что, насмеются надо мною изменники мои, горные черкесы, и до основания разорят. Чем мне отдану быть и душу свою христианскую погубить в неверных басурманских руках, лучше мне здесь в православной христианской вере умереть, а в свою землю мне незачем ехать!..

Теймураз все больше и больше горячился, его седые брови грозно хмурились, а черные живые глаза сверкали суровым упреком.

— На ком-то Бог взыщет,— взволнованным голосом продолжал он,— что басурманы меня, царя православной христианской веры, погубят и царство мое разорят? Великому государю какая будет честь, что меня, царя, погубят и род мой, и православную христианскую веру искоренят? Я за православную христианскую веру с малой своей Грузинской землей против турок и персиян стоял и бился, не боясь многой басурманской рати. Пожаловал бы хотя государь, велел бы хоть проводить своим ратным людям,— утихая, закончил Теймураз.

— Государь тебя велит проводить ратным людям и к шаху отпишет, чтобы он на тебя не наступал и Грузинской земли не разорял. Как-нибудь проживи теперь в своей земле, а потом царское величество ратных людей к тебе пришлет, будь надежен, безо всякого сомнения,— произнес Трубецкой, стараясь утешить Теймураза.

Царь грустно покачал головой.

— Если я сам ныне милости не упросил и никакой помощи не получил,— говорил он,— то вперед заочно ничего ждать уж не могу. И прежде обо мне царское величество к шаху писал, однако шах Аббас землю мою разорил и меня выгнал.

Так и уехал Трубецкой, не влив в душу обиженного старого царя отрадного чувства надежды и утешения.

Вскоре Теймураз отправился восвояси. Унылостью и безнадешностью веяло от лиц, провожавших своего престарелого царя. Царевна и царевич некоторое время еще оставались в Москве, так как неизвестно было, где преклонит свою седую голову грузинский царь.

Был холодный сентябрьский день. Над Москвой повисло свинцовое, серое небо, и дождь медленными, непрерывными каплями падал на землю.

В грузинском доме были необычайная суeta и волнение. Теймураз Давыдович уезжал со своей свитой в Иверскую землю. На дворе уже стояли оседланные лошади и дорожная колымага для Теймураза. Несколько вооруженных русских ратников гарцевали на своих великолепных арабских конях.

Теймураз, глядя из окна на эту кучку людей, которые приставлены были охранять его в дороге от нападения врагов, горько усмехнулся.

— Великий государь думает,— произнес он, обращаясь к присутствовавшему в комнате боярину,— что эта горсточка ратных охранит меня от черкёсов?

— Ратники — добрые молодцы,— ответил боярин,— и сберегут твое царское величество, не сомневайся в том.

Презрительная усмешка мелькнула под седыми усами царя, но он ничего не возразил и обратился к царевичу:

— Как только выгоню из Тифлиса Аббаса, приедешь домой.

— Возьми меня с собой,— упрямо твердил мальчик.— Здесь так холодно! Смотри: само небо плачет здесь от тоски по солнцу, по теплу; моя душа стынет, я не могу больше...

Большие черные глаза царевича подернулись слезой.

— Скоро, скоро увидишь ты и яркое солнце, и синее небо, и наши голубые горы,— стал утешать мальчика старый царь.— А ты, Елена, точно и не рвешься на родину? — спросил Теймураз Елену Леонтьевну, безмолвно присутствовавшую при этом.— Или здесь хорошо, привыкла? — подозрительно взглянул он на невестку.

Елена Леонтьевна чуть вспыхнула, ее длинные ресницы дрогнули, но она овладела волнением и спокойным, ровным голосом ответила:

— Как повелишь, государь, так и поступлю. Где прикажешь быть, там мне и будет хорошо.

Теймураз, довольный таким почтительным ответом, одобрительно кивнул головой.

Пришли сказать, что пора ехать.

Началось прощание. Царевич Николай не вытерпел и, рыдая, упал деду на плечо. Старый царь, стараясь скрыть предательскую слезу, набегавшую на глаза, крепко обнял внука и твердой походкой вышел из комнаты.

Елена Леонтьевна, царевич и все оставшиеся грузины высыпали на крыльцо провожать старого царя.

Вышла из комнаты и княгиня Ольга Джавахова. В черном, монашеском платье, в черном платке на голове, закрывавшем почти все ее лицо, в ней трудно было признать прежнюю юную княжну; несколько месяцев сразу состарили ее и положили неизгладимую печать страдания и горя на бледное, сильно исхудалое лицо. Она подошла к Вахтангу Джавахову, тоже уезжавшему с Теймуразом, и, упав перед ним на колени, просила простить ей невольное участие в смерти Леона.

Растроганный грузин поднял молодую женщину, обнял, поцеловал и сказал, что не винит ее ни в чем, так как знает настоящую виновницу, которую постигла должная кара за все ее преступления.

— Она несчастная, и я буду молить Господа, чтобы Он вернул ей ее разум,— набожно проговорила Ольга, устремляя на небо свой светлый взгляд.

— Зачем? — вмешался в разговор боярин.— За все свои деяния боярыня Елена Дмитриевна должна будет ответить людям, если ей разум вернется, и понесет она тяжкое наказание, а может быть, и позорную смерть, а так... пусть страждет — и Господь ей простит ее тяжкие вины. Видно, Его воля отняла у нее разум. Ему лучше ведать, что надо человеку для искупления.

Все молча слушали слова боярина, и никто ничего не возразил на них.

— Не забывай могилы моего сына! — крикнул Вахтанг Ольге, когда грузинский кортеж двинулся уже со двора.

Ольга махнула в ответ рукою. Разве в этом могло быть сомнение? В целом свете у нее остались только дорогие могилы на кладбище. Могла ли она забыть их?

Царевна обняла Ольгу, и они долго следили, как по Неглинной медленно двигался грузинский поезд.

Оставшиеся грузины стояли с непокрытыми головами и грустными глазами смотрели на уезжавших.

А мелкий осенний дождь неустанно падал со свинцового непроглядного неба неприветной для Грузии Москвы.





СОДЕРЖАНИЕ

ПРИ ДВОРЕ ТИШАЙШЕГО

Часть первая

I. Встреча	5
II. В корчме	10
III. Грузинские хоромы	15
IV. В покое царевны	20
V. Боярыня Хитрово	25
VI. Близкие люди	28
VII. Первая встреча	30
VIII. Ревность	36
IX. Тайный ход	41
X. Княжна Ванда	45
XI. Трапеза	51
XII. Заговор	55
XIII. Ходатай за княжну	66
XIV. Сват	71
XV. Молодая невеста	76
XVI. Любовники-враги	83
XVII. Преступление боярыни Хитрово	94
XVIII. Видение	103
XIX. Грузинский совет на Москве	110
XX. Ворожея Марфуша	118
XXI. Воспоминания цыганки	126

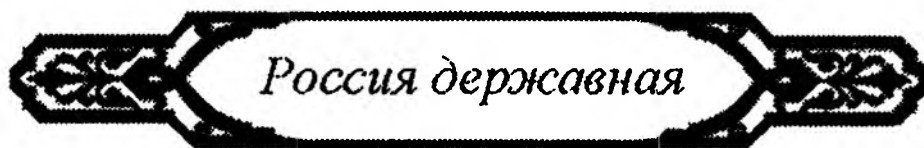
Часть вторая

I. В кремлевском дворце	136
II. Царев суд	143
III. Сидение о делах	149
IV. Царицын «верх»	155
V. Грузинское дело	160
VI. Свидание старых друзей	169
VII. Неразделенная страсть	173
VIII. Гадание	178
IX. В опочивальне боярыни Хитрово	185

X. Открытые тайны	192
XI. Горе ворожеи	200
XII. Две соперницы	204
XIII. Крестинный пир	209
XIV. Драгоценный кинжал	214
XV. Два признания	220
XVI. Отвергнутая любовь	226
XVII. Счастливые минуты	232

Часть третья

I. В критическом положении	241
II. Похищение	246
III. Переполох	255
IV. Приезд царя Теймураза	265
V. Вести Марковны	272
VI. В Грановитой палате	276
VII. Царевы думы	282
VIII. Жертва мести	287
IX. Неожиданная развязка	299
X. Казнь	308
XI. Эпилог	312



Валериан Яковлевич
Светлов

ПРИ ДВОРЕ ТИШАЙШЕГО

Редактор *А. Храмков*
Компьютерная верстка *М. Бойковой*
Корректор *Ю. Черникова*

ООО ТД «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6

Отдел реализации:
тел.: (495) 974-29-76, 974-29-75; факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 20.09.2010 г.
Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Петербург»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8
Тираж 8500 экз. Заказ № 3773.

Отпечатано по технологии StP
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 21/1.
Телефон / факс: (812) 495-56-10.

Валериан Яковлевич Светлов (Ивченко) (1860–1934) — искусствовед, неутомимый путешественник, увлеченный исследователь Кавказа и других древних культур, был хорошо известен читателям дореволюционной России и как автор интереснейших исторических романов.

Роман «При дворе Тишайшего» написан в лучших традициях историко-приключенческого жанра, он раскрывает увлекательные и малоизвестные подробности времени правления второго русского царя из династии Романовых — Алексея Михайловича, названного современниками Тишайшим.

ISBN 978-5-486-03637-8



9 785486 036378